

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

N I Z H N Y N O V G O R O D 1 (4 2) / 2 0 2 2



РОМАН
СЕНЧИН
ЕКАТЕРИНБУРГ

4



ОСИП
БЕС
НИЖНИЙ НОВГОРОД

12



АЛИНА
ГРЕБЕШКОВА
НИЖНИЙ НОВГОРОД

22



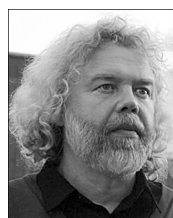
ОЛЕСЯ
НИКОЛАЕВА
ПЕРЕДЕЛКИНО

56



МАКСИМ
ЗАМШЕВ
МОСКВА

60



ИГОРЬ
ТЮЛЕНЕВ
ПЕРМЬ

65



АНАСТАСИЯ
БЕЗДЕТНАЯ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

68



АЛЕКСАНДР
ЛОМТЕВ
САРОВ

73



СЕРГЕЙ
МИРОНОВ
КАЛИНИНГРАД

91



ВЛАДИМИР
СЕДОВ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

111



ДМИТРИЙ
БИРМАН
НИЖНИЙ НОВГОРОД

115



ЛАРИСА
БУХВАЛОВА
ПАВЛОВО

123



МИХАИЛ
ЧИЖОВ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

192



НАТАЛЬЯ
РУСОВА
НИЖНИЙ НОВГОРОД

211



ПАВЕЛ
БАСИНСКИЙ
МОСКВА

216

16+

В НОМЕРЕ

Проза

Роман СЕНЧИН	
РАЗГОВОР	4
ПОДРУЖКА	7
ОСТАНОВКА	10
Осип БЕС	
ВАСЯ, ЛАМПОЧКА ИЗ СОЛНЕЧНОГО. (Фрагмент романа «По образу и подобию Бога»)	12
Алина ГРЕБЕШКОВА	
ЭЛЛИ-БЭЛЛИ	22
Павел ЧХАРТИШВИЛИ	
ДОБРОГО ДОГА ЗВАЛИ ЧУК	36
В ПОЕЗДЕ	42
Данила НОЗДРЯКОВ	
ПОЛИТБЮРО, КОТ ПАРФЁН И МИЛИЦЕЙСКАЯ ФУРАЖКА, С КОТОРОЙ ВСЁ НАЧАЛОСЬ	50

Поэзия

Олеся НИКОЛАЕВА	
НАЧАТЬ С НЕБЕС	56
Максим ЗАМШЕВ	
ПОЛЮБИТЬ БЫ ТАК, ЧТОБ УВИДЕТЬ БОГА...	60
Игорь ТЮЛЕНЕВ	
МНЕ СТАЛО ЛЕГЧЕ С НОШЕЙ КРЕСТНОЙ...	65
Анастасия БЕЗДЕТНАЯ	
САД ИМЕНИ ЛЮБВИ	68

Проза

Александр ЛОМТЕВ	
ХРОНИКИ УХОДЯЩИХ ВРЕМЁН	73
Сергей МИРОНОВ	
НЕЖИЛЕЦ	91
Александр КРАМЕР	
СИНЬЯЗ	106
ПЕРЕПИСКА	109
Владимир СЕДОВ	
СТЕНА	111
Дмитрий БИРМАН	
ЮБИЛЕЙ	115
Дмитрий ИГНАТОВ	
НЕЙРОКАПСУЛА	119

Поэзия

Лариса БУХВАЛОВА	
ПСАЛМЫ ЗЕМЛИ	123
Дмитрий ЛАРИОНОВ	
ЛИШЬ ПОТОМУ, ЧТО ЧАС ЗЕМНОЙ НЕДОЛОГ...	128

Изяслав ВИНТЕРМАН	
ЗЕМЛЯ Я НЕБО	133
Елена ГАЛИАСКАРОВА	
ДЛИЛСЯ СОН И ВНЕЗАПНО ЗАМЕР	137

Из будущих книг

Владимир АЛЕЙНИКОВ	
КЛИЧ И КЛЮЧ	140

Стихи по кругу

Вадим СТЕПАНЦОВ	184
Вячеслав БАРАНОВ	186
Наталья РОЗЕНБЕРГ	187
Николай ПЧЕЛИН	189
Татьяна СТАФЕЕВА	190
Инна ПАРАХИНА	191

Публицистика

Михаил ЧИЖОВ	
РОССИЯ КАК ДИКТАТУРА СОВЕСТИ	
На стыке двух дат: 130-летия со дня рождения И. Солоневича	
и 30-летия разрушения СССР	192

Вехи памяти

Наталья РУСОВА	
ТАРТУСКАЯ ЛЕГЕНДА	
К 100-летию со дня рождения Юрия Лотмана	211

Литпроцесс

Павел БАСИНСКИЙ	
АННА – ДОЧЬ ПУШКИНА	216
Анастасия ВЕКОВА	
«ИНОГДА СНЯТСЯ СТРАННЫЕ СНЫ, НЕВОЗМОЖНЫЕ И НЕЕСТЕСТВЕННЫЕ...»	
О литературоведческом и психоаналитическом прочтениях Ф.М. Достоевского . . .	221
Александр БАЛТИН	
РУССКИЙ ХРИСТОС ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА	234
ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ И ПОБЕДА	236
ТРАВЫ И КОСМОДРОМЫ НИКОЛАЯ ТРЯПКИНА	237
АЛЬФА АНАТОЛИЯ ПЕРЕДРЕЕВА	239

Роман СЕНЧИН

Родился в 1971 году в Кызыле, Тувинская АССР. Работал монтажником, дворником, грузчиком. По окончании Литературного института вел в нем семинар прозы (2001–2003).

Публикуется в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», «Нижний Новгород», «Урал» и других. Автор ряда романов и сборников рассказов. Роман «Елтышевы» в 2011 году вошёл в шорт-лист премии «Русский Букер десятилетия» и принес автору Премию правительства РФ (2012). В 2015 году за роман «Зона затопления» удостоен третьей премии «Большая книга», в 2017-м – премии «Писатель XXI века» в номинации «Проза» (за книгу «Постоянное напряжение»).

Живет в Екатеринбурге.

РАЗГОВОР

Двое стариков копали могилу, один сидел рядом на перевернутом ведре.

- Думал, Юрка мне вырастет, а вот как получилось...
- Примкнулся бы. Рвешь душу.
- Не могу я молчком.
- А я твои стоны не могу слушать. Если я рассупонюсь и Евгенич вон, что делать будем? И себе тоже нарыть и лечь?
- Что ж ты мне и погоревать не даешь, Валер...
- Потом погорюем. На поминках.
- Себе не прикажешь, когда горевать.
- Рой давай.
- Слушай, чего ты мне всё указывашь?!
- Паш, не нарывайся.
- Хорошо лаяться, мужики. Кого сменить, может?
- Да сиди, Евгенич, куда тебе...
- Пока никуда. Я пока не собираюсь.
- Хм, Юрка тоже не собирался. Всё бегал, бегал...
- А что его в город-то не отправили? Положено в морг, там, вскрытие...
- Если странная смерть или этот... криминал – увозят. А он – сам. Ну, то есть естественная смерть.
- Естественная... в сорок три...

– Ну, с сердцем ведь у него давно было. Вот и случилось. Фельдшерица приезжала, написала – инфаркт. А до города сколько везти... К тому же Настя здесь его похоронить настояла.

– И правильно – что ему там, на районном... Кто приглядит? Через полгода и могилку не найдешь... Чего, давайте сменю.

– Да сиди, Евгенич, успеешь.

– Неудобно.

– Извиняй, стул не захватили.

– Ох ты остроумец какой, Валер. Молодым, помню, слушал всё, а теперь так и шпаришь.

– Ну, наслушался, научился на старость лет...

– Да-а, на Юрку большая надежда была. Без него сгинет деревня. Когда эта приехал с ним, думал: вот сейчас рассада пойдет. А она через две недели, что ли, сбежала... Как ее? Алёна? Алина?..

– Да какая разница – что была, что нет.

– А Юрка страдал без нее...

– Без бабы любой застрадат. Даже нам надо кого помять иногда.

– Как эт – кого! Ты, Валерка, гляди, у тебя жена живая.

– Да я так, Евгенич... Я так...

– Так он, хм... Сменить?

– Уговорил. Тут легче пошло – песок.

Старик Павел, опираясь на лопату, выбрался из прямоугольного углубления, а старик Евгенич занял его место. Павел присел на ведро, вытряхнул из пачки сигарету. Сделал пару затяжек, вздохнул:

– Ну и ее понять можно, конечно.

– Кого?

– Ну, Алёну... Алину.

– В смысле – понять?

– Как ей здесь – ни газа, ни воды. От колодца не натаскаешься.

– Наши до сих пор таскают.

– Наши... Наши с рожденья так, а новому человеку... Была бы цивилизация – сюда бы и дачники повалили. Теперь чем дальше от города дом – тем лучше. Говорят, за триста километров на выходные гоняют. Это шестьсот туда-сюда.

– Машины теперь добрые. Эти, бездорожники у всех.

– Внедорожники, Евгенич.

– Один хрен.

– Ну так-то – да... И к нам бы ездили, если бы мост наладить. Того и гляди рухнет уже. Автолавка едет, так весь ходуном ходит.

– Да-а, без моста и нам крышка.

– Вывезут. Не бросят ведь.

– И оставят – крышка, и вывезут – крышка.

– С чего эт?

– Старые деревья пересаживать нельзя.

– Ну если в этом плане, то – конечно...

– Не вредный Юрка человек был. И умер – как подгадал, чтоб нам не мучиться.

– Опять не понял тебя, Паш. Что-то ты сёдня...

– Чего не понять – и ни на один корень не наткнулись, топор только зря тащили, и земля через неделю схватится. Ломами пришлось бы. А если бы в ноябре...

– А если бы в декабре, январе, феврале, марте? Паш, просил сколько раз – не береди ты душу. А как назло – нудишь и нудишь.

- Чего ты злишься? Устал? Вылазь, покури.
- Да, надо.
- Старик Павел вернулся копать, старик Валерий закурил.
- Докуда рыть будем?
- Ну, с покрышкой станет – и нормально.
- Ну да...
- Хорошо идет, мягко.
- Предки наши знали, где место выбрать.
- Ох-х, кладбище-то какое – и краев не видно, а деревенька...
- Не всегда она такой была.
- Ну дак – и школа, и сад, а акушерский пункт, и почта. Аж два магазина... Помните, когда второй закрывать решили – начальство приехало объяснять, что, мол, автолавка – это даже лучше. И мы кивали.
- Я не кивал.
- А-а, не кивал он... Тогда взбрыкнуть бы сообща: не дадим...
- И помогло бы, думаешь? Раньше взбрыкивать надо было, когда школу закрывали. После нее всё повалилось.
- Ну, теперь сколь угодно высчитывать можно, когда оно повалилось...
- Старики начали уставать, и разговор загас.
- Копали по-прежнему по двое, один отдыхал. И ему казалось, что это сама земля утягивает его сосельников. Забирает в себя. И Евгений это видел, и Павел, и Валерий. Отворачивались, кряхтели, щурясь затягивались едким дымом.
- Когда бросать песок с глубины стало совсем трудно, опустили ведро на веревке. Вытягивали, ссыпали в кучу. Забирались и выбирались по лестнице.
- Вот и голов не стало видно. Готово.
- Теперь перекуривали вместе. Над вынутым песком вилась недобитая утренниками мошка.
- Как понесем-то втроем? – тихо, подрагивая голосом, спросил Павел. – Анатолич нам не помощник – еле ходит.
- Бабы с одного краю возьмутся. Где ноги. Ольга, сможет, думаю, Пристениха.
- Пристениха – кре-епкая...
- Донесем потихонечку. Далеко, конечно...
- Не думали, ясно, прежние люди, что вот такой у деревни будет конец – десяток хрычей с хрычовками.
- Ладно, не кипятись, Валер. Пожили, теперь надо умереть без яду. А то он и там жечь будет... Донесем, похороним Юрку, помянем...
- Ну, это-то – да. А дальше? Нас кто?..
- Всё. Как бог даст. Смердеть уж, поди, не оставят.
- Будем надеяться.
- Будем.
- Старики оббили лопаты о траву, взяли ведро, топорик, лестницу и пошли туда, где возле гроба сидели остальные жители деревни – пять старух, мать Юрия, тоже старуха, и немощный Анатолич.

ПОДРУЖКА

С каждым переездом Мирославе всё труднее было вживаться в новый класс. Вначале происходило запросто: «Меня зовут так-то. – А меня так-то. Давай дружить? – Давай. – На такого-то внимания не обращай – он дурак. – Ладно». А потом так не получалось.

В этот раз класс встретил ее враждебно сразу. Классная руководительница объявила:

– У нас в этом году новенькая. Мирослава Бабич. Прошу принять ее в наш коллектив.

Не приняли. Приставать и щипать словами стали сразу. Из-за имени необычного, из-за фамилии такой подходящей для прозвищ и обидялок, из-за фенечки на запястье левой руки, косичек...

И тогда Мирослава поняла, что вокруг нее не дети, которые могут ударить и через минуту извиниться и попроситься в друзья, а находящиеся на пути из детей во взрослые существа. А они самые жестокие и опасные. Тем более если их стая. Может, если бы она находилась в стае, тоже была бы жестокой и опасной, но она была одна. Она стала жертвой.

От колких замечаний и вопросов вроде: «За бабкой сапоги donaшиваешь?» – быстро дошло до подножек и тычков. Мирослава делала вид, что не слышит, не чувствует. Наверное, это было ошибкой – вскоре стали просто бить. Не сильно, но больно. Били и девчонки, и пацаны.

– Что вам надо?! – кричала Мирослава; они гоготали в ответ и неспешно, лениво так, уходили. Тесной стаей. А она оставалась сидеть в углу раздевалки, под стеной в коридоре.

Были те, кто не бил, не приставал. Как поняла Мирослава – чмошники, с которых внимание стаи переключилось на нее. В их глазах она видела сочувствие, но и облегчение, тихую чмошничью радость, что бьют не их.

И была одна девочка – она хорошо училась, была чистенькой, симпатичной, с золотыми сережками в маленьких ушах, – которая не была ни чмошницей, ни членом стаи. Вернее, стая считала ее своей, но не требовала участвовать в охоте. Такое и у зверей бывает, как узнала потом Мирослава. Девочку звали Таня...

Однажды Мирослава возвращалась из школы, уже выпал снег, тело колотило от холода. Может, и холод был не сильный, просто еще не привыкла к нему, или страшно было – постоянно оглядывалась, ожидая увидеть бегущую стаю. Стая несколько раз уже догоняла ее здесь, в закоулках, валила на землю, пинала и уходила. И надо было успеть собраться, прикрыть лицо одной рукой, живот и грудь другой, в которой портфель как щит...

– Привет. – Из-за гаража, бетонного, каких было много в этом городе, похожего на домик, вышла Таня.

– Привет, – сказала Мирослава и чуть не заплакала от того, что кому-то из сверстников, одноклассников может сказать это слово.

– А ты где живешь?

Она ответила. Таня красиво приподняла брови:

– Я там же. Пойдем вместе? – Именно спросила, будто была не уверена, согласится ли Мирослава. Мирослава сильно кивнула – позвонки хрустнули:

– Пойдем.

И они пошли.

Сухой снег скрипел под ногами.

– Ты откуда приехала?

Мирослава ответила. Она приехала из города, который находился много южнее и был намного больше этого.

– У вас там трамваи были?

– Были.

– А метро?

– Делают.

– А ты в Крыму была?

– Была, – сказала Мирослава. – В прошлом году выиграла конкурс чтецов, и меня отправили в Артек.

– А что такое Артек?

Она рассказала.

– А чтецы?

– Это надо красиво стихотворение прочитать.

– Наизусть?

– Ну да. – Мирослава позволила себе усмехнуться.

– Интересно. А ты в море купалась?

– Купалась, да. Это счастье, Таня...

Таня жила в новом пятиэтажном доме с розовыми стенами и фиолетовой крышей, а родители Мирославы снимали квартиру в двухэтажной деревяшке почти напротив. Эту деревяшку построили те, кто создавал город лет тридцать назад.

– Ну пока, – с сожалением сказала Таня.

– Пока.

– А давай завтра утром здесь встретимся в восемь пятнадцать и вместе в школу пойдем?

Мирослава обмерла от радости:

– Давай.

С тех пор в школу и из школы ходили вместе. Правда, перед уроками Таня отрывалась от Мирославы и входила в школу одна, а после уроков дожидалась ее возле гаражей или догоняла, если Мирослава выходила раньше.

По пути они много разговаривали – делились своими любимыми песнями, а потом стали обмениваться кассетами и сидюшками, обсуждали сериал «Элен и ребята», восхищались Леонардо Ди Каприо, придумывали разные увлекательные истории. В общем, они стали подругами, но про их дружбу никто не знал...

Мирослава стеснялась пригласить Таню в гости потому, что квартира была обшарпанная, тесная и чужая, а Таня не приглашала, наверное, по каким-то другим причинам.

В конце февраля она пропала, а потом оказалось, что погибла.

Их семья – папа, мама и Таня – поехала на природу – зимняя рыбалка, шашлыки, и машина сломалась. Вечером усилился мороз. Мобильные телефоны тогда только появились, у них мобильника не было... Мертвого папу нашли в сотне метров от трассы, привалившегося к стволу сосны, а закутанных в чехлы с сидений Таню и ее маму – в машине.

В фойе школы несколько дней висела Танина фотография, обрамленная черной ленточкой. Потом убрали.

В апреле папа Мирославы получил новое назначение, и они уехали из этого города. Позже, вспоминая школьные годы, Мирослава стала сомневаться, была ли у нее такая подружка на самом деле.

ОСТАНОВКА

Случаются в конце сентября такие дни – невыносимее, чем зимой, в лютые морозы. Даже в квартирах зябко, а на улице зуб на зуб не попадает, живот сводит, ноги и руки ходуном ходят. И думать ни о чем невозможно – в голову как ледяного бетона налили...

В такой день от трех деревушек возвращался в город маршрутный автобус – не новый, но еще крепкий ПАЗ. Дождя хоть и не было, но по окошкам стекали мутные, вязкие капли. Внутри вертикально стекали, а снаружи боком, сдуваемые ветром движения.

За окнами с обеих сторон одно и то же: тополя лесополос, а дальше поля, и снова лесополосы, и снова поля до далёких увалов. Тополя почти голые, кое-где висят сморщенные листья. Но вот один весь в серой и пышной листве. Не выдержал летней засухи. Живые сбрасывают листву, а ему, мертвому, не надо. Мертвому всё равно.

Летом и трех рейсов мало – постоянно битком, а сейчас в автобусе человек пять, не считая водителя и кондуктора. Но куда в такую погоду... По городу не погуляешь, разве что в магазины за самым необходимым.

ПАЗ выбрался с ухабистой районной дороги на федеральную и побегал резвее. И люди стали пытаться подрёмывать, пряча руки в рукава курток и плащей, носы в воротники, шарфы. Но дремать не получалось – в салоне, кажется, стало еще холоднее.

– Водитель, включите печку, – потребовала одна из женщин.

– Да включена.

– Колотун страшный просто.

– Может, форточка открыта где. Поглядите.

Никто из пассажиров не двинулся проверять, тогда встала кондуктор, прошла, заглядывая под короткие шторы с бахромой.

– Всё закрыто. – Наклонилась, пощупала железный выступ с левой стороны салона. – И печка греет. Одеваться надо теплей.

Сама она была в зимнем пуховике, сапогах с высокими голенищами. В голенища заправлены шерстяные штаны.

– Организм не привык к холоду, вот и мерзнем, – объяснил пожилой здоровенный мужчина с седыми короткими волосами. – В пятницу еще жара стояла какая, я в одной майке работал, а сегодня вон...

– Заморозки скоро, – прозвучал грустный вздох.

– При такой погодке нескоро. Погниет просто всё.

Заморозки уже были, недели две назад. Несильные. Прибило помидоры, огурцы, что росли на грунте, а картошка стояла бодрая. Копали ее с сожалением – понимали, пора, а душа просила повременить: пускай еще порастет. Кто выкопал да высушил, успел спустить в подполья и погреба, сейчас радовались. Другие сердились на себя, глядели на небо, искали солнца...

Пейзаж за окнами тот же и тот же. Поля, лесополосы. Иногда своротки к другим деревням. Деревень отсюда не видно, они далеко – за полями, за увалами. Никто, наверное, из пассажиров там не бывал, но слышал с детства их названия: Нижняя Ничка, Верхняя Ничка, Коя, Каратуз, Мураново, Сухое Озеро... Когда-то манили они, эти названия, хотелось узнать землю вокруг, увидеть, но с годами желание гасло и погасло совсем. До города вот – и обратно. В свой дом, к своим привычным и никак не кончающимся делам.

Автобус стал притормаживать. Кондукторша встрепелась. Глянула на водителя, куда-то наружу. Тем временем остановились, и передняя дверь, шикнув, открылась.

– Да нельзя здесь! – И кондукторша вскочила, загородила собой вход в автобус.

– Пустите... Я замерзла, – голос с улицы.

– Нет остановки! Закрывай, поехали! – каждая фраза была испуганно-сердитым вскриком. – Слышишь!

Водитель послушно закрыл дверь. Медленно тронулся.

– Да есть остановка, – размазывая влагу на стекле, сказал здоровенный, седой. – Вон и знак. Вы чего?

И остальные пассажиры зашевелились, загудели.

– У нашего маршрута нет! И билетов нет таких!

– Да пустите вы человека.

Словно надеясь, что кондукторша передумает, водитель не разгонялся, катил пока по обочине, хрустя гравием.

– Нельзя! Нас отслеживают!

– Да кто отслеживает? Эти, квадрокоптеры.

– Глонасс, – уже спокойно или, вернее, успокоенно ответила кондукторша, тем более ПАЗ бежал теперь с прежней скоростью. – Шофер новый, не привык...

– Ну вы даёте, – усмехнулся другой пассажир, не здоровенный и не седой, и в этой усмешке все услышали презрение. – Чтоб человека не подобрать...

Кондукторша встрепелась снова, хотела заругаться, но вместо этого почти заплакала. Не слезами, а голосом:

– Нам такие штрафы за это... Есть маршрут с определенными остановками. Эта остановка в маршруте не значит... Что я, по своей воле, что ли... Не надо из меня зверя какого-то делать...

Отвернулась и стала обиженно смотреть в окно. Может, и не видела там ничего, а так смотрела, слепо.

Пассажиры повздыхали осуждающе, повозились, прячась в свою одежду, и затихли.

Осип БЕС

Родился в 1985 году в Лесосибирске, Красноярский край. В 2001 году переехал в Нижний Новгород, учился в Нижегородском художественном училище и Нижегородском театральном училище.

Работал грузчиком, строителем, археологом, преподавателем рисунка и живописи. Дипломированный фотохудожник, дизайнер.

Автор романа «Стекло» (2010). Издатель и составитель сборника «Плохое время для героев» (2011). Один из основателей мультикультурного Объединения радикального творчества.

Живет в Нижнем Новгороде.

ВАСЯ, ЛАМПОЧКА ИЗ СОЛНЕЧНОГО

(Фрагмент романа «По образу и подобию Бога»)

Когда я подошел к садику, несколько парней уже были там.

Обычная такая двухэтажная коробка, среди таких же жилых коробок покрупнее, облезлый двор, пара гнилых беседок и торчащие из земли ржавые железяки, которые заменяли нам турники. Детей я здесь не видел, садик не работал, но сторож был. Впрочем, к нам старикан не придирался, мы особо не мусорили, а пока находились здесь — не давали прижиться в садике разномастным наркоманам и другой районной алкашне.

Юркнув в дыру в сетчатом заборе, я плюхнулся на скамейку рядом с Филом и незнакомым мне молодым парнем. У турников Кася за что-то распекал двух пионеров.

— Че это он? — спросил я у Филя, здороваясь.

— Да, — зевнул тот. — Карлики поймали чурку-малолетку, зачленили до полусмерти, обоссали, дерьма собачьего в рот напихали и отпустили. А, расписку еще взяли, что тот в свой аул уедет. Вот, хвастаться пришли.

— Твои, что ли, орлы? — кивнул я на молодых оболтусов сидящему рядом парню.

— Не, не его, — Кася оторвался от своих наставлений. — Это свой парнишка, из Солнечного.

Я подозревал мнушихся у турника пацанов.

— Где вы этого черного нашли? В школе с вами учится?

— Неа, — потупили глаза пионеры. — Он не из нашей, из другой, на Взлетке...

– А че вы там делали?

– А у них там барышни! – ухмыльнулся Кася, подходя.

– О как! Не рано? – изумился я, глядя в прыщавые мальчишеские лица. – Мы в ваши годы...

– В наши годы такого не было! – проблеял, передразнивая меня, Фил. – Чурка запомнил вас? – уже серьезно спросил он у пацанов.

– Нет!

– Да не найдет он нас! – начали оправдываться те, перебивая друг друга.

– Не найдет? А мудмуазелей ваших малолетних, остолопы? – Филя зло сплюнул в снежную кашу. – Знаешь, что за такие оскорбления бывает?

– Ладно, утихни, перепугал пацанят! – слегка прикрикнул я на друга.

– Где эта ваша, блин, расписка? Выкиньте ее на хрен! А ты... – На берцах одного из карликов белела шнуровка, испачканная местами в грязи и обувном креме. – Какого хрена ее нацепил? Заслужил? Иди лучше сразу ментам сдайся, они тебе дело ею сошьют! Все, свободны.

Мы еще недолго поговорили о случившемся, когда карлики ретировались.

– Школота, мать их, недоразвитая! – Кася рывком подтянулся на турнике, и ржавое железо жалобно скрипнуло под весом его невысокого, но крепко сложенного тела. – Гадят везде и за собой не убирают.

– Че ты думаешь, искать их будут? – Фил скинул бомбер, размялся, ожидая, когда Кася спустится с турника. – Могут и на нас выйти.

– Да вряд ли чича скажет кому-то, если он не совсем опустившийся. У них там «честь семьи», или там «культ война»! Такого унижения ни один кавказец не простит, даже самый мелкий. И ему не простят. У нас до Совков тоже так было, но это лучше у Юрича узнать, он лучше знает...

– А при чем тут Совки? – В этом вопросе с Касей я был в корне не согласен. – Юрич это вообще про дохристианские времена говорил. Я вот думаю, что если ты по каким-то причинам отрекаешься от своих предков, неважно, в чем они могли ошибаться и кем они были, красными, белыми, немцев ли вешали или коммуняк, – ты автоматически становишься безродной собакой! Без рода и племени. А какой ты тогда националист? У меня дед из сибирских казаков, например. Две войны прошел, Гражданскую и Отечественную, и финскую зацепил еще. И я им горжусь! И считаю – все правильно сделал! Я понятия не имею, какой там расклад был, поэтому осуждать не берусь.

– А моего деда большевики расстреляли!

– На китайской границе, что ли? – оскалился Фил.

Кася, он же Косой, кличку получил за свой малый рост и необыкновенное сходство с китайцем. Хотя сам Кася являлся чисто русским человеком и вдобавок был неплохим бойцом, так что издеваться над ним по этому поводу было просто опасно. Но нам он, как правило, это прощал, только хмурился, отчего его маленькие глазки совсем исчезали.

– Да пошел ты! – обиделся Кася. – Бандеровец глупый!

Кличка у Филя произошла от фамилии Фильчук, сам он был с Западной Украины и, вспомнил я, на тему «деды воевали» старался помалкивать.

– Может, ты и прав. – Подумав, Кася обернулся уже ко мне. – Просто у нас такого единства, как у них, нет, я имею в виду всех этих кавказцев. Где-то, неважно где, мы его подрастеряли.

– Вы сами сретесь по любому поводу. Надо с себя начинать в первую очередь. – Я встал и закурил. – Нас всех здесь, и не только здесь, в городе, в стране, объединяет одна борьба. Если бы ее не было – ее стоило бы придумать, как говорится. Но, как мне кажется, борьба сегодня выпала на долю всех людей вокруг. То есть в ней все участвуют. Кто-то ее принимает, кто-то поддерживает, кто-то сознательно отрицает, но большинство тупо не видит. Мы авангард – нам тяжелее всего, другим будет уже легче, остальные, может, и не заметят ничего нового.

– Ну и при чем здесь единство?

Все выжидательно смотрели на меня.

– Да, что-то я увлекся... Я считаю, что единство достигается в борьбе и испытаниях. У нацменов сплоченность потому больше, потому что их мало, им она для выживания была необходима, для борьбы с внешним врагом.

– Блин, а нас много! – Фил нетерпеливо топтался на месте. – Теперь мы не едины и очень победимы? Так, что ли?

– А для нас, Филя, угроза, возможно, куда больше! И даже мы с вами ее до конца не видим!

– Это называется подмена ценностей... – вдруг подал голос парень, доселе сидевший на лавочке молча.

Только тут я к нему как следует присмотрелся. Он был моложе нас, но не сильно, худой, на носу висели очки – смотрел он поверх них. Мешковатый, темно-синий бомбер не по размеру, хэбэшные камуфляжные штаны топорщились из разбитых, в серую протирку «каamelотов». На круглом черепе отрос еж светло-рыжих пушистых волос. Вид в целом нескладный.

– Наша разобщенность происходит от того, что такие понятия, как родина, семья, мораль и честь, втоптаны в лужу, – тем временем продолжил парень, посмотрев в грязь у себя под ногами. – Их сменили другие ценности. О каком единстве нации может идти речь, если мы не можем достичь взаимоуважения даже в собственном доме. Сын не уважает мать, женщина предает мужчину, брат презирает брата. Все перемешалось. Обыватель способен уважать теперь только власть, деньги или грубую силу. Любая агрессия заставляет его, дрожа, падать кверху брюхом, потому что он, обыватель, в глубине души знает, что его окружают такие же безвольные овощи, как и он сам, и в случае беды никто ему не поможет. Мы потеряли те фундаментальные ценности, которые скрепляли наше общество, звенья одной цепи: семья – род – народ. Над этим теперь принято смеяться. Цепь разлетелась, и конечного результата уже не собрать. Русский человек сейчас отчаянно одинок, он не может довериться даже самым близким, везде предательство и подлог. Неважно, сколь малочислен любой другой, даже дикий народ, но он НАРОД, а русский человек один. Миллионы одиноких русских.

Парень замолк так же резко, как и заговорил, поднял на нас подслеповатые глаза, будто из лужи их вынул, куда все это время смотрел.

Мы тоже молчали.

– Как тебя в движ-то занесло? – спросил я у парня, который представился Васей.

Вечерело, в коровниках загорались окна, и надо было расходиться, а нам с ним оказалось по пути.

– Понимаешь, – он смущенно улыбнулся, – у бездействия тоже есть последствия. Иногда даже более сильные. Бабочку в Айове можно про-

сто прихлопнуть, и никакого наводнения в Индонезии никогда не произойдет. Я туманно, наверное, объясняю?

– Да нет, я понял, только, скорее, саранчу. И она уже не одна.

– Я не совсем об этом, точнее, не только об этом. Ты сам сегодня говорил, что угроза больше. Я не хочу быть, как это племя жертв, – Вася кивнул на парочку, которая предпочла перейти на другую сторону дороги, заметив двух бритоголовых на темной улице. – Если мне предстоит исчезнуть, то я хочу еще пободаться, а не ждать, когда за мной придет мясник с топором, шприцем или бутылкой водки. Мир вокруг – он не разваливается на огромные валуны, которые с грохотом рушатся на головы, мир оплывает. Он стекает в огромную лужу, в луже, хрюкая и попердывая, лежат свиньи и пускают пузыри. Если поддаться и деградировать, вместе с этими вот, – он снова покосился на прохожих, – то вскоре от нас не останется и пары сраных пирамид. Если ты понимаешь, о чем я.

– В общих чертах, – кивнул я.

– Необходимо иметь цель, идею, лучше заоблачную. Чем цель нереальнее, а методы ее достижения агрессивнее, тем лучше. Тем упорнее, злее ты будешь. Станешь жить от противного, назло всем. Иначе тебя смоем этой рвотой, каким бы сильным ты ни был. Вот поэтому я с вами! – выдохнул Вася последнюю фразу.

– Резон в этом есть. Думаю, вернемся еще к этому разговору.

Я закурил. Мы стояли на остановке, дожидаясь его автобуса.

– Ты говорил, у тебя дед из сибирских казаков? – Вася поежился, стало совсем прохладно. – Он под Москвой воевал?

– Да, ранен там был. Семьдесят восьмая стрелковая дивизия.

– Та самая? Мой в сто тридцать третьей был.

– Дед?

Вася был младше меня, а я был поздним ребенком в семье.

– Нет, прадед. А, вон автобус едет. – Вася протянул мне руку. – Один за всех!

– И все за одного, – пожал я ему руку в ответ. Он прыгнул в грязный, будто в луже извалялся, автобус и вскоре уехал, а я еще покурил на остановке и зашагал к дому.

Бурая, снежная жижа, лед и грязь вокруг вскрывшихся днем сугробов сейчас хрустели под ногами. Просевший снег подернулся коркой и блестел, хотя с крыш все еще продолжало капать. Шалава-весна густо текла изо всех щелей. Тягучая, вялая, вползала она в город, брела по улицам, собирая оттаявшие бутылки и недокуренные бычки. Улыбаясь зазывно, простила огонька у психов и влюбленных пар.

Ночью снился дед. Он бежал по белому полю, на котором местами еще торчала жухлая трава. В него стреляли, он падал, вставал и снова бежал. А впереди, из вспоровших снег окопов, будто из-под земли, поднимались ему навстречу черные фигуры врага.

* * *

Вася как-то не сошелся с мобом из Солнечного. Он вообще плохо сходилась с людьми, был замкнутым, неуклюжим парнем, чего заметно стеснялся. В разговоре молчал в сторонке, но если встречал, то выплевывал комком множество своих мыслей и слов. В общем, по делу, но в их мешанине разобрать смысл сказанного было зачастую сложно.

Васины мысли долго бродили и закипали у него внутри, потом, сдвинув крышку молчания набок, эмоционально шипели, а спустив пар, Вася плотно закрывал крышку на полуслове, чтобы не расплескать лишнего.

Вдобавок случилась с ним в Солнечном одна неприятная история. Вася был влюблен в соседскую девицу, редкостную шлюху, и все вокруг об этом знали, кроме Васи разумеется. Может, и Вася знал. Может, не верил, может, еще что-то, но продолжал мечтательно поглядывать ей вслед поверх своих очков.

Тогда местные пацаны оказали Васе совсем уж ублюдочную услугу, позубоскалить им, что ли, захотелось? На одной вечеринке, где присутствовал и Вася, они подпоили его возлюбленную, и она исчезла в одной из комнат. Задумчиво слушая спор за столом, Вася крутил в руках недопитый стакан и не обращал внимания на курсирующих в комнату и оттуда пацанов. Пока парнишка по прозвищу Сыч не хлопнул его сзади по спине:

– Васек, иди, а то тебе ничего не достанется, она и тебя ждет!

Сыч пьяно и гадко икнул.

Вася не разобрал сказанного. Близоруко щурясь и улыбаясь, он доверчиво смотрел на Сыча. Затем встал, неуверенно дошел до двери, постучал зачем-то и дернул ручку.

Его возлюбленная стояла на коленях, левая рука ее путешествовала в области паха одного из парней, правой она помогала второму, который нетерпеливо стягивал свои штаны.

– Васек, не стремайся! Она правда отлично сосет! – орал Сыч в спину уходящему Васе.

У него была одна-единственная татуировка на запястье, простенькая, с ее именем. Он тогда ее не свел, а вырезал. Я это сразу оценил. Ножом вырезал, глубоко, с мясом. Это было больно, чертовски больно.

После этого он совсем замкнулся. Окончательно перестал разговаривать с окружающими, больше читал. Так проходили его дни, так ему было проще. Редко, по необходимости, он выходил на улицу, щурился по сторонам на мир вокруг стен бастиона своей квартиры.

В один из таких дней Кася и увидел в Солнечном нелепого, очкастого скина, который жмурился на солнце, стоя у подъезда.

Вася Лампочка, так его звали. Прозвище, надо заметить, ему ужасно шло. Из-за манеры общения в первую очередь. Складывалось впечатление, что обрывки его монологов вдруг внезапно появляются у него в голове, как озарение, и гаснут так же резко, будто свет вырубили. В остальное время они там, в темноте, копошатся и колобродят сами по себе, пока вспышка вновь не явит миру их причудливые формы. Это меня в нем особенно удивляло.

Лампочку напоминала также его круглая голова, точнее, светло-рыжий пух на ней; когда на нее падало солнце, голова у Васи прямо-таки светила.

Вот и сейчас я задолго заметил его макушку среди людей на автобусной остановке.

Наступила суббота, и, несмотря на затянувшуюся, нудную весну, погода была теплой. Поэтому, договорившись с парнями из Солнечного и обзвонив знакомых, мы все решили выбраться к Филу на дачу. Когда, после звенящей или воющей зимы, люди просыпались оттого, что снег в ушах и глазах их растаял, а раскисший мозг наполнился вялой мутой, мы собирались туда. «Держи ноги в тепле, желудок в голоде, а голову в холоде, и мысли твои будут чисты, солдат», – ну или как-то так.

Было здорово собраться вместе, размяться, ощутить, как осыпаются последние льдинки с черных, коротких курток и, глубоко внутри, с размеренно гудящих, под ударами ожившего сердца, ребер. Здорово дубасить друг друга стенка на стенку или один на один, а потом хлопнуть товарища беззлобно по плечу и молча курить, и чувствовать, как новое солнце пригревает загривки. А вечером сидеть у костра, слушать гитару, знакомые песни и неспешные разговоры друзей.

Летом мы предпочитали выезды на природу, нередко забираясь глубоко в тайгу, но поздней осенью или ранней весной мы собирались именно там.

Дачей это можно было назвать с большим преувеличением. Там стоял ржавый вагончик, снятый с колес, и небольшой деревянный пристрой к нему. Посреди голого, без растительности, клочка земли, наспех огороженного забором, размокшие за зиму, валялись стулья и лавочки, сколоченные пацанами из соседского горбыля, стол заменял огромный, опрокинутый мордой в грязь шифоньер, весь в бурых кляксах прошлогодних гнилых листьев. Внутри вагончика чадила буржуйка, длинные зловещие тени от нее и огарка свечи на столе бродили по стенам и лицам собравшихся, когда день тускнел за грязным окном. Света там не было. Пристрой вовсе не отапливался, мы называли его «трезвяк», и там спали те, кто перебрал в течение вечера. Спартанская обстановка нас вполне устраивала, туда ездили не за комфортом.

Собирались на конечной, здоровались, притопывали в нетерпении зубастыми подошвами, дожидаясь остальных. Утренний холодок посеребрил асфальт, подсушил лужи, пробежал инеем по улицам, и они искрились на солнце.

Сразу за мной появились Юрич, мой лучший друг, из-под его бомбера выглядывала дурацкая футболка LOWE AND PEACE, которая резко контрастировала с руническими наколками на его руках, и Кася, Доцент, обалдуй из нашего района, прозванный так за свой исключительный ум, еще несколько парней, Фил, присев на остановке, поправлял рюкзак. Появились солнечные, все одинаковые, как братья-близнецы: «тяжести», черно-белый комок «Урбан», бомбера, шапки, надвинутые на глаза. Они недоуменно поглядывали на Васю, но, обходя всех, здоровались и с ним, ни о чем не спрашивая.

— Кого еще ждем? — перехватил я любопытный взгляд Джонни, неформального лидера солнечных, мальчика-красавчика с глазами и нравом бешеного пса. — Скоро растает все, по говну побежим. Штанишки свои не испачкаете? — Я кивнул на его белый камуфляж.

— Главное, чтобы вы свои не намочили! — оскалился Джонни и перевел синие, ледяные глаза с Васи на меня.

— Фил, поднимай всех, пора, — выпрямился я.

До места предстояло добираться два с лишним километра. Лишь только город скрывался за спиной, а под ногами начиналась разъезженная колея, оставшееся расстояние мы преодолевали бегом. Раньше еще пели, но потом, по общему мнению, занятие было признано идиотским.

Бежали по двое. Грязь все же успела подтаять, ботинки, скользя, давали ее, грязь брызгала в стороны, следы множества подошв тут же заполняла холодная вода. Первыми бежали я и Джонни, затем Фил, Юрич, долговязый Вася, Кася мячиком подпрыгивал рядом. Топотали грузным рядом одинаковые солнечные. Всего порядка пятнадцати парней.

– Значит, Васек теперь с вами? – Джонни ехидно блеснул ледяными глазами.

– Допустим, – в груди стало горячо покалывать, чертовы сигареты, – имеешь, что сказать?

– Да не... – Джонни обнажил ровные, белые клыки. – Просто он пришибленный малость...

– На себя посмотри, – фыркнул я, – ты же псих ненормальный!

Однажды менты приволокли нас с ним в отделение после массовой драки на одном из рок-концертов. Джонни хамил, едко ругался и никак не хотел успокоиться. Нас усадили напротив дежурного.

– Руки убери, ты мне куртку испачкаешь грязными своими руками, – поморщился Джонни брезгливо, один из пэпээсов держал его за рукав. И получил подзатыльник, не сильный, но для Джонни обидный. Мент отпустил его во время оплеухи, и тот, сорвав шарф любимого клуба, по-обезьяньи быстро вскарабкался по решетке к потолку, потолки в отделе высокие. Там он на глазах разинувших рты мусоров обмотал один конец розы вокруг стальных прутьев, другой вокруг своей шеи и прыгнул вниз. Шарфы, шнурки и ремни отобрать у нас еще не успели. Весь отдел сбежался снимать висельника. Никакой для себя угрозы в поступке Джонни не предусматривалось, петли на шарфе не было, он даже к прутьям его узлом не привязал, но менты вытолкали его за дверь, от греха подальше. Проходя мимо, он победно улыбался, а я всю ночь там присидел.

Добравшись до места, все занялись привычными уже делами. Кто-то разводил костер, кто-то набивал дровами прожорливое брюхо буржуйки, на дрова ушла часть своего и часть соседского забора. Кто-то отскребал стол от листьев и оставшегося на нем снега, расставлял вокруг стулья.

Была на даче одна веселая игра. Играть в нее следовало лишь дойдя до нужной кондиции. Называлась она «Царь крыши».

В детстве зимой мы часто играли в «Царя горы», эта детская забава заключалась в следующем: находилась какая-либо снежная горка, желательна неприступная, с крутыми боками. По команде вся мальчишеская ватага, толкаясь и падая, бросалась ее штурмовать. Задача была не только в том, чтобы покорить горку первым, но удержаться наверху как можно дольше, пока остальные будут стараться занять твоё место.

У «Царя крыши» правила не изменились, только место горки и мягких сугробов занял железный вагончик, а вместо соседских мальчишек вокруг стояли разгоряченные спаррингом и бухлом бритоголовые.

Дюжина парней одновременно бросились вперед, мат и крики их перемешались. Я видел, как первых подбежавших вмяли в железную стену подоспевшие следом, вагончик задрожал от удара, внутри, громыхая, покатились кастрюля, и те, кто уцелел, полезли вверх по вдавленным в стену товарищам. Кто-то из солнечных, разобрать было сложно, глухо взвыл и согнулся, и сразу несколько человек прыгнуло ему на спину, на голову, отчего тот охнул, согнулся сильнее и встал на четвереньки. Те, кому совсем не повезло, оказались в свалке под ногами и, матерясь, пытались оттуда выбраться.

Юрич карабкался впереди меня, активно работая локтями. Маленький Кася подпрыгивал рядом, из-за своего роста не способный что-либо сделать, выкрикивал советы:

– Дебил, куда ты?! Правее бери, да куда?! Ну твою же мать!

– Да заткнись, Косой! – зашипел на него Юрич. – Смотри! – Он повернулся ко мне, на его лице блуждала кривая ухмылка. – Видишь решетку? Давай подсажу!

Я сделал шаг вперед, наступил на кого-то, под ботинком извивалось тело, молотя ногами в грязных, потерявших свой изначальный вид, черно-белых камуфляжных штанах.

Я потянулся к единственному зарешеченному окошку, но сзади дернули за воротник, швы бомбера затрещали, но выдержали, я лягнул не глядя, подошвой почувствовал, что попал. Пальцы наконец сомкнулись на стальных прутьях, я дернулся вверх, ботинки зачертили резиновые полосы по стенке вагончика, ища опоры. Юрич подставил плечо под мое согнутое колено, и мне удалось ухватиться за край крыши.

Ржавая кромка больно врезалась в ладонь, я подтянулся, желая перевалиться на покатую поверхность, но Джонни оказался на ней раньше меня. Он не спеша подошел, снисходительно показывая белоснежный свой оскал. Я тем временем только грудью распластался на крыше, широко расставив руки, чтобы не сползти обратно. Закрыться мне было нечем. Мелькнул тупой носок грязного ботинка. Удар пришелся ровно между глаз.

Я упал на землю плашмя, в полете продолжая нелепо раскидывать руки. Кости от толчка словно подбросило, и они, клая, посыпались обратно в неправильной последовательности. Дыхание перехватило, потемнело в глазах.

– Как ласточка прям!

Кто-то потянул меня за рукав.

Медленно я повел взглядом в сторону говорившего, оторвать голову от земли оказалось больно. Зрачки нехотя поплыли в мутной поволоке орбит на звук голоса, пока не нашли размытый силуэт, вокруг круглой головы которого расплывался желто-рыжий неясный ореол.

– И правда, как лампочка!

– Ты как? – Вася, поправляя очки и озадаченно щурясь, продолжал тясти меня за рукав.

– Чуть не вырубился.

– Да ты вырубился вроде.

Я с трудом сел. Глаза резало, и они наполнялись слезами, правый добавок стал заплывать и слипаться.

– Хватит с меня ваших развлечений.

Морщась, при помощи Васи я поднялся и, кряхтя, заковылял к костру. Свалка у вагончика подходила к концу. Согнать Джонни с крыши так никому и не удалось.

Мы уселись на крылечке вагона. Парни кучками стекались к столу, оттуда слышался гогот и тихонько позвякивала гитара. В костер подкинули еще дров, пламя фыркнуло, принялось к угощению, лизнуло, пробуя, и радостно затрещало, оценив по достоинству соседский забор. Огонь разгорелся, и люди вокруг застыли плоскими черными одинаковыми силуэтами. Как бумажные солдатики. В детстве я вырезал таких из картона, рисовал им лица, глазки и рты и одинаковую форму, а потом использовал их, как мишени для стрельбы из игрушечного пистолета. Почему-то мои солдатики всегда улыбались.

Стремительно темнело. На миг показалось, что все вокруг только аппликация на лессированном дешевой синей акварелью листке. Остатки

забора, дачные домики, деревья на холме вдалеке приклеены сверху неумелой детской рукой. Даже пятна канцелярского клея остались, и в них отражаются блики огня. Но люди шевелятся, они просто не приклеены. Их можно передвигать по листу, в зависимости от условий игры.

А еще аппликацию можно дополнить, взять и приклеить нужную деталь. Только убрать потом не получится, надежно прилипла. Если оторвешь, то вместе с фоном, и будет дырка, и в нее будет видна реальность, если так поступить.

– Слушай, Васян, зацепи бухла за столом? – Я поднял воротник «штурмовика» и поправил шапку. – Впадлу мне к костру идти...

Вася молча встал и ушел, вскоре он вернулся, покрасневший и сконфуженный, но с водкой, стаканами и початой бутылкой лимонада. За столом раздался новый взрыв хохота, отчетливо на фоне него звучал писклявый голос Сыча. На мой вопросительный взгляд Вася ничего не ответил.

– Странная весна, нереальная какая-то, – я разлил водку, – запутался я в ней. Все ориентиры перемешала, сука. Ты говорил когда-то про цель, так вот, как-то стусевалась она.

– В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь...

– Чего?

– «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь» – это из Библии, – Вася покосился на парней у костра и снова замолчал.

Мы выпили, запивать «Колокольчиком» оказалось противнее, чем пить водку просто так.

– И ты во все это веришь? – Я повесил стаканчик на горлышко бутылки.

– Во что?

– Ты сейчас Библию вроде цитировал?

– Да как тебе сказать, – Вася задумался, – там много мыслей правильных, их просто выбирать надо.

– У Юрича вон много богов, у Фила их вообще нет...

– Боги у всех есть, только они выглядят по-разному. Для кого-то Бог – это любовь, для кого-то война. Или деньги, или власть. Для кого-то Бог – это он сам. Мы заслуживаем своих богов. Отсюда вопрос, Бог ли создал нас по образу и подобию Своему или мы придумали Его по образу и подобию нашему?

Вася продолжал что-то задумчиво бормотать, но я его уже не слушал.

Заигравшийся ребенок опрокинул на аппликацию банку черной краски. Она медленно текла по листку, покрывала дома, деревья и людей. Затекала в сознание. Наступила пустота. Лист аппликации перевернулся.

Я проснулся, дрожа от холода, пытаюсь завернуться в свой бомбер. Не получилось, и тогда я, ругаясь, попробовал открыть глаза, но правый слипся, а левый стал слезиться от упавших в окно солнечных лучей, нос противно хрустнул, полный запекшейся крови.

«Сломан. Так, понятно, я в “трезвяке”. Неудивительно, окончания вечера я совсем не помню». Я высморкался прямо на пол темно-бурыми вязкими сгустками и снова зажмурился от боли, а когда вновь открыл глаз, изо рта на холоде вырвался пар.

В соседней комнате гремели посудой, пахло едой, парни готовили гречку. Дверь отворилась, и вошел Юрич. Я захотел податься ему навстречу, но в переносицу будто сверло загнали.

– Джонни, сука! – застонал я и опустился на место.

– А ты не сука? – Юрич прикрыл дверь. – Я знал, что ты имбецил, но не до конца в это верил!

– Чего?

Друг смотрел на меня осуждающе, и мне это совсем не понравилось.

– Того! А ты, баран, не помнишь? Ты на хрена вчера так пацана изувечил? Иди, полюбуйся!

Юрич кивнул на дверь.

Я молчал и глупо смотрел на него.

– Сидим, мирно бухаем, байки травим, тут возвращаются два пьяных тела. Вася-то ладно, сел у костра и слушает, молчит. А этот... – Юрич подошел к окну, поглядел в него и продолжил задумчиво, обращаясь ко мне в третьем лице: – Стоял, стоял в стороне, шатался, вдруг схватил табуретку да как наградил ею Сыча! И давай его ногами топтать, чуть голову не раздавил. Еле оттащили. Даже не знаю, как ты теперь извиняться будешь, – снова повернулся он ко мне.

Уходя со сборов, все молчали, настроение было подавленным. На мои извинения Сыч ничего не ответил. Ему и отвечать было нечем, я вообще с трудом понимал, что и где в данный момент на его лице находится. Время от времени в начале колонны маячило его синее, неестественно большое ухо, не поместившееся под марлевой повязкой.

Я плелся в конце, рядом с Юричем, упорно таращился в землю, чтобы не встречаться с кем-нибудь глазами. Замыкал колонну Вася, за весь день не проронивший ни слова.

– И за что я его? – недоуменно спросил я скорее самого себя, но получилось вслух.

– А черт тебя знает! – встрепенулся Юрич. – Ладно бы он тебе что-то обидное сказал, но нет! Рассказывал про какую-то шлюху, которую они всем Солнечным дерут. Может, знакомая твоя?

– Да нет. Не моя.

Я оглянулся. Вася старательно изучал посадки берез вдоль дороги, но все веснушчатое лицо его вдруг покраснело.

Алина ГРЕБЕШКОВА

Родилась в 1990 году в г. Белебее Республики Башкортостан. Окончила Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмулы. Магистр литературоведения и педагогики. Журналист.

Автор книг «Заповеди неwanderталцев» и «Память рыб». Публиковалась в журналах «Персонаж», «Молодёжная волна», «Русское эхо», «Бельские просторы», «Лед и пламень», «Дон новый», «Веретено», «Формаслов», в поэтических сборниках «Уфимский полуостров», «Подворье» (Прага), в антологии «Коромыслова башня» (Н. Новгород). Финалистка национальной премии «Русское слово» (2018), конкурса «Славянская лира» (Минск, 2020), премии «Болдинская осень» (2021).

Член Союза писателей России. Живёт в Нижнем Новгороде.

ЭЛЛИ-БЭЛЛИ¹

– Жилёк – ягода.

– Жилёк.

– Окно – тряся.

Айгуль лежит на огромной кровати, задрала ноги на стену и изучает рыжий от заката потолок. Тени деревьев, продираясь сквозь занавески, стелются по комнате причудливыми узорами и фантастическими животными. Крест окна дрожит от ветра.

– А как будет небо?

– Небо – это кюк. А Луна – ай. Знаешь, как твое имя переводится? Лунный цветок. Всё, балакаём², спать пора. Солнце тоже пошло спать.

– Ещё немножко, нэнэй³. Расскажи мне сказку, ну пожалуйста.

– Какую сказку, Айгуль? Ты же уже большая, – смеется нэнэй.

– Любую, какую захочешь, – девочка обнимает бабушку. – Ты же их столько знаешь!

– Тогда ложись удобнее и накрывайся одеялом, закрывай глазки и слушай. Однажды Солнце позвало в гости Луну. Долго думала небесная красавица, чем порадовать друга, с пустыми руками идти нельзя, надо хороший подарок. Посмотрела вокруг и выбрала самые красивые и яркие звезды, положила их на серебряный поднос. Солнцу понравилась кучтанач⁴. Они весело провели время, обсудили новости и попрощались.

¹ Баюшки-баю (здесь и далее перевод с татарского).

² Малыш, дитя мое.

³ Бабушка.

⁴ Гостинец.

щались. На следующий день Луна пригласила в гости Солнце. Долго думал царь света, а чем порадовать в ответ? Пошел к самому лучшему портному и попросил сшить платье из самых мягких облаков, чтобы подчеркнуть красоту Луны. Но портной отказался:

– Ни один мастер не возьмётся за такое дело. Луна каждый день выглядит по-разному. Сегодня она полная, как шар, а потом начинает худеть, глядишь, и вот уже тоненькая, как серп. Как угодишь такой красавице?!

Расстроилось Солнце и отправилось к Луне без подарка. Встретила его небесная красавица с почестями, напоила, накормила. Настало время прощаться. Царь света стал собираться домой. Поняла Луна, что нет для нее подарка, и расстроилась.

– Я хотел подарить тебе платье из самых мягких и воздушных облаков, но портной отказался. Трудно тебе угодить. Ты то полная, то худая. Но чтобы ты не обижалась, я разрешаю тебе собирать мои яркие лучи. Из них ты сможешь сшить по своему вкусу любое платье.

Промолчала Луна, на этом они с царем света распрощались. Небесная красавица так расстроилась, что побледнела. С тех пор перестали дружить Луна и Солнце, а небесная красавица, как только увидит бывшего друга, тут же спешит уйти, чтобы не встретиться с ним. Вот такая история давным-давно произошла, Айгуль.

Девочка уже не слышит, мягкий нараспев голос бабушки усыпляет быстрее любой колыбельной, укачивает лучше любой люльки.

Солнце еще не проснулось, когда картата́й¹ загремел на кухне посудой. Завтракает он до первых лучей, ужинает, когда царь света уходит, а на его месте появляется обиженная небесная красавица. В семь часов включает радио. Каждое утро и летом, и зимой в одно время.

– Уфтанма́, уфтанма́, уфтанма́², – тянет певец.

Раздражающее радио вещает на непонятном для Айгуль языке. Звуки гармонии навевают тоску, а голоса исполнителей сливаются в одну протяжную песню. Летние просыпания похожи друг на друга, только солнце то бывает, то не выглядывает неделю, тогда над поселком низко стелется серое небо, а это значит, что в огород не идти, за ягодами тоже, но и на улицу не выпустят. Только если пообещать нэнэй что-то сделать, например помыть полы или почистить минтай, а руки потом в мозолях от неудобно большого ножа и не отмываются – пахнут рыбой целый день до вечернего мятя посуды, которой набирается в раковине до потолка. Это тоже обязанность семилетней Айгуль. Но если всё-таки улизнуть из дома, то свобода: можно залезть в школьный сад и хрустеть неспелым крыжовником или ранетками, так, что сводит язык и живот, а потом убегать от сторожа – старой женщины с распухшими ногами, ей никогда не догнать их. Можно шлепать по лужам в красных резиновых сапогах, кто не прыгает в море – тот трус! За грязную куртку и штаны заругают, но наказание будет потом. А если же дождь разойдется, то можно пережить в подъезде непогоду с друзьями, которых тоже под честное слово выпустили из дома. Сядут на ступеньки в ржавых пятнах старой краски и будут шепотом рассказывать страшилки про черный город, гроб на колесиках, Пиковую даму и гнома-матерщинника. Девочки постарше обязательно схватят

¹ Дедушка.

² Не сожалею.

в самый волнительный момент кого-нибудь за ногу. Крик, смех поднимется такой, что недовольные жильцы выгонят всех на улицу. Только бы бабушкам не нажаловались!

В основном дети, как и Айгуль, в поселок приезжают на каникулы, многих родители отправляют на всё лето, год за годом. Вот и придумывают ребята себе развлечения, не всегда безопасные. Например, карбид, который мальчишки кидают в лужи и разбегаются, или поджечь тополиный пух. Но больше всего бабушки ругаются за бездомных котят, еда для них воруеться со стола и холодильника, как повезёт: от кусочков мяса и молока, до конфет и ягод, которые съедают сами спасатели, да и не едят кошки сладкое. Но коробки-домики выкидываются, миски с водой переворачиваются, а животные куда-то пропадают. В этой борьбе у детей нет союзников. Бабушки кричат на весь двор одно и то же: «Глисты и лишай, да мало ли чем они болеют, а ты всё из дома еще тащишь! Расскажу твоим родителям, пусть сами воспитывают».

Пока же картатай ворчит, а нэнэй медленно помешивает манную кашу:

– Когда им еще спать, как не в детстве?

– Неженек воспитываете и лентяев. Поднимай их, на картошку сегодня поедем.

Айгуль горестно вздыхает. «На картошку» – это огромное поле, простирающееся до горизонта, с вонючими жуками и личинками. Нэнэй наливает на дно консервных банок керосин, насекомые, попавшие туда первыми, складывают лапки и подымают, другие же – упрямая, но обреченная армия – цепляются, ползут вверх по трупам собратьев и по склону банки, пытаются расправить крылья. Девочке их не жалко, она скидывает палочкой насекомых обратно: «Уф, картошку всю пожрете», – говорит с интонацией нэнэй. Нужно собрать всех до вечера, иначе картатай будет ругаться, а потом еще и лук прополоть. Дядя Дамир как-то поехал с ними и шутил: «Ты почему их не ешь? Белок же, самый чистейший. Ты нанайку попроси, пусть пирожков нажарит из них». От воспоминаний Айгуль тошнит.

– Вставайте, солнышко уже проснулось. Блины готовы. Горячие, ух. Каша манная. Умывайтесь и за стол. Сегодня на поле поедем.

– Еще минуточку, – Айгуль пытается натянуть одеяло на голову, но нэнэй ловким и сильным движением скидывает его.

Блины. Толстые и тонкие. На молоке и кефире. С маслом и вареньем. Такие блины получаются только у нэнэй. Воздушные, будто паруса, в которых Айгуль прогрызает дырочки, а пироги! С изюмом и рисом, картошкой, мясом, яблоками, с золотистой корочкой и узорами по толстым бокам, ломящимся от начинки. Чтобы приготовить лакомство, нэнэй встает до солнца. Пока в огромной кастрюле бродят дрожжи, чистит, режет, варит, а потом взбивает, месит, подкидывает и стучит по белоснежному от муки полотну. Заплетает толстую косу себе и на тесте выкладывает такие же косички.

Айгуль любит просыпаться от густого запаха блинов или пирога, кажется, будто вся мебель, одежда и кожа пропитываются им, такой аромат нельзя смывать в горячей бане – жалко. Почему-то мама никогда не готовит ничего подобного. Огород. Через несколько часов работы на воздухе любой перекус становится долгожданным и по-особому

вкусным: соленое сало с хлебом, вареная колбаса и яйца, зеленый лук. «Ничёк эшлясьн, шулай ашарсын¹», – говорит нэнэй, вгрызаясь зубами в огурец.

Сад Айгуль любит больше, там растут смородина, клубника, фруктовые деревья и овощи, а картатай на зависть соседям выращивает маленькие дыни, арбузики и абрикосы. Туда они ездят поливать, париться в бане, в домике стоят кровать, газовая плитка, там можно спрятаться от солнца, это ни огромное картофельное поле, будто с километровыми грядками лука и моркови по краям. Нэнэй в саду выращивает цветы, пока поливает, ласково гладит белоснежные и бордовые пушистые пионы – запах лета – зарыться бы в них с головой, будто шмель или пчела собирать густой нектар. Но нужно таскать воду в огромных ведрах, царапающих ноги, или бороться с колючими сорняками, которые оставляют несмываемые ядовито-желтые следы. Баню Айгуль не любит, после горячего дня приятнее прыгнуть в бочку с прохладной водой.

А если нэнэй сварит на плитке зеленый суп из крапивы, то ехать домой, несмотря на тошноту от усталости, уже и не хочется. Тут же забывается жара, ноющая спина, обгоревшие плечи, черные от грязи пятки, которые станут белыми только к осени. Лечь бы в тени яблонь и терна, чтобы вечер никогда не заканчивался. После бани нэнэй, с распущенными черными волосами до пояса, перебегает легкой поступью через лужи воды, смеется и делает вид, что ругается: «Ох, Айгуль, какие реки ты разлила, не сэкономишь воду!»

Девочка завидует ее волосам, тому, как нэнэй легко управляется на кухне и даже непонятному тянущемуся: «Алла бирса²». «Вот почему я на мальчика похожа? Вот почему?!» – думает Айгуль, разглядывая короткие рыжевато-пшеничные волосы, смотрит в обрубок садового зеркала и шипит голосом матери: «Вот вырастешь, делай что хочешь, а сейчас по моим правилам живешь». Показывает язык. До школы еще два летних месяца, может, и коса отрастет за это время. Как у нэнэй. А мама посмотрит и передумает стричь, обнимет и скажет: «Какая ты у меня красивая, дочка».

Артурка. В то лето дядя Дамир привез его из столицы на летние каникулы и сказал: «Знакомься, это твой двоюродный брат». А какой он брат, если его Айгуль никогда и не видела до этого? Артурка старше на год, ходит в школу, поэтому считает себя взрослым и задирается: «Я когда вырасту, мне папа машину купит. А у вас есть машина?» Автомобиля в семье Айгуль никогда не было, в огород ходили пешком, а в поселок к нэнэй и картатай добирались с мамой на автобусе около получаса. Потом мама оставляла ее и уезжала обратно в город. А брат-то из столицы и хвалится: и цирк у них есть, и парки аттракционов, и зоопарк, а в зоопарке – верблюды, лисы, медведи и даже волк, который бегаёт кругами по маленькой клетке.

– Я, – говорит, – ни на капелку не испугался, а у него зубы, знаешь, какие! – и руками в стороны разводит.

– Врешь ты всё! Не бывает таких зубов, да и любой испугается волка и убежит, – возмущается Айгуль.

– А ты волка вживую видела?

¹ Как поработаешь, так и поешь (*татарская пословица*)

² Если даст Аллах.

– Нет, – волков девочка видела только в детской энциклопедии, там было написано, что это прадедушка собаки и живут волки семьями, как и люди.

– Вот не видела и не говори. Я самый смелый в классе, а ты – девочка и малявка, – Артурка задирает голову. Разговор закончен.

– Уже подружились? – спрашивает дядя Дамир. – Играйте, играйте.

Дядя Дамир месяц бывает в поселке, месяц на севере. У него дубленка с отрубленными лапками песка, которые пугают Айгуль. Когда вечером дядя уходит гулять, он сильно брызгается одеколоном, говорит, что такой аромат тётям нравится, а вот девочку тошнит от запаха, который еще долго витает по всей квартире. Дома дядя ночует редко. Когда он возвращается, нэнэй говорит ему: «Арыдым синнян¹, Дамир. Никакого уважения». Он что-то бормочет в ответ, но из-за закрытых дверей спальни девочка не может разобрать.

Картатай радуется приезду внука. Он пододвигает ближе к Артурке тарелку с вареной говядиной и картошкой, расспрашивает про школу и смеётся. А потом Айгуль моет посуду, а все смотрят телевизор в зале. Показывают комедию, это девочка понимает по хохоту. Ей кажется, что смеются над ней. Слезы падают в тазик с мыльным раствором. Нэнэй просила, чтобы Артурка помог с посудой, но дядя Дамир сказал: «Он – мужчина, непригоже ему женскую работу делать. Доставай лучше рюмки, отметим с отцом событие».

Картатай пил редко, после двух рюмок его и без того суровое лицо наполнялось злобой. Айгуль пряталась на балконе, где летом можно было переждать грозу, а вот зимой далеко не убежишь. В тот вечер удар кулаком по столу застал за ужином, картатай вернулся из гостей навеселе:

– Ты такая же сволочь, как и твой папашка. Что глаза опустила? Полы иди мой, неряха! Не реви мне тут, инан батагэ²!

Айгуль – дочь от нелюбимого русского зятя, который еще и пьет, но с мамой они уже несколько лет живут вдвоем, а папа заваливается иногда в стельку и угрожает, или же дарит кукол. Мама кричит ему: «Лучше бы денег принес, скотина, обуви у ребенка нет!» Тот мычит что-то.

Папа ненавидит чувашей, татар и башкир. Картатай ненавидит чувашей, башкир и русских. О чем они высказываются вслух, не стесняясь в выражениях. Но почему картатай не любит её, Айгуль не понимает, ведь она тоже ненавидит папу, но скучает по нему. От обиды слёзы текут сами по себе, как девочка не пытается их сдержать.

– Авызный яб, хайван³, – кричит нэнэй. – Алладан курык⁴, и Рамадан⁵ собрался держать. Какой ты мусульманин, – говорит с горечью, – если ты дитя малое обижаешь?! В чём она виновата?

Когда нэнэй злится или волнуется, то всегда переходит на татарский язык, может, делает это специально, чтобы дети не понимали. Но картатай от ее слов съеживается и будто уменьшается в размерах, молча допивает рюмку и уходит, пошатываясь, спать.

¹ Устала от тебя.

² Татарский мат.

³ Закрой рот, скотина.

⁴ Побойся Аллаха.

⁵ Рамадан – месяц обязательного для мусульман поста.

– Это злой алкоголь в нём говорит, кызым¹. Не слушай его. Тыныч йокы²! Хочешь, я тебе сказку расскажу? Ты же любишь сказки?

Айгуль кивает головой и вытирает слезы.

– Тогда умывайся и ложись. Сегодня на балконе постелю, жара стоит такая, а там хотя бы ветерок дует.

Спать на балконе летом – это блаженство. А можно не спать и смотреть на черное небо, где живёт Луна и звёзды. Нэнэй стелет толстый матрас и накрывает Айгуль теплым одеялом, чтобы злые комары не кусались, которых в посёлке, стоящем на болоте, полчища. Где-то вдалеке слышно, как гудит поезд и переругиваются лягушки.

– Давным-давно в одной деревне, – начинает свой рассказ нэнэй, – жили бабушка с дедушкой. Было у них трое детей, да выросли и уехали в город учиться и работать, приезжали редко и начали забывать родной язык. Смирился с этим картатай. Но одного простить не мог – старшая дочь не послушалась и вышла замуж за человека другой национальности. Как его ни уговаривала нэнэй простить дочь, тот ни в какую. «Не бывать ей и ее детям в нашем доме». Смирилась нэнэй, да и с мужем спорить нельзя. Прошел год, у старшей дочери родилась девочка, прислала она родителям письмо с приглашением. «Не поедем», – заупрямился картатай. Не выдержало сердце матери. «Ты как хочешь, а я хочу детей повидать!» Накормила скотину, наготовила еды для картатая, собрала гостинцы и двинула в путь. Заехала сначала к младшему сыну, тот учился в университете на инженера. Тот ее встретил со словами: «Эни³, ты зачем приехала? Нет у меня времени, учиться надо, да и постелить тебе негде». Ничего не сказала нэнэй, оставила куштанац и отправилась к среднему сыну. Тот тоже не обрадовался ее внезапному приезду: «Эни, мне нужно на работу бежать, у меня дела, езжай к сестре, она всё равно дома с ребенком сидит». И тут ничего нэнэй не сказала, отдала деревенские гостинцы и поехала к старшей дочери. Та встретила ее с маленькой девочкой на руках, которая громко голосила, будто стая собак на луну. Обнялись женщины, поплакали, ведь давно не видели друг друга. А внучка схватила бабушку за косу пальчиками, не отпускает, крепко держит. Посмеялись: «Наша порода – упрямая».

– Что же ты не написала? – спросила дочь. – Мне тебя и угощать нечем. Денег дома нет, муж на заработки уехал. Только дочку кормлю, а сама почти на сухом пайке сижу. Подожди, сейчас к соседке сбегаю, займу у нее немного денег и приготовлю ужин.

– Не переживай, кызым, не голодная, я сначала к братьям твоим заехала, радушно встретили, да и я не с пустыми руками к тебе. Вот казылы́к⁴, эремсёк⁵, соленья и курочка, сварим бульон, лапшу нарежем – вот и праздник нам. Только думаю, оставаться мне здесь или в деревню ехать?

– Мама, куда ты поедешь? Живи, сколько хочешь, мы столько не виделись! Я тебе на кровати постелю, сама на диван лягу с малюткой. Как папа? Всё злится?

– Ты же знаешь, упрямец он. Время ему нужно, чтобы остыть.

⁶ Дочка.

⁷ Спокойной ночи.

¹ Мама.

² Колбаса из конины.

³ Красный творог.

Так за долгим разговором провели они вечер и легли спать. Но не может сомкнуть глаз нэнэй, ворочается. Разбредилось сердце, обидно стало, что сыновья так с ней поступили. Всегда правде их учила, уважению старших и традиций, а уехали в город и всё забыли. Но что поделаешь, как яблоню растишь, такие плоды потом и съешь. Решила она любым способом помирить картатая с дочерью. Погостила несколько дней в городе и поехала обратно. Скотину-то надолго не оставишь. Встретил картатай ее хмуро, вопросов не задает, а нэнэй улыбается и молчит. Не выдержал, спрашивает:

– К сыновьям ездила?

– Ездила, – говорю. – Плохие деревья мы вырастили – без корней. А вот дочь хорошо встретила. Привет тебе передавала. А внучка-то, знаешь, на кого похожа? Да тебе не интересно, пойду грядки полью.

Наступил вечер, картатай ходит из угла в угол, видно, что мучает его что-то. Нэнэй молчит и вопросов не задает. Легли спать. Тут уже сон начал приходить.

– Так на кого похожа-то? – среди ночи раздается. – Не мучай меня. Если на зятя нашего, то пусть не приезжают никогда.

– На тебя похожа, – рассмеялась нэнэй. – Такая же упрямая порода.

Так и помирилась семья.

Нэнэй заканчивает рассказ и поправляет одеяло, произносит чуть слышно, чтобы не разбудить Айгуль, которая уже давно спит: «Наша порода. Эх, кызым, если бы всё было так, как в сказке. Видимо, не простил до конца. Алла бирса¹, вырасти счастливой за нас всех».

– А что такое поле? – спрашивает Артурка за завтраком. Он еще ни разу там не был.

– Поле – это двенадцать соток земли, там растет картошка, морковь и лук, чтобы зимой было что кушать, – объясняет нэнэй. – Ты же уже сильный мальчик? Поможешь нам?

Артурку раздувает как индюка: «Конечно, я же еще на каратэ хожу».

– Вот и молодец, малай², – улыбается нэнэй, – большой помощник в семье – гордость для любой мамы, – смотрит на дядю, но тот отворачивается в сторону. Спрашивает: – А у тебя какие планы на сегодня? Картошку надо окучивать, мы с картатаем не справимся в одиночку, да и ноги в последнее время у меня побаливают, думала лук прополоть, там хоть сидя можно.

– Дела у меня, – огрызается дядя. Допивает чай и уходит.

«Придет, как всегда, к ужину, – злится Айгуль. – Даже чашку со стола никогда не уберет. Хайван³». В незнакомое слово девочка вкладывает всю свою обиду.

На поле едут на старом «запорожце», доживающем свой век. Так говорит нэнэй, а Айгуль думает, как же обидно умереть в маленьком поселке, где из развлечений – мечеть, куда ее не берут, но молитву слышно даже в квартире, будто в громкоговоритель; и рынок, где всегда шумно и пахнет специями, молоком и жареными пирожками, бабушки продают зелень и ягоду. Свинину нэнэй никогда не покупает, а вот мама редко, но готовит из нее вкусное рагу, а из ножек – дрожащий холодец. Об этом думает Айгуль, пока они трясутся по пыльной дороге, дождя

¹ Если даст Аллах.

² Мальчик, сын.

³ Животное, скотина.

не видно, значит, опять вонючие жуки и обжигающее плечи и затылок солнце. Артурке же всё интересно, он сидит на переднем сидении и задает вопросы: «А это что? А там?»

Дядя Дамир развелся со своей женой, в поселке он был давно. Айгуль смутно помнила его, когда они приезжали, тогда еще всей семьей, на юбилей картатай. Может, она бы и стерла тот день и Артурку, но они подрались из-за плюшевого мишки. Айгуль ударила его головой об стол, одержала победу, но родственники посчитали, что ее награда – стоять в углу и остаться без праздничного торта. Ее игрушку тоже подарили ему, чтобы он не ревел. Плакса. Как такое забудешь?

Солнце еще не прогрелось, а они уже приступают к работе. «Сколько ни собирай этих жуков, а они лезут и лезут», – думает Айгуль удрученно, куда ни глянь – бескрайнее поле картошки. Она выпрямляет спину, это тут же замечает картатай и говорит: «Кто не работает, тот не ест. Кто управится быстрее и соберет больше, тот пойдет вечером гулять. Проигравший – сидит дома».

Айгуль быстро складывает жуков в консервную банку, краем глаза наблюдает за противником. Тот не сдается – идёт по соседнему ряду. От жары и запаха керосина кружится голова. Движения становятся такими же сонными, как у пойманных насекомых.

– Перерыв, – говорит нэнэй. – Скоро и обед уже, потерпите.

Айгуль садится кучу выдеранных сорняков, лучи не успели их пригреть, и корни еще хранят прохладу земли. Тени здесь не найдешь, поэтому и называют его «полем». После перерыва, а затем и обеда, тянет в сон. Но проиграть – остаться без игр во дворе, и Айгуль вновь отправляется на сражение. К ним присоединяется нэнэй, ближе к вечеру делит свою добычу пополам, между двумя внуками. Значит, гулять на улицу идут оба. Хотя Айгуль хочется, чтобы Артурка остался дома и ревел.

После работы в поле нэнэй украдкой дает деньги на мороженое, чтобы картатай не видел – баловство же. «Балалар¹, держите, заработали», – шутит. И они несутся к киоску с мороженым. Шоколадное эскимо, на обертке которого скачет Салават Юлаев. Артурка рассказывает, что это национальный башкирский герой, огромный памятник которому стоит над Белой рекой. Выбор сложный: ванильное мороженое в вафельном стаканчике или фруктовый лёд – дыня, яблоко, апельсин.

– Ты что возьмешь? – спрашивает Артурка.

– Я в стаканчике возьму. Давай его? Тогда еще на «Буратино» останется, – отвечает Айгуль.

– Не, мне папа монетки оставил. Много. Плюс еще нэнэй добавила. Я три эскимо возьму, а ты бери, на что хватит. Одно сегодня съем, а другое – тоже сегодня, а может, завтра. А третье...

Он задумывается.

– А третье выкину, или, может, тебе отдать? Хотя, нет, не заслужила, – он смеется. – Хотя, что мне мороженое? Я на велосипед двухколесный коплю. Немного осталось. Если нэнэй будет давать помаленьку... Если не покупать мороженое. Слушай, а может, ты все деньги мне отдашь? Я куплю велосипед, а ты приедешь в гости, я тебя покатаю. Давай так и сделаем!

¹ Дети.

– Нет, я мороженое хочу, – отвечает Айгуль, чувствуя подвох.
– Давай тогда возьмем фруктовый лёд, а сдачу я пока у себя сохранию. Так надежнее, – не сдаётся Артурка.
– Купим три мороженого, – уверенно говорит Айгуль, – одно отдадим нэнэй. Ты добавишь, и как раз хватит. А папа тебе и так велосипед подарит.

– А бабушки мороженое не едят! – возмущается мальчик. – Зачем ей? Деньги же нам дали, мы заработали. Она, если захочет, ящик купит себе. С тобой не договоришься! Отдавай мою половину.

Айгуль покупает два мороженого в стаканчике, девочка точно знает, что нэнэй любит его, но почему-то никогда не покупает. Артурка же из вредности покупает три эскимо и тут же съедает. На следующий день падает с ангиной. Нэнэй поит его горячим барсучьим жиром и чаем с матрешкой¹. «Нечего было жадничать. Вот пусть теперь сидит дома. В лес за ягодами его не возьмем», – думает девочка и почему-то вспоминает, как она прошлой зимой везла свою маленькую нэнэй на санках, а та заливисто смеялась и сваливалась в сугроб, домой они пришли в снегу. Картатай ругал обеих.

У Айгуль есть и русская бабушка Таня. Но ее она видит редко, мама не отпускает в деревню одну, а сама туда не ездит. «Нечего там делать», – говорит. За семь лет виделись пару раз. Каждую встречу бабушка Таня подслеповато жмурится и спрашивает: «Это кто приехал?» Ей отвечают: «Айгулька – внучка твоя». Та радостно бросается обнимать, плачет. Быстро дети растут. В углу деревянного дома над столом стоят иконы. Бабушка объясняет: «Это красный угол. Здесь Христос с Богородицей и Святая Троица. Они хранят нас, дочка». Она смиренно наклоняется и крестится: «Спаси и сохрани, спаси и сохрани...»

Русская бабушка другая. Если нэнэй худая и с черной косой, быстро перемещающаяся в пространстве квартиры, то эта – вся кругленькая: живот, голова в белом платочке, ноги, она медленно катится от прялки к печке, и всё время говорит о Боге: «Он везде: в лесу, в речке, в молоке и воде, в хлебе и на небе. Следит за нашими делами и направляет».

– Бабушка, а Аллах тогда – это кто? – спрашивает Айгуль.

– Аллах, внученька, это бог мусульманов. Они его так называют. Имен у него много, и каждый видит его по-своему. Но Бог един. А теперь иди и поиграй с Черным. Я ужином пока займусь, скоро и мама твоя из гостей вернётся.

Живности у бабушки много: куры и петухи, корова с теленком, пёс Черный и кошка Мурка. Черный виляет хвостом, когда Айгуль выносит ему хлеб, облизывает руки и радостно прыгает, потом лезет целоваться. Язык у него шершавый и длинный.

– Всё, Чёрный, – смеется девочка, – пойдем гулять по деревне.

Пёс важно бежит впереди, разгоняет шипящих гусей и лает на проезжающие с диким рёвом мотоциклы. С ним не пропадешь. Спускаются к тоненькой речке, берега которой поросли дикой высокой травой. Всё цветет и пахнет. На дереве пчёлы свили гнездо, жужжат и возмущаются приходу незнакомцев. Чёрный тянет Айгуль за платье в сторону дома. Опасно! Возвращаться надо!

¹

По-татарски душица – мятрушкэ (читается как «мятрюшка»).

В доме роятся и перемешиваются между собой запахи молока, зеленого лука и еще чего-то очень вкусного. Бабушка открывает печку и достает чугунок.

– А вот и картошка подспела к твоему приходу. Садись за стол. Сейчас будем трапезничать.

От картошки валит густой ароматный пар. Ждать, пока остынет, у Айгуль не хватает терпения, от запаха кружится голова, закидывает одну ложку и обжигается.

– Клади сметанку-то. Быстрее остынет, – бабушка смешно тянет букву «о» и улыбается.

– Бабушка, а почему ты к нам в гости никогда не приезжаешь?

– Да куда я поеду, скотины видела сколько? Их ни на один день не оставишь. Лучше ты почаще приезжай и наподольше.

На следующий день Айгуль с мамой уезжают. Прощаясь, бабушка плачет и крестится: «Ох, помру скоро, больше не увидимся с внучкой». Айгуль бросается к ней и обнимает: «Ты жди, бабушка, я к тебе зимой приеду». Но ни в этот, ни на следующий год мама в деревню не отпустила, а отправила в поселок к своим родителям.

– За ягодами сегодня не едем, – заходя в комнату, говорит нэнэй. – Доброе утро, засони. Будем готовить кыстыбый¹. Мне ваша помощь понадобится. Артур, ты как себя чувствуешь?

– Ой, нэнэй, – потягиваясь, отвечает мальчик. – Как же всё болит. Можно я еще посплю?

– А ну-ка, давай температуру тебе померяем, а потом барсучий жир выпьешь.

– Мне уже лучше, – пугается хитрец. – Как я могу тебе помочь?

После завтрака нэнэй дает внукам задание почистить картошку и лук, а сама берется за тесто. Возле раковины не хватает места, и дети толкаются. Артурка исподтишка щипает сестрѐнку.

– Нэнэй, он меня обижает, – жалуется Айгуль.

– Быстро перестали баловаться, а кто будет жаловаться, пойдет полы мыть, – сурово говорит картатай. – Завтра, если погода позволит, за ягодами поедем.

Картошка варится на огне, потом нэнэй делает пюре. Тесто вздувается на раскаленной сковородке. Как только лепешка готова, нэнэй подхватывает ее и бросает на тарелку, на лепешку кладет пюре и складывает пополам. У Айгуль ответственное задание – нужно смазывать кыстыбый расплавленным золотистым маслом, пока лепешка не высохла. Артурка крутится рядом, но есть пока нельзя, только когда они сядут за стол, нальют свежесваренный чай со зверобоем и мятой, но перед этим на стол ставится душистый токмáч² с говядиной и зеленью. Бульон уже готов. Нэнэй учит Айгуль: «Вытаскиваем мясо, варим картофель крупными дольками, морковь режем колечками, лапшу я готовлю заранее. На дно тарелки кладем зелень, наливаем бульон с лапшой. А овощи с мясом подаем на одной тарелке, кому сколько надо, столько и возьмёт. Поняла?» Айгуль кивает головой. Девочки должны уметь готовить и убираться, иначе замуж никто не возьмет. От запаха кружится голова, нэнэй, будто волшебница, летает по кухне, ощущение, что у нее множество рук: одной помешивает бульон, другой режет

¹ Традиционное татарское блюдо из постного теста с начинкой.

² Суп с лапшой.

зелень, третьей переворачивает лепешки. Всё у нее получается быстро и вкусно, дома мама никогда так не готовит. Топленое масло стекает по губам и рукам, а мягкое пюре тает во рту. После такого обеда тянет в сон. Картатай не съел ни ложки, говорит, что держит священный пост. «Может, он такой злой, потому что голодный?» – думает Айгуль.

Утром выглядывает солнце. Айгуль и Артурка надевают резиновые сапожки и курточки. Садятся в «запорожец», пока доедут, земля уже просохнет. День будет жаркий. Картатай раздает каждому по корзинке. «Ягоды нужно собирать аккуратно и без веточек. В рот не клади – не есть пришли. Что ворон ловишь? Бабочек никогда не видела? Уф алла каём¹!» – каждую минуту раздается в сторону Айгуль, Артурку же картатай наоборот хвалит: «Какой молодец растет! Вот с кого нужно пример брать и не лениться». Девочке обидно. «Нужно собрать больше, чем он», – решает Айгуль. Но как удержаться? Маленькие ягодки так и просятся сами в рот, кисло-сладкие, пахнущие лесом и полем. Пока картатай не видит, нэнэй берет большую горсть из своего ведра и перекладывает в корзинку Айгуль: «Много не ешь, животик заболит».

Дома выкладывают на пол газеты, а на них – ягоды, теперь нужно перебрать от жучков и травинок, а потом нэнэй сделает пастилу и варенье. Паучки пытаются сбежать под диван, но Айгуль выслеживает их, потом аккуратно стряхивает с балкона на четвертом этаже. Убивать их нельзя – дождь пойдет. А дождя не хочется, опять дома сидеть с Артуркой, а на улице такое солнышко! Горячий июль так и манит пробежаться по пыльным улицам, залезть в кусты сирени, построить штабик, подальше от вечно недовольных бабушек, сидящих на скамейке. Айгулька как-то спросила у нэнэй, почему та никогда не болтает во дворе с подружками:

– Я бы на твоём месте гуляла бы и гуляла на улице. Тебе же не нужно отпрашиваться.

– Уф, балакаём², что мне делать с этими лентяйками, у меня ужин не готов, полы помыть, варенье поставить. Дел полно, а у них одна забота – косточки перемыть соседкам. Ты с ними много не болтай. А никак в прошлый раз, помнишь?

– Ну, нэнэй, это же уже давно было.

– Давно, ага, прошлым летом. Они еще полгода сплетничали. Не болтай лишнего, я прошу тебя, кызым³!

Айгуль вспоминает, как встретила бабушку во дворе, поздоровалась и собиралась бежать дальше за мячиком, но та предложила присесть на скамейку «поговорить со старшими, уважить». Нэнэй тогда впервые кричала на Айгуль:

– Нельзя, понимаешь, нельзя каждому встречному рассказывать о жизни. Ты зачем сказала, что родители в разводе, потому что папа пьет?

– Так они же в разводе.

– А про картатая, что он сторожем подрабатывает?! Какая им разница? Молодец, услужила. Кому от этого хорошо? Злым языкам только!

Айгуль не понимала, разве честность – это плохо? Сами же учат, что врать нехорошо и нужно правду всегда говорить.

¹ О боже, ну ты даешь!

² Малыш, дитя моё.

³ Дочка, девочка.

– Я тебе запрещаю с ними общаться. Поздоровалась и дальше пошла. А если вопросы начнут задавать, отвечай: «Мне нэнэй запрещает с чужими разговаривать». Всё, не реви, держи пастилу.

Яблочная, смородиновая, облепиховая. Густая и тягучая, застревающая в зубах. Пастила. Пока сушится на солнце, так и хочется оторвать кусочек, откусить, убежать с ним в темный уголок, пока никто не видит, нюхать, вдыхать аромат, облизывать, а потом долго жевать кислый кусочек солнца.

На следующий день после завтрака нэнэй и картатай собираются в огород морить жуков. Детей не берут. Мама рассказывала Айгуль, что у картатай папа умер, когда надышался отравы, а так бы жил до ста лет. Нэнэй успокаивает ревущую от страха девочку: «Ничего с нами не случится, посидите дома одни, не шалите».

Сначала играют в домино, но быстро надоедает, находят старые фотографии.

– Смотри, это ты, – говорит Артурка, – тыкая пальцем на девочку в шортиках, – а это тогда кто?

– Это картатай и моя мама. Когда-то он был молодой и красивый и, наверное, мало ругался. А это, наверное, твой папа! – Айгуль переворачивает фотографию и читает надпись, – да, дядя Дамир. Ты его часто видишь?

– Нет, мама не очень любит, когда он приезжает.

– Я тоже своего редко вижу, а если приходит, то пьяный. Взрослые говорят, что алкоголь разрушает семьи, а сами пьют. Вырастишь, поймешь. А может, я уже выросла! – возмущается Айгуль.

– Давай мяч пинать, – предлагает Артурка, – в футбол тут, конечно, не поиграешь. А на улицу нам нельзя.

– Нэнэй, если узнает, ругаться будет, – сопротивляется Айгуль, но недолго, – они и не узнают, если мы не скажем. Тащи!

Мяч пахнет резиной, Айгуль подбрасывает его. Тяжелый.

– Смотри, правила такие: один стоит на воротах – вот это кресло, а другой пинает. Я начну, если поймаешь, твоя очередь, – объясняет мальчик. – Но ты же девчонка и малявка... – злорадно шипит он.

Айгуль злится, что он опять над ней смеется, злится на себя, что согласилась с ним играть, но отступать некуда: позади – кресло, впереди – Артурка. Он легко разбегается, девочка падает на палас. Ура! Мяч у нее.

– Теперь ты вставай на ворота. Посмотришь, как мастер будет играть, – говорит девочка.

Артурка недоволен, но что делать, сам правила придумывал. Айгуль кладет мяч на пол, думает, как ударить, чтобы он не поймал, чтобы проиграл, чтобы перестал смеяться, чтобы плакал. Она бьет, а мяч устремляется вверх и летит в стену, на которой висят часы – подарок нэнэй на юбилей от Айгуль и мамы. Они были единственные в магазине, когда девочка увидела их, то уже не могла отойти и завороченно смотрела на резные фигурки, будто парящих над циферблатом, золотистых коней, копытами дрежащих планету. Столкновение неизбежно. Они закрывают глаза.

– Если найдем клей, то никто ничего не заметит, – неуверенно успокаивает Артурка.

– Кккоооонииии, – задыхается Айгуль. – Они отвалились.

– Они же пластиковые, конечно, как иначе. Ты с такой силой пнула, я испугался, что мне в голову попадешь, – Артурка нервно смеется. Глядя на него, начинает смеется и девочка. – Может, тебе в футбол пойти, удар-то сильный, – продолжает он.

Они падают на палас и не могут остановиться – смех переходит в рыдания, приступы икоты, слезы и опять смех. «Будь, что будет», – решает Айгуль. Они возвращают часы на место, ставят сверху коней и договариваются ничего не говорить нэнэй и картатай.

– Смотри-ка, часы остановились, – говорит картатай на следующий вечер, когда все домочадцы сидят за телевизором.

Сердце Айгуль замирает: «Сейчас всё раскроется. Картатай будет ругаться, вновь вспомнит папу и вообще выгонит из дому». Картатай надевает очки и идет на кухню за стулом. Айгуль и Артур смотрят друг на друга исподлобья, будто незнакомцы.

– Так, а это что такое? – спрашивает картатай, в его руках – отломленные фигурки коней. – Это что такое, я спрашиваю?!

Айгуль и Артурка молчат.

– Сюда! Оба! – ревет пожилой мужчина. – Мы для вас стараемся, а вы, как чучка¹, гадите, где живёте. Кто разбил часы?

Айгуль и Артурка молчат.

– Если виновный не признается, накажу обоих. Будете дома сидеть, пока родители за вами не приедут.

– Это я.

– Ты?

– Я это сделал, – выдает на одном дыхании Артур, – мячом нечаянно попал. Айгуль меня отговаривала играть, а я не послушался.

Айгуль смотрит на брата, она хочет признаться, но тот смотрит на нее в упор и повторяет: «Я это сделал».

– Хорошо, что сказал, – говорит картатай. – Нужно уметь брать ответственность. Это мужской поступок. Но без наказания я это не оставлю. Будешь женщинам по дому помогать.

Перед сном нэнэй вычесывает длинные черные волосы деревянным гребешком, они похожи на волны вспаханной земли, на которой она выросла, чью силу впитала.

– Нэнэй, это я часы разбила, – шепотом говорит Айгуль. – Артур сказал, что он, я его не просила.

– Я знаю, кызым². У тебя же всё на лице было написано, – нэнэй гладит по голове Айгуль, немного помолчав, продолжает: – На то они и братья, чтобы в сложную минуту прийти на помощь. А часы... Не переживай, это всего лишь часы, их в жизни каждого много бывает. А вот любовь заслужить надо. Это самая тяжелая битва. А теперь спи. Тыныч йокы³. Пойду посмотрю, как там Артур.

– Нэнэй, ты меня прощаешь? – Айгуль хватается за руку. – Извини, пожалуйста, я не хотела, правда-правда. Я, когда вырасту, заработаю много денег и куплю тебе самые лучшие часы в мире! И мороженое! И всё, что захочешь!

¹ Свинья.

² Дочка.

³ Спокойной ночи.

– Я не злюсь, балакаём¹. Обещай, что вы дома больше не будете играть, – нэнэй улыбается. – Вырастишь и купишь, а я ждать буду. Закрывай глазки, кызым.

Тихо, почти шёпотом, она затягивает песню. Её голос стирает все страхи, рисует образы полей, лесные ягоды, вот нэнэй перебегает ручейки воды в саду, парит березовыми вениками Айгуль в бане, мыло щиплет глаза, нэнэй залиvistо смеётся:

Элли-бэлли, йом күзеңне, балам,
Йокыңда чэчэкле дала.
Элли-бэлли, балам йоклап ятыр,
Таң нуры сине уятыр.
Йокла, балам, йокла²...

Айгуль не понимает слов, они прорастают вглубь неё лесными травами и пионами. Они лежат вдвоем на кровати. Крест окна дрожит от ветра, а по стенам, рыжим от заката, разбегаются фантастические кони. Нэнэй учит Айгуль:

– Повторяй. Я тебя люблю – мин сине яратам.
– Я тебя люблю, нэнэй.

¹ Малыш, дитя мое.

² Баюшки-баю, глазки закрывай, дитя мое,
Во сне твоём – цветущая степь.
Баюшки-баю, дитя мое будет спать,
Лучи рассвета утром тебя разбудят.
Спи – усни, мое дитя...

Павел ЧХАРТИШВИЛИ

Родился в 1948 году в Москве. Окончил исторический факультет Московского государственного университета. Работал механиком-прибористом, техником-конструктором, статистиком, учителем истории. Более 40 лет трудился в Госархиве РФ. Почётный работник Госархива РФ.

Неоднократно публиковался в российских журналах. Лауреат премии литературного журнала «Байкал» (2019). Живет в Москве.

ДОБРОГО ДОГА ЗВАЛИ ЧУК

Родители Музы Ребриковой работали на московском заводе: мама в отделе кадров, папа механиком. Папа был старше мамы. Знал каждый винтик конвейера и любого станка. Когда что-то ломалось, ему звонили, даже ночью, и присылали за ним машину. Семья состояла из Музы, её родителей и родителей её мамы. Жили все пятеро в девятиметровой комнате. Кроме них в квартире проживали ещё две семьи.

Музу крестили. Это стало известно в заводском комитете ВЛКСМ. Ребриковой-маме вынесли выговор с занесением в учётную карточку.

1 сентября 1957 года выпало на воскресенье. На следующее утро Муза отправилась первый раз в первый класс с мамой и тяжёлым букетом гладиолусов.

Училась Ребрикова-младшая старательно, из года в год являясь старостой. После уроков занималась с двоечниками. Её слушались даже хулиганы. Сосед по парте Валера как-то ей сказал:

– Ты красивая.

Девочка не ответила.

Семья получила от завода отдельную трёхкомнатную квартиру.

В восьмом классе на экзамене по геометрии к Музе подошла математичка, шепнула:

– Закончишь – помоги Валере.

В аттестате зрелости Ребриковой троек не оказалось, пятёрок было больше, чем четвёрок. Муза поступила в Московский полиграфический институт. Когда девушки в группе обсуждали одногруппников, она отмалчивалась. Один из них, Иванченко, пытался сблизиться с Ребриковой. Как-то он в вагоне метро, под шум в сотню децибел, поделился с Музой мыслями:

– В религии (даже когда она называет себя наукой) всё основано на вере, на священных постулатах, сомневаться в которых запрещено.

А подлинная наука требует не веры, а знания, критики, проверки всех, даже самых авторитетных утверждений путём анализа, исследований, измерений.

Услышал ответ девушки:

– Самые умные люди могут ошибиться. Бог – никогда.

Не заинтересовал Иванченко Ребрикову.

Крещёную комсомолку избрали в институтский народный контроль. Она явилась в столовую снять пробы. Дошла очередь до киселя. Девушка заявила:

– Что-то не сладкий. Надо подбавить сахару.

Недовольная повариха буркнула:

– Придётся из своего сахара добавить.

Вынесла из подсобки большую глубокую тарелку, доверху наполненную песком, высыпала в котёл с киселём.

Умерли дедушка и бабушка Музы.

Защитив дипломный проект, девушка стала инженером-технологом полиграфии. Была распределена в типографию и с увлечением принялась за подготовку к печати текстовой и графической информации, изготовление печатных форм, контроль качества. Распределяла процессы между работниками. Её старания не остались незамеченными начальством.

А ровесницы тем временем выходили замуж и рожали. Музе не то чтобы совсем не хотелось этого; ей хотелось, чтобы ей этого хотелось. Но парни и мужчины её не интересовали, были совершенно ей не нужны. Так что немного видела Ребрикова счастья.

Знакомый дал ей почитать самиздат: стихи Медеи Асавиной. Одно стихотворение захватило Музу.

МОЛИТВА

Кто придёт на свою же тризну,
Тот на ней
Посмеётся над жалкой жизнью
Над своей.

Постучится с мольбою: «Боже!
Отвори!
Все печали, какие можешь,
Сотвори,

Ниспошли мне, приму без звука,
Всё ничто.
Но за что мне *такая* мука,
Ну за что?

Я пирую, никем не признан,
Я пою.
Не на чью-то пришёл я тризну,
На свою.

Я молю Тебя, жду ответа.
Где ответ?
Мне неизвестно: всё отпето
Или нет,

Или завтра, дорогой пыльной
И прямой
Я уйду, молодой и сильный,
И хмельной».

Поэтесса выразила всю тоску девушки.

Муза думала: может быть, я не здорова? Внутри её, в глубине души зрело восстание. И девушка решилась. Явилась к участковому терапевту, высидела очередь и сказала:

– Пожалуйста, ничего не записывайте. Я пришла не за больничным. Меня удивляет отсутствие полового влечения.

– Лечения?

– Влечения.

– Больше ничто не мучит?

– Мне этого хватает.

– А как настроение?

– Скверное.

Врач помолчала. Спросила:

– Вы видели в музее скульптуры обнажённых мужчин?

– Конечно.

– Как вы на них реагировали?

– Равнодушно.

– А на аналогичные женские?

– Так же.

Терапевт задумалась.

– Неспособность любить вас огорчает?

– Убивает.

– А вас не беспокоит, что вы не можете прыгнуть в высоту на два метра?

– По-моему, это несоизмеримо по важности для человека: прыжки в высоту – и ...

– Несоизмеримо по важности для человека... – повторила врач.

Помолчала. Продолжила:

– Животный инстинкт, быть его рабой – зачем вам?

– Ну, рабой – не знаю. Но я хотела бы иметь нормальные человеческие инстинкты.

Терапевт ещё подумала.

– Возможно, вы правы, – сказала она. – Случай сам по себе нередкий, но ваша откровенность...

– Станешь откровенной... Жизнь проходит мимо, а я в стороне.

– Вам нехорошие мысли не приходили?

– Нет.

Приходили. Но если бы Ребрикова создалась, её бы связали. Она сказала:

– Я считаю, что это ненормально, что это болезнь. А если это болезнь, почему не попытаться её вылечить?

– Да, это аберрация, отклонение от нормы. Но это не болезнь. Это изъян. Вам следует проконсультироваться у психиатра. Мне кажется, здесь есть что лечить. Психиатр выпишет препараты, повышающие настроение.

– Настроение-то – следствие.

– А мы начнём со следствия. Глядишь, и удастся разогреть ваше сердце. А нет – что ж. В жизни человека самодостаточного есть свои

плюсы. Будете жить другими интересами. Я вам больше скажу: возможно, взрослые люди, не испытывающие физической потребности в партнёре, – это счастливицы, у них одной заботой меньше, а про расходы я и не говорю.

Муза не нуждалась в искусственном, таблеточном хорошем настроении и ушла.

Не стало папы и мамы.

Ребрикова полностью отдалась работе, которая оказалась лучшим лекарством. Доросла до должности директрисы. Типография обслуживала объединения разных профилей, выполняла цветные рекламные работы на уровне импортных. Муза пользовалась авторитетом, не подводи́ла многочисленных заказчиков.

Однажды ей приснился кошмар: она – девушка, учительница биологии, ей предстоит давать старшеклассникам урок о половом размножении человека, под ржание созревших юных самцов. Проснувшись и вздохнула с облегчением.

Грянула «перестройка». Ожили не пришедшиеся когда-то к брежневско-сусловскому двору косыгинские идеи рентабельности, прибыли, хозрасчёта. В стране впервые после ленинского НЭПа была легализована частная собственность. Начали оформляться ООО. Заказы банков и фирм приносили типографии Ребриковой немалый доход. Из директрисы типографии Муза превратилась в её владелицу, в бизнесвумен. Годы, для многих «лихие», были для неё благополучными, женщина избавилась от работы по дому.

Занималась благотворительностью: художники и музыканты часто были не в состоянии самостоятельно оплачивать выпуск буклетов о своём творчестве.

В России возродилось православие. Многие хотели помочь Церкви, и Ребрикова решила участвовать в этом. Церковь не могла оплачивать красивые печатные работы по истории храмов и монастырей. Муза начала заказывать в ведущих библиотеках из запасников редкие издания и литографии, которые ранее можно было видеть только на выставках, под стеклом. Цветные, высокого «подарочного» качества фото икон, убранства монастырей, трудов старцев для больших религиозных праздников она изготавливала бесплатно и ощущала признательность высших чинов Церкви, а также простых людей. Людская благодарность предпринимательницу радовала.

По вечерам она читала. Прочитала в Новом Завете, в послании святого апостола Павла к Ефесе́янам: «Господь вознаградит каждое доброе дело».

Хорошее полиграфическое оборудование Муза закупала за границей. Доллар рос, и оснастка дорожала. В результате подскочили в цене полиграфические услуги. Появились цифровые машины, новые технологии, менее качественные, но дешёвые. Фирменное качество стало убыточным. Частных типографий стало много, число заказов сократилось, конкуренция мешала повышать цены. Оказалась не по силам аренда помещений типографии. В один не прекрасный день пятидесятидвухлетняя Ребрикова её закрыла.

Пришлось снова самой ездить на рынок. Выискивала там подешевле маргарин «Рама», «ножки Буша», бульонные кубики «Кнопт – вкусен и скор!».

В некоторых (немногих) литературных журналах платят гонорары. Муза созрела для сочинительства, у неё уже накопилось, что сказать

людям. Написался рассказ «Жизнь без печали», послала в «Новый Рим». Ей тут же приснилось, что напечатали; пробуждение принесло разочарование. Но сон оказался вещим! Ей прислали экземпляр журнала и небольшие денежки. Вскоре получился второй рассказ: «Чувство иронии и первый снег». Отправила во «Флаг» – снова пришла скромная сумма. Дело пошло.

В 2005 году Ребрикова начала получать пенсию, правда, нищенскую, но через четыре года пенсии повысили.

Телевизор Муза не смотрела: достала реклама. Спасение от одиночества по-прежнему находила в чтении. Сочиняла. Бродила по дорожкам между корпусами.

Был ранний вечер. Душу пенсионерки наполняло последнее воскресенье лета. Ветерок был уже осенний. К ней пристроился, спросив разрешение, пожилой мужчина с немецким догом. Представился: Арон Левкович. Он оказался разговорчив. Сообщил между прочим, что младенцем был обрезан, позднее крещён; у Ребриковой мелькнула мысль: как Иисус! Арон известил, что позавчера отпраздновал семьдесят первый день рождения. Беседовали. Муза поведала, что недавно на экране монитора возникла надпись: «Срок лицензии Windows истекает. Необходимо активировать Windows в параметрах компьютера». Пришлось пригласить мастера. Тот всё сделал за пятнадцать минут и без малейшего стыда взял с пенсионерки треть пенсии.

Стали гулять вместе. Доброго дога звали Чук.

Новый знакомый рассказал свою жизнь. Он в юности увлекался политикой. Но в СССР при Брежневе не было различных, самостоятельных партий и их газет. Прикоснуться к политике можно было поступив на истфак. История вообще распадается на политическую, экономическую, военную, историю культуры и искусства и т. д. Левкович поступил в педагогический и выбирал для докладов, курсовых и диплома темы, связанные с политикой, ему было интересно, он получал пятёрки, можно сказать, отвёл душу. После вуза существовали три пути: наука, преподавание и архив. Стать аспирантом у Арона не было шансов (не та национальность). Заведующая районо заглянула в паспорт молодого специалиста и отправила комсомольца восвояси. А в Государственном архиве парня охотно взяли, поначалу на 80 рублей. Левкович десятилетиями добросовестно исполнял там нужную, но скучную тягомотину, не связанную даже с историей, что там говорить о политике. Тем временем политика в стране забурилась. Но Арон был уже немолод и не рискнул сорваться с насиженного места в тихом архиве. В конце концов ушёл оттуда на заслуженный отдых, с должности главного специалиста. Наступило безделье, такое же удручающее, как бывшая работа. Но любителем политики он остался. Сказал Музе:

– Старого социализма народ не хочет, помнит дефицит. Хочет, чтоб не было «буржуев» и чтоб была колбаса. При этом многие не понимают, что не будет «буржуев» – не будет и колбасы. Но лидерам оппозиции это ясно. Они, если придут к власти, не тронут предпринимателей, только повесят вывеску «Новый социализм».

Ребрикова приходила к Левковичу и Чуку домой. Арон ставил на проигрыватель пластинки сефардской и клезмерской музыки, и на женщину веяло магнетическим ароматом еврейского искусства. Левкович сказал, что, по его мнению, евреи и русские – два самых многострадальных народа. Признался, что еврейская история и нынешние про-

блемы Государства Израиль (в котором он ни разу не был) его волнуют не больше, чем история и проблемы Аргентины или Австралии:

– Я не еврейский патриот, я космополит. Еврейский Берия меня посадил бы.

Арон интересовался русским галантным веком, предлагал послушать Трутовского, Хандошкина, Соколовского, Фомина, Пашкевича. Слушали втроём. Мелодии были трогательными. Гостя об этих композиторах раньше не слышала; знала из той эпохи только про матушку-царицу Екатерину с «голубчиком Гришенькой».

Однажды во время прослушивания зазвонил телефон. Звонил однокурсник Левковича. Сообщил, что сегодня была кремация Вики Даниловой. Однокурсник знал, что полвека назад Арон любил её. Левкович спросил:

– Какого числа она умерла? Я запишу.

Музыка освещала душу Ребриковой, рождалось сочувствие Арону, зарождались стихи про слёзы чистые, словно снежные хлопья, про печаль нежную, как туман.

Левкович становился для Музы дорог. При этом в душе Ребриковой не было места тому, чем жил Арон. Политика, история и многие другие вещи оставались для Музы внешними факторами, не затрагивавшими глубину, важно было одно: чтобы они не усложняли жизнь. Всё основное для Ребриковой, всё волновавшее её, составлявшее её суть, происходило в её сердце. Оживали дорогие моменты детства и ранней юности, мечта и обида молодости. Ощущалось пришедшее в старости понимание жизни; припозднившаяся, но успевшая, не опоздавшая радость любви: женщина её дождалась. Два старых человека, оставаясь разными, составили единое целое.

Слушали русские народные песни. Муза думала: сколько в них красоты и юмора!

Арон хвалит её рассказы. Он перебрался с Чуком в её трёхкомнатную квартиру, а своё жильё сдал семье из Калуги. Левкович и Ребрикова — члены актива храма. Читают православную литературу. Муза вспоминает слова апостола: «Господь вознаградит каждое доброе дело». Уверена, что счастье ей и Арону послал Бог.

В ПОЕЗДЕ

В июле 2013 года в купе поезда Москва – N-ск сидели четыре пассажира. Кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник Феликс Эдуардович Новиков в очках с позолоченной оправой, по определению жены – раб желудка. Его супруга Полина Геннадьевна – сухонькая, лёгонькая историк-архивист, очень начитанная. Седоватый полковник Глеб Константинович Рябинкин, плечо которого, когда он был лейтенантом, зацепила пуля афганского моджахеда. Его жена Лидия Никитична – начальница управления, умеренная карьеристка. Все ехали отдыхать от однообразной службы, от столичной духоты и толкотни, от семейных забот, любимых детей и внуков. Целый месяц никакого метро с его давкой, никаких отчётов, никакого начальства (кроме жены)! Только сладостное безделье и море, желанное, согретое южным солнцем. Настроение было приподнятое, и спутники ещё не надоели. В жизни есть ряд доступных удовольствий, среди которых общение не последнее в списке. А если встречаются незнакомые москвичи, то разговор в конце концов неизбежно коснётся главной столичной болячки: пробок. Новиков заметил:

– Всё-таки молодец Собянин, интенсивно строит метро. Каждый год новые станции, никогда, значит, такого не было. Чем больше будут ездить под землёй, тем меньше будут ездить по поверхности.

Лидия Никитична возразила:

– Зато мэр испытывает смертельную ненависть к киоскам. У нас во дворе был хорошенький, аккуратный ларёк. Кому он мешал? Теперь приходится полкилометра тащить дыню.

Феликс Эдуардович согласился:

– Можно выиграть выборы мэра Москвы, если пообещать, что восстановишь все снесённые ларьки и откроешь, значит, ещё столько же новых. Если я был бы кандидатом в мэры, я выступил бы в вашем дворе на митинге жильцов и провозгласил: «Каждому двору по киоску!»

– Браво, – одобрила жена военного.

Офицеру тоже понравилось:

– Вы бы победили в первом туре.

Помолчали. Очередная тема не приходила. Наконец, Лидия Никитична сказала:

– Как вы думаете: писатель должен развлекать или просвещать?

Кандидат наук откликнулся:

– Человек приехал с работы. Поужинал. По ТВ дребедень, Интернет надоел. Один выход: почитать. Человек имеет, значит, право немного развлечься. А писатель считает своим долгом не просто дать ему отдохнуть. Он пользуется случаем, чтобы хотя бы отчасти приблизить его, отсталого недоумка, к своему высокому интеллектуальному уровню.

Рябинкина опять возразила:

– Ваш сарказм понятен. Но ничего страшного, если автор кого-то немного просветит.

Её муж огласил соломоново решение:

– Пусть будет и та литература, и эта. А читатель выберет.

Новиков обратился к жене-архивистке:

– Ты как считаешь?

– По-моему, такая постановка вопроса – упрощение. Возьмём «Анну Каренину». В чём там Толстой нас просвещает? Что мы узнали для себя нового? Что мужья бывают с рогами? Чем там он нас развлёк? Тем, что женщина погибает под колёсами? Толстой занят совсем другими проблемами.

Поезд въезжал в старинный русский город. Замедлил ход. Остановился. Полковник сказал:

– Тула.

Ведущий научный сотрудник посмотрел в окно и сообщил всей компании:

– Я схожу за пряниками.

Лидия Никитична поддержала идею:

– Будет очень любезно с вашей стороны.

Но Полина Геннадьевна остановила мужа:

– Не надо. Ещё отстанешь.

Офицер:

– Действительно, не стоит.

Вскоре поезд тронулся, покидая город. Следующая остановка в Орле. Из коридора послышался громкий женский призыв:

– Кому тульские пряники? Тульские пряники!

Проблема разрешилась сама собой. Полина Геннадьевна выступила с инициативой:

– Слушайте! Давайте поиграем. Пусть каждый расскажет любопытные байки. Будут две команды: первая – я и Феликс Эдуардович, вторая – вы с супругой, товарищ полковник. Победит команда, которая расскажет самую занимательную историю. Проигравшая сторона дарит победителям приз. С нашей стороны – вот. Феликс, покажи.

Муж послушно достал и поставил приз на столик. Жена военного прочитала вслух:

– «Русская Лоза. Белое сухое».

Полковник немедленно дал адекватный ответ. На этикетке значилось: «Blanc de Blancs».

– Белое французское, – пояснил он небрежно.

Новиков дожевывал свежий пряник и обратился к жене тоном главы семейства:

– Заварила кашу? Рассказывай.

Все приготовились слушать. Состязание началось.

– У нас в архиве хранится подлинник одного из постановлений Временного правительства 1917 года по аграрному вопросу. Без даты. В суматохе забыли поставить. Но в верхней части листа торопливая, чернилами, запись министра земледелия: «Сегодня принято. В. Чернов». Чернов поставил дату.

Все улыбнулись. Для начала сойдёт. Лидия Никитична спросила:

– Как платят в архивах?

– Мы на дне. Единственное отличие от пьесы Горького – живём пока не в ночлежке, – вздохнув, ответила Полина Геннадьевна. – Судя

по частым срочным заданиям, поступающим в государственные архивы от высоких инстанций, квалифицированные архивисты очень нужны. Судя по их зарплате – они никому не нужны. Так было и при Брежневле. И тогда в казне не было денег для архивистов, я в семидесятые годы получала 62 рубля 50 копеек в месяц. Недавно мне на глаза попало постановление президиума ВЦСПС тех лет о направлении десятков миллионов рублей в помощь профсоюзам Республики Шри-Ланка.

– Так надо было бежать из архива, – сказала начальница управления.

– Куда? Что я умею, кроме своей профессии?

Ведущий научный сотрудник попросил жену:

– Расскажи ещё что-нибудь.

– Опальный Михаил Павлович Томский понял, что за ним скоро придут. Утром 22 августа 1936 года он пошёл в дальний угол парка своей дачи и застрелился. А до этого, в двадцатых годах, он был председателем ВЦСПС и однажды заявил на съезде с трибуны: «Русский рабочий скорее отдаст жизнь за мировую революцию, чем вовремя заплатит членские взносы». Сюжет второй. До революции в Донбассе был посёлок Нью-Йорк. У нас хранится чистый бланк 1917 года со следующей шапкой: «Нью-Йоркский Совет рабочих и солдатских депутатов». Мне в молодости очень хотелось послать фотокопию бланка господину Эдварду Ирвингу Кочу, мэру Нью-Йорка.

Кандидат наук сказал:

– Жалко мэра. С ним случилась бы кондрашка: в Нью-Йорке советская власть, да ещё русские пришли, ведь текст на русском языке. Теперь моя история. Как говорится, из пережитого. Предстояло сдавать автоматику и телемеханику. Я тогда подумал: «Я, конечно, не Капица, но на четвёрку я сдам». За три дня и три ночи я, значит, заново переписал и оформил конспект. Заверяю вас: то, что получилось, был не конспект. Это было выдающееся произведение изобразительного искусства. Можно в музей имени Пушкина. Всё, что позволяли мои девятнадцатилетние мозги, я вы зубрил и явился на экзамен. Но преподавательница, молодая и симпатичная, не знала, что произошла революция. Перед ней сидел тот же болван, который весь семестр на задней парте смотрел в окно. Один-два вопроса... Тройка. Я ей: «Я готовился. Я собирался на четвёрку сдавать!» – «Мало ли что вы собирались». Я ушёл. Уникальную рукопись с горя в урну. Не знаю, что с преподавательницей произошло, но через день, значит, она вдруг сама подходит ко мне, смотрит виноватым взглядом чудных глаз и говорит: «Новиков! Хотите пересдать?» А мне уже было всё равно. «Да ладно», – говорю.

– Трогательно, – оценила Рябинкина.

Полина Геннадьевна тронула мужа за рукав:

– Про опоздание расскажи.

– Сейчас. Работал на оборонном ящике. У вертушки бабуля с кобурой ровно в восемь тридцать захлопывала дверцу – и всё! Опоздавшему оставался единственный выход: тут же из проходной звонить начальнику, извиняться, просить отгул и ехать домой. Однажды... думаю, я стукнул по будильнику, решил ещё минутку поспать... Мы начинали рабочий день в темноте: декабрь. А тут просыпаюсь: солнце в зените! Небритый, неумытый мчусь (я был тогда на сорок кило легче) к электричке. Подбегаю, значит, к проходной. Бабуля даже пропуск не спросила, распахнула дверцу: или у меня свободный режим, или я из министерства. За десятки лет существования завода настолько не опоздал никто!

Офицер слушал понимающе. Сказал:

– Неплохо. Но сейчас будут новости. Предлагаю закончить первый тайм. Как вы? Не против?

Феликс Эдуардович хотел ещё что-то рассказать, но ему было неловко возражать полковнику. Он уважал людей в погонах.

– Нет, конечно.

Радио упомянуло драку двух депутатов в Госдуме: боксировали Бирюля из фракции «Раньше было хорошо» и Шестернёв из фракции «Стало ещё лучше»; последний послал первого в нокдаун.

– Ребята не скучают, – сказал военный.

Его жена подумала, что драться можно в супермаркете с пенсионером из-за тележки, если осталась всего одна. Но в таком солидном учреждении! Сотрудница архива напрягла память, пытаясь вспомнить, есть ли у них на хранении документы о драках в дореволюционной Государственной думе. Вспомнила: о драках нет, но есть о дуэли между двумя членами Думы 17 ноября 1909 года на берегу Финского залива, за Старой деревней. Тогда Александр Иванович Гучков ранил в правое плечо, легко, графа Алексея Алексеевича Уварова. Муж архивистки в эту минуту думал, что нынешние думские фракции стоят одна другой. Он считал Думу дорогостоящей декорацией, существующей лишь для «одобрямса», и полагал, что выбрасываемые на её содержание деньги лучше потратить на детскую онкологию.

Затем эфиром завладел брехтовед. Ведущий научный сотрудник зевнул. Полина Геннадьевна сказала:

– Давайте начнём второй тайм.

Офицер убрал звук. Спросил:

– Лида, ты готова вступить в игру?

– Даже не знаю, Глеб. Не вспоминается интересное.

– Постарайся, пожалуйста. Я без тебя один не вытяну.

– Хорошо. Две истории. Я была начинающим экономистом, только-только из института. Однажды я раскладывала в десятки конвертов экземпляры циркуляра, подписанного директором нашего учреждения и адресованного подчинённым организациям на местах. Случайно в один конверт вместо циркуляра сунула чистый лист. Местный босс вынул пустую бумагу, больше в конверте не обнаружил ничего. Так этот гад прислал загадочное распоряжение нашего директора обратно ему в Москву, сопроводив робкими язвительными комментариями. Директор получил, обомлел и велел своей секретарше отнести проклятый псевдодокумент начальнику нашего отдела. Тот обзвонил заведующих группами. Когда личный состав был собран, начальник живописал нижестоящим ужас происшедшего. Возгласил: «Я знаю, кто виновница: Лидия Никитична!» Народ мне сочувствовал. Но потом был другой случай, повлёкший ненависть, да ещё какую, всей группы ко мне. Мне было приказано считать свежий, только что отпечатанный экономический бюллетень. Это бесстыдное враньё никто не читал, но полагалось считать. При этом заведующая группой постоянно высказывала пожелание, что было бы лучше, если бы опечаток не оказалось. Потому что на правку тиража времени не было. И вот, вижу: сведения по Алтайскому краю попали в клеточку Новосибирской области. Утаить? Но тогда зачем я считываю? Показала заведующей. Она была в шоке, но позвонила начальнику отдела. Тот – директору. Вечером группу задержали на работе, мы до ночи правили шариковыми ручками с чёрной пастой три тысячи экземпляров. На другой день заведующая размышляла вслух: «Интересно, а заметили бы?» Больше не знаю, что рассказывать.

– Занятно, – галантно похвалил Новиков. – И вполне достаточно.

– Я вспомнила ещё сюжет, – сказала Рябинкина. – Двенадцать лет назад мы с Глебом отправляли нашего мальчишку в летний лагерь. Перед этим было родительское собрание, где приказали всех детишек остричь наголо. Муж в армии привык не рассуждать, все приказы исполнять беспрекословно. Он выдал ребёнку денежку и отправил его в парикмахерскую. Потом во всём лагере оказалось только двое детей, остриженных под ноль. Наш и ещё один мальчик.

– У второго папа тоже был военный, – улыбнулась архивистка.

Полковник сказал:

– Моя очередь. Сниму китель, если можно. Я, салага, был направлен в наряд на КПП, в самый дальний угол части: открывать и закрывать ворота. Поздний зимний вечер. Снаружи подъезжает УАЗ-469 начальника училища Ревкова. Водитель отвёз подполковника в военный городок и вернулся. Но мне показалось, что он привёз Самого обратно. Мгновенно принимаю решение и звоню в штаб: может, там кто-то уже спит, кому не положено, может, извините, выпивает. «Курсант Рябинкин с КПП. Ревков приехал!!!» Представляю, что пережили в штабе. Обошлось, не убили.

Полина Геннадьевна спросила:

– Вы воевали когда-нибудь?

– Да, но не люблю об этом. Лучше о том, как я стрелял в противогазе. Вам не доводилось? – обратился он к кандидату наук.

– Я не служил. Близорукость.

– То есть вы не вкусили этого. Лежим в противогасах. Переводчики огня в автоматах установлены на стрельбу одиночными. Я вообще никогда не был снайпером, а тут и вовсе. Куда там разглядеть мишень! Неба не вижу. В глазах какая-то муть. А надо мной стоит командир роты. Ну что делать? Я: бац! И слышу голос капитана: «Отлично, курсант Рябинкин».

Новиковы прыснули. Начальница управления, знавшая байки мужа наизусть, улыбнулась.

– И ещё случай. Я служил в советской Прибалтике старшим лейтенантом. У меня был солдат, собиравшийся после дембеля поступать учиться на политэконома. У него в тумбочке лежал толстый том «Капитала». Он брал его на ночную смену. Ночью-то почти нет радиogramм. Я не возражал: пусть лучше учится, чем будет дрыхнуть на боевом дежурстве. А однажды сверхсрочник Лучан Брынза, молдаванин, очень добрый человек, будучи командиром смены радистов и подшофе, придумал, как отогнать от себя проклятую дремоту. Он отобрал у пацана его кирпич, сел за ключ, открыл том на первой попавшейся странице и погнал в эфир точки-тире открытым текстом: «Карл Маркс. Капитал. Том первый. Глава девятая...» И далее по книге. А передатчик мощный. Два часа ночи. Спит Европа. Спят все дежурящие радисты нашего военного округа. Никто не слушает критику рыночной экономики. Вынуждена слушать только разведка НАТО. Она думает: «Русские рехнулись!» Потом Брынзу наказали. А бывший рядовой теперь профессор, причём либерал.

– Ваша команда победила, – признала поражение Полина Геннадьевна. – Согласен, Феликс?

Муж кивнул, колыхнув жирным подбородком. Она добавила:

– Но признайтесь, товарищ полковник, вы присочинили?

– Самую малость. Пусть будет ничья, – подвёл итог офицер. – Давайте разопьем один из призов.

– Французский, – оживился Новиков.

Вино было немного терпким, освежало. Феликс Эдуардович подумал: врач отрегулировал давление и пульс. Но холестерин и глюкозу никак не удастся загнать обратно в норму, несмотря на диету и лекарства, которые подорожали. А тут ещё вино, ладно сухое. Французы сделали. Учил французский в школе, техникуме и вузе. Бонжур, амур, пардон, мерси. Остальное забыл. Полина Геннадьевна вздохнула, глядя на мужа: и похудеть хочет, и покушать любит. Милый Феликс, замечательный специалист, каких поискать: даже дома голова его занята работой. Был счастлив, когда дочка родила двух близнецов. Мальчишкам на прошлой неделе исполнилось три года. Как дочка и зять управятся без неё? Лидия Никитична волновалась в связи с освобождающейся должностью начальника вычислительного центра. Кандидатов на повышение несколько, но, вероятнее всего, назначат её. Единственным маленьким препятствием может стать её недолгое отсутствие. Предстоит весь отпуск нервничать.

Полковник спросил:

– Включу приёмник?

Новикову хотелось посидеть в тишине.

– Пожалуйста, – разрешил он.

Передавали встречу со старым бардом, знакомым Визбора, Высоцкого, Кукина. Он аккомпанировал себе на гитаре и пел добрые песни о коте, шхунах, цыганках. На четверых пассажиров повеяло их собственной юностью, с её мечтами, счастьем, первой любовью. У Лидии Никитичны перед глазами был город у прохладного моря, где служил старший лейтенант Глеб Рябинкин. Ей нравилось ходить с ним в Старый город, бродить по средневековым улочкам. А однажды съездили с Глебом в глубинку, на районный праздник песни. Стояли на тротуаре, а мимо маршировали хоры к певческому полю. Перед каждым хором несли его знамя, хористы – женщины и мужчины – шли в национальных костюмах. На певческом поле стояли тысячи людей, казалось, что собрались все жители района. Первый секретарь райкома компартии республики произнёс приветствие, потом повторил его по-русски. Все хоры спели вместе на своём языке гимн СССР, советский гимн республики, потом пошли народные песни. Всё это трогало до слёз. Но когда Лида и Глеб пришли в очередной раз в Старый город, там на главной площади стоял стол и стул, над столом развевался флаг республики, не советский, а исторический; висело объявление: «Требуется независимости!» Люди подходили, садились, подписывали, и Лида почувствовала себя чужой, не нужной здесь, а Глеб сказал, что ничего не удастся поделать: насильно мил не будешь. К светлым воспоминаниям примешалась горечь, но тогда они были молоды, а молодость вспоминаешь тепло.

Офицер приглушил громкость и сказал:

– В приложение к нашему соревнованию маленькая история вне конкурса. Когда моей бабушке было восемьдесят, её положили в больницу, причём не в палате, а в коридоре. Мой отец уговаривал заведующего отделением перевести мать в палату. Бесполезно. Отец был простым рабочим, ему было много лет. Он плакал. Пошёл в райком, рассказал инструктору. Тот поехал в больницу, показал заведующему удостоверение. Заведующий забегал. Через десять минут бабушка лежала на койке в палате.

– А в коридоре положили другую женщину, – съязвила Полина Геннадьевна.

– К чему я рассказал? К тому, что хватает у нас дерьма.

– У нас... будто за границей его нет! – возразила Рябинкину его жена.

– Да, Лида, есть на свете Африка, Америка, Австралия, есть ещё планета Сатурн, но они меня не волнуют. Здесь же моя страна, она мне не безразлична. Хочется, чтоб нам в ней было хорошо.

Новикова сказала:

– Я тоже выступлю вне конкурса. Однажды получила к исполнению запрос, присланный с Дальнего Востока. Заявитель писал, что по семейному преданию его прадед был депутатом Государственной думы в царской России. Нельзя ли это проверить, говорилось в письме. Почему не проверить. Я поискала в архивном фонде Департамента полиции МВД и нашла дело с донесением на бланке, на двух листах, об обыске в июне 1906 года на квартире этого человека; действительно, он был членом Государственной думы первого созыва. При обыске была найдена незаряженная бомба, депутата препроводили в участок. Секретным сотрудником охранного отделения или осведомителем он не был – я проверила. Есть сделанная в полиции его фотокарточка анфас и в профиль. Больше в архиве никаких документов о нём нет. Царь вскоре разогнал революционную Думу, и, конечно, террорист поехал в места отдалённые. Я всё, что нашла, скопировала, отправила ксерокопии заявителю и забыла про него. Вдруг через месяц получаю письмо: «Уважаемая П.Г. Новикова! Извините, не знаю Вашего имени и отчества. Пришёл из архива ответ на мой запрос. Беру в руки документы о прадедушке – и слёзы наворачиваются! Семья ничего этого не знала о своём предке. Будем хранить. Спасибо Вам за Ваш кропотливый и такой нужный людям труд».

– Хорошо, когда не забывают поблагодарить, – заметила Рябинкина.

Игра надоела. Приятный разговор прервался. Состав развил бешеную скорость. Лидия Никитична думала о том, что у подружек уже внуки и внучки, а её с Глебом сыну всего двадцать один год и жениться не собирается. Новикова размышляла о своей двухнедельной работе в приёмной архива: она подменяла заболевшую постоянную дежурную. Один за другим входили посетители, собиравшие бумаги, необходимые для оформления пенсии. Иногда являлось невозможным установить, где хранятся архивные материалы учреждений или организаций, в которых эти люди, ныне – пожилые, когда-то работали; порой вообще было неизвестно, сохранились ли необходимые комплексы документов. Трудяг гоняли по бескрайней Москве из архива в архив. Полина Геннадьевна старалась им помочь, но часто это было не в её силах. Образовавшиеся дыры в трудовом стаже работяг (в действительности никаких дыр не было, люди все эти годы ишачили) означали, что пенсии, и так незавидные, уменьшатся. Ещё вспомнила: она объяснила пожилой приезжей из Астрахани, в какой московский архив следует обратиться и как туда доехать. Женщина поблагодарила и положила на стол пакет. Новикова заглянула в него и увидела воблу. Сказала:

– Заберите.

Посетительница:

– Возьмите. Вяленая по-домашнему.

Полина Геннадьевна протянула пакет женщине, но та повернулась и вышла.

Муж и зять скушали рыбу с пивом.

Новикова подала идею попутчикам в дальнем странствии:

– Феликс! Мы забыли про вторую бутылку.

– Действительно! – спохватился муж.

Рябинкины обрадовались. «Русская лоза» оказалась приятным и слегка прохладным напитком. Кандидат наук поделился ностальгическим воспоминанием:

– В советское время был в командировке в Севастополе. Там на каждом шагу стояли киоски с разливным вином. Сухое – восемнадцать копеек стакан, креплёное – тридцать четыре.

– Ну, ты там отвёл душу, – сказала его жена.

– Да, мы ходили от киоска к киоску.

Новиков вышел в тамбур. В окно с выбитым стеклом влетал ветер. Кандидат наук подумал: чего тебе, Феликс, нужно от жизни, кроме здоровья родных и своего? Хотелось бы оставшиеся лет двадцать по-прежнему жить в любви, в теплоте домашней. Затем: не нуждаться. Деньги – это независимость, это достоинство. И третье: хочется душевного покоя. Покой! Но где он? Вечером приезжаешь со службы домой и думаешь о том, что творится в двадцать девятой лаборатории НИИ приборной электроники. Младшие по должности травят и выдавливают старших, чтобы те ушли и освободили места. Сверху заваливают работой. У него даже появился навязчивый страх (впору обратиться к психиатру): откроется дверь, войдёт начальник лаборатории и вручит ему восемь срочных заданий. Требуется одно: в срок, в срок, в срок. Качество исполнения начальник не проверяет, у него нет на это времени. Пока сходило, но однажды кончится печально. Начальник спит с Нинкой Дувакиной, они вдвоём распределяют квартальную премию. Фаворитка с электромеханическим техникумом обнаглела, поручала работу ему, кандидату технических наук Новикову, даже тогда, когда была младшей научной сотрудницей, и начальник не возражал. Ещё взяла манеру звать его Феликсом Эдмундовичем. Ей кажется, что это остроумно. Дура. А полгода назад уволилась Люсьена Жарикова, главный научный сотрудник лаборатории, и Нинка получила эту должность, подпрыгнув сразу на три ступеньки и обойдя его. Из-за обиды и унижения он тогда захотел перейти в другой сектор, его бы охотно взяли, но, пока ехал домой, передумал: не мальчик, чтобы скакать с места на место. Дома не стал расстраивать жену. Поля до сих пор уверена, что у мужа увлекательная работа и начальник его ценит. Смех. Хоть бы отпуск был в радость. И правда, пять недель не видеть эти хари. Да, но он не будет видеть и дочь, внуков. А ещё он не будет видеть Наргиз. Её недавно взяли лаборанткой, ей двадцать, она в радиоэлектронике соображает ещё меньше Дувакиной, но где-то учится. На работе он скучает без общения с Наргиз, иногда уходит к ней в комнату, садится около неё, они болтают о том о сём. Он слушает наивные суждения Наргиз, смотрит на неё, и его душа оттаивает. У него не снесло башню. Поля – умница, замечательный человек, мама его дочери. Но что-то влечёт к молодой очаровательной женщине. Надо вообще переселиться туда.

Поезд летел к югу. Мчались мимо и исчезали позади платформы-причалы. Вдаль до горизонта уходила нескончаемая, без особых красот средняя полоса России, дорогая сердцу любого человека, неважно, деревенского или городского, родившегося на русской земле. Новиков увидел у переезда двух светловолосых детей. Девочка держала велосипед и улыбалась стоящему рядом мальчику. Милые некрасовские сельские ребятишки. У Феликса Эдуардовича потеплело на душе. Мальчик поднял камень и с силой бросил в проносящееся окно, из которого выглядывал ведущий научный сотрудник, но не попал. Новиков машинально отвёл голову.

Данила НОЗДРЯКОВ

Родился в 1986 году в Ульяновске. Окончил Ульяновский государственный университет, историк. Преподавал историю и философию в университете, сейчас работает журналистом.

Публиковался в журналах «Воздух», «Опустошитель», «Транслит», «Симбирск», «Литература», «Textura», «Здесь», «Кольцо А», «Формаслов» и других. Автор поэтической книги «Поволжская детская республика». Входил в лонг-лист литературной премии «Лицей» имени А. С. Пушкина (2018, 2020). Победитель международного литературного конкурса «Верлибр» (2018) в номинациях «Поэзия» и «Проза». Дипломант международного Волошинского конкурса (2019).

Живёт в Ульяновске.

ПОЛИТБЮРО, КОТ ПАРФЁН И МИЛИЦЕЙСКАЯ ФУРАЖКА, С КОТОРОЙ ВСЁ НАЧАЛОСЬ

Дочь как маленькая. Каждый раз просит разбавлять горячий чай холодной водой. Смешная, ей-богу. И сахар кусковой вприкуску ест. На горячий чай могла бы просто подуть.

Как маленькая. Всё время куда-то торопится, всё у неё на лету. Не может ни секунды посидеть спокойно. Пришла, махнула шашкой, отхлебнула чай и понеслась дальше, очертя голову.

И жена у него такая же сивка бешанная. Не сидится ей на одном месте. Всё время что-то делать надо: телевизор посмотреть, с соседкой языком зацепиться, поросят покормить, огурцы собрать. Причём одновременно.

Он же – человек степенный. Единственное, что сделал в скорости, так это от жены убёг. Митрофанов в город переехал жить, дом после него остался. Сказал, приходи и живи, мне не жалко. И музей свой устраивай. Заодно будешь за домом приглядывать.

Уехал не уехал, а своё, родное, бросать не хотел. На печке тут и родился. Рассказывали ему потом, как отец за фельдшерницей бегал, пока мамка рожала. Жалко бросать родной дом.

А ему жалко кота было своего, Парфёна. Рыдал по нему в три ручья. Какой умный и ладный котейка был, лучше всех других людей его понимал. Степенный и рассудительный, никогда не спешил никуда. Не кот, а мудрец древнекитайский.

Наша русская кошка полосатая-мохнатая оттуда, говорят, происходит. Из Китая. Через Среднюю Азию в Сибирь завезли, оттого сибирской назвали.

Завхоз школьный раздавил кота спьяну. Неделю прятался, думал, что прибьёт насмерть. Хоть бы пришёл сам, повинился, дескать, пойми и прости. Нет, народ сейчас не душевный пошёл.

Чего боялся, он бы его и пальцем не тронул? Горе человеческое не сопряжено с местью и злобой. Похоронил кота Парфёна за домом, могилку ему сделал. На неё водрузил безлапого игрушечного кота, дочкину любимую игрушку детскую. Будто памятник такой поставил коту Парфёну.

Дочка пуще него убивалась, даром что уже в старших классах училась. Маленькая она, кипятилок водой холодной разбавляет и сахар вприкуску ест с чаем. Любила Парфёна и отдала ему свою детскую игрушку.

Сейчас стоит и смотрит, неродная словно вовсе. Как в Москву уехала, так и ходит насупившаяся и смурная. На каникулах к нему мимолётом залетела, до этого нос не казала. Цену себе набивает в столице, умной показаться хочет.

Стоит и смотрит на лычки и звёзды, будто понимает что-то. Плакат этот, где изображены погоны рядового, сержантско-старшинского, мичманско-прапорщицкого, офицерского и генеральского состава, он помнил ещё с уроков начальной военной подготовки. НВП, значит. К армии упорно готовился, но единственный из всего класса в неё не попал.

Год назад школу закрыли, и он в числе глобусов, карт, учебных пособий и коллекции минералов из кабинета географии приволок к себе этот плакат домой. В дом Митрофанова.

Стоит и смотрит, разглядывает, выискивая одной ей известную информацию. В кои-то веке на одном месте взялась постоять, не дёргаясь и не спеша никуда.

Отец, мне нужно с тобой серьёзно поговорить.

Этот разве кот? Одно недоразумение. Ест один корм из пакетиков, хоть и деревенским жителем называется. Мышей не ловит. Где ему напасёшься корма в деревне? Магазин один, и тот только до обеда работает в будние дни, за исключением пятницы.

Отец, мне нужно с тобой серьёзно поговорить.

Удумала. Если отцом называет, а не тяткой, то действительно случилось чрезвычайное происшествие. Денег в Москве не хватает? Так ему и неоткуда их взять, не по адресу обратилась. Может, беременная? Вот ещё придумал.

И долго ты будешь тут скрываться, в своём музее? Перед людьми стыдно. Как маленькие себя ведёте, честное слово.

Сурьёзная.

Курьёзная.

Фух, отлегло. Ничего серьёзного она, оказывается, не имела в виду. В очередной раз завела разговор о его побеге от жены. Уж ненароком и вправду подумал, что страшная невидаль с ней приключалась.

Кстати, о людях. Прибежала тётя Зина-почтальонша, гаркнула, что к нему гости приехали. Иди, встречай. А в соседнем селе сани крестьянские есть, знаешь? Готовы отдать даром за самовывоз. Ай, ладно, попозже загляну, у тебя тут дела.

И убежала.

Все они такие – только и делают, что носятся. Ни секунды на месте побывать не могут. Егозят. Будто дома без фундамента, которые ветром

сносит, как в сказке про Волшебника Изумрудного города. У дочки чай давно простыл на столе – только притронулась к нему и давай бежать отца воспитывать.

Ватага детей ввалилась в дом-музей. Он их вчера ждал, но автобус школьный сломался, и они никуда не поехали. Школу в его селе закрыли за неимением детей, и он сейчас воюет с районной администрацией, чтобы ему туда дали перелить свой музей. Всё равно здание пустует и разрушается. Но им жалко и разрушенного здания отдать на благое дело. Вот где плюшкины натуральные. Прорехи на человечестве. А они его так зря величают и смеются над ним, что он под мостами и перекладинами целыми днями собирает старые подошвы, бабьи тряпки, железные гвозди и глиняные черепки. Всё это нужные вещи и имеют на весах истории приоритетное значение.

Нет, не разувайтесь, не надо. Я полы ещё сегодня не мёл, ноги замараєте только.

Школьники приехали из Бекетовки. Смотрят на него, как на чудо заморское. Два десятка глаз. Пацаны в основном в шортах, в штанах спортивных, бошки бритые.

Девки две стоят, одна, смуглая, с волосами высветленными, в чёрной майке с какими-то уродцами. На ногах обувь разного цвета, одна нога в фиолетовой кеде, другая – в зелёной.

Они и сами, две подружки, стоят как кеды от разных пар. Вторая – бледная и тощая, с длинными русыми волосами. У первой сквозь мешковину майки яростное тело уже пробивается. Тоже, поди, на уме хабальство одно.

И карапуз с ними рядом в голубой панаме, учительницы внук. Приехал на летний отдых от детского сада. Его он знает, чем заинтересовать. Два саквояжа старых ёлочных игрушек. В одном лежат даже те, которыми он сам новогоднее дерево в детстве украшал: шишки разноцветные, спутник, держащийся на проволоке, сосульки, домики со снегом на крыше и шары с цветками намалёванными.

Парфён со всех сторон положительный кот был, но по малолетству ёлку грохнул и много хороших игрушек погубил. Чего в детстве не набедокуришь? Он и сам, когда первый раз в жизни увидел наряженную ёлку, поленом в неё запустил. Перепугался с непривычки. До того Нового года не ставили ёлку, а тут вдруг решили. Мамка-покойница придумала.

У него и других игрушек полно. Какая твоя любимая игрушка? Динозавр? Динозавров у него нет. Зато, смотри, какой экскаватор, такого больше нигде не увидишь.

Смотри, какой мужик, который от собственной жены убежал и прячется в чужом доме.

Да подожди ты лезть, видишь, у меня люди. Что за человек ты такой?

Какой и ты. Яблоко от яблоньки, вишенка от вишенки. Вишенка на торте. У тебя всегда люди, когда поговорить о важном надо.

Заладила. Важное да важное. Музей для него важен. И раз гости приехали, тоже важны. И одно не важнее другого.

Школьники разбрелись по комнатам дома Митрофанова, приютившего его музей. Карапуза вместо игрушек заинтересовал никчёмный кот. Он устроил с ним весёлую возню, за что несколько раз удостоился нареканий от бабушки.

Он человек степенный и неторопливый. Неторопливо достал из пачки «Примы» самокрутку и закурил, отплёвывая на половичок махру.

Единственное, что он быстро сделал, так это от жены убёг в дом Митрофанова со своим музеем. За это его сейчас дочка и воспитывает.

Пацанам надо военную амуницию показать. Сейчас хоть и не модно в армии служить, но это их точно привлечёт. Коль не привлечёт, то и толку в них на грамм. Даже меньше, чем в этом коте.

С этого моя коллекция и начиналась, с военной формы. Пять лет назад попала мне в руки милицейская фуражка. Дай, думаю, всё обмундирование соберу. С тех пор у меня и флотская, и пехотная, и афганская, и комки, и горка, и железнодорожная, и даже Народная армия ГДР есть. По почте прислали поклонники его музея из Германии в обмен на комплект флагов союзных республик, принесённого им из закрывшегося Дома культуры. А вот это, смотрите, шинель ВОХРа образца 1942 года. Чёрная, красивая, в отличном состоянии.

У тёти Раи Мелешкиной осталась от отца. В сарае нашла. Тут, глядите, под обшлагом рукава есть специальный потайной кармашек для документов. На более поздних образцах такого уже не было.

Только формы налоговика не хватает. Найдёте и подарите – по гроб жизни буду благодарен.

Две девчурки разглядывают стену с плакатами и значками. Пионерский, комсомольский, «50 лет КПСС» и Общества охраны леса. И много других.

Не видели его, как он вошёл.

О, ковёр, надо обязательно у него сфоткаться.

Давай я тебя сфоткаю.

Хотела бы тут жить?

Ага, и замуж за этого выйти!

Фу, ты видела у него руку. Как клешня у краба.

Он улыбнулся виновато. Что ты щеришься, подумают люди, что дурак, говорила ему бабка. Она советовала ему никогда не улыбаться, чтобы не прослыть этим самым дураком.

Гляньте, какие у меня фарфоровые куклы есть. Вы таких и не видели никогда. Всё барби да барби.

Видели.

Пальцы у него на руке были сросшиеся. Оттого в армию и не взяли. Очень он уж хотел милиционером стать. А без армейской службы в милиционеры не брали. Может, через это и начал форму военную собирать. А дальше уже само понеслось.

Вот дед Жора тоже человек степенный. С ним приятно разговоры душевные вести. Ну и пусть подслеповат и глух, как валенок, зато водку пьёт отменно. Сошлись два кáлича, дружбу завели.

С дедом Жорой недавно в заброшенном доме нашли крестов георгиевских и целую пачку петенок и екатеринок. Зажиточный дом когда-то был, небось. Клад прятали, боялись.

Учительница разглядывает полки с будильниками. На стене висят часы. Такие у моей бабушки были.

Это первые советские ходики, выпускавшиеся на московском заводе «Авиаприбор». Не сохранились у вас? Я бы взял.

Нет, давно уже почили в истории. Икон у вас много.

Иконы от покойных бабушек остаются. Я вот им тут лица карандашом дорисовываю, если стёрлись. Раньше с дочкой рисовали, она в Москву сейчас уехала учиться.

Иногда в брошенных домах нахожу. Но я к этому осторожно отношусь. Не дай бог назовут чёрным археологом, гробокопателем. На сбор

икон у батюшки разрешение получил. И, если хозяева у дома остались, у них тоже обязательно разрешения спрашиваю. Пусть даже в городе живут.

Хотите, подарю этот будильник? Ещё идёт, тикает.

Ты, может, эту свою любишь. Вдохновительницу, как ты там её называешь.

Музой он её называет.

С неё началась история музея. В интернете подглядел, как одна женщина в Омске музей из советских вещей сделала у себя на квартире. Подумал, чем он хуже.

Переписываться с ней начал. Она ему и прислала милицейскую фуражку.

Муза.

Глупости. Мы с ней просто дружим. Соратники, можно сказать.

С родными людьми дружить не хочешь. Со своим глухонемым хочешь, а с нами не хочешь.

Он не глухонемой. Подслеповат немного и слышит плохо.

Вот и общайся с ним. Я с тобой больше разговаривать не буду, пока с мамкой не помиришься.

Я с ней не ссорился, чтобы мириться.

Молча ушла в огород.

Из-за печки-голландки выглянул таракан. Цыкнул на него незаметно, чтобы гости ненароком не увидели.

Самокрутку забычковал о печку-голландку и положил обратно в пачку «Примы». Остатки махры он потом ссыпает и делает новые сигареты.

Дочка завсегда ругалась, когда он курил в помещении. Сейчас смолчала, и он запомнил, что при ней не курит в доме. Видать, сильно разозлилась на него.

Раньше все в доме курили, и ничего. Бывало, проснётся только и тянется к пачке на тумбочке. И жена покуривала, хоть и стыдилась своей привычки. И пряталась от него.

Карапузу, внуку учительницы, повязал на шею пионерский галстук. Не мог он отпускать гостей из своего музея без подарков. Настоящий пионерский галстук, оставшийся с тех, уже несуществующих времён. Не какой-то нынешний новодел. Аутентичная вещь, как пишут про это обычно в интернете.

Были ли они, те времена, или никогда их не существовало? Звуки и слова совсем другими тогда были. Лежит у него плакат с фотографиями всех членов брежневского Политбюро. Сейчас скажи нынешним школьникам: Политбюро. Они и не знают, что это такое. Незнакомые звуки. Подумают, название новомодной группы. Или чем они сейчас увлекаются?

Побродили по дому, посмотрели на его сокровища, но, скорее, безучастность во взгляде у них была. Хотя с учительницей шушукались, может, и понравилось чего. Не разберешь. Иногда прямо-таки пальцами показывали, чебурашек и неваляшек с дивана хватали и разглядывали.

Жена у него тоже в педагогическом училась, но не выучилась. В городе не срослось у неё, обратно в село вернулась. Но в школе работать никак не хотела, и в институт возвращаться не тянуло. Хвост ей поприжали, оттого и не вспоминала никогда про своё хождение за знаниями. Ничего не умела делать с чувством, с мерой, с расстановкой.

Учётчицей на ферме работала, пока хозяйство не развалилась. Образованная и шибко умная баба.

Дочка вот ничего, хоть егоза ещё похлеще мамки. В самую Москву рванула и даже пристроилась к жизни этого, как его там, мегаполиса. Сейчас говорят, что без блата нигде не устроиться, однако она же сумела просочиться в институт. Сама на жизнь себе зарабатывает, в кафе, вроде, официанткой трудится. В мать пошла образованностью и умом.

У него от Москвы есть флакон из-под духов в виде олимпийского мишки и скатёрка с олимпийскими кольцами. Есть ещё комнатный термометр, закреплённый на кремлёвской башне. Водовоздная башня, что на ста рублях раньше нарисована была.

Духи он нашёл в клубе, перед тем как его разобрали на кирпичи. Скатёрка и термометр его личными были, сам привозил из Москвы в восьмидесятых годах, когда по молодости за колбасой катался.

Гости ушли. Быстро прилетели, дольше собирались. Пробежали, осмотрели, убежали. Обычно его спрашивали, зачем он всем этим занимается. Одни смеются, говоря, что на свалке живёт. Другим всё интересно. Потом ещё вещи в его музей присылают.

Он сам не знает, зачем этим всем занимается. Многие вещи в мире делаются по незнанию. Если бы во всём себе отдавали отчёт и делали целенаправленно, то ничего бы и не выходило. По телевизору только и твердят: ставь цели, проговаривай задачи, пиши планы, делай осознанный выбор. Сколько раз ни пытался настроить планов, ничего, кроме маниловщины, не выходило.

Не планировал, что кота Парфёна машиной собьёт. Дочка через этот случай захотела ветеринаром стать, чтобы всех животных лечить. Потом открылась у неё боязнь крови и смерти и вместе с тем талант к художествам. Рисовать стала и на дизайнера в компьютере отправилась учиться. Вернее, талант с детства был, но так лучше раскрылся.

Она его научила интернетом пользоваться. Не научила бы, вряд ли подглядел он идею создания музея у музы из Омска. Ограничилось бы его жизненное коллекционирование этикетками от спичечных коробков и марками почтовыми в детстве.

В прошлом году решил кроликов разводить на мясо. Они взяли и заболели. Подошли потом. Горевал не только о потраченных впустую деньгах, сколько о том, что каждую тварь живую жалко ему.

Глядишь, и Бог случайно человека создал, по недоразумению. Иначе никто бы не обижал друг друга, и никакой эскалации насилия б не было никогда. Жена вместе с ним музей собирала, а не муза из Омска фуражки милицейские присылала.

Эволюция точно была случайностью. Там тоже клин, человеком и не пахло спервоначала.

Вышел в огород, окликнул дочку. Хочешь, схожу к мамке поговорить, но не сегодня. Сегодня пошли чай пить, а то инеем он покрылся уже давно. Даже разбавлять не надо.

Улыбнулась и пошла ему навстречу.

Олеся НИКОЛАЕВА

Родилась в 1955 году в Москве. Окончила Литературный институт (семинар Е. М. Винокурова). Ведет семинар поэзии в Литинституте, профессор кафедры литературного мастерства.

Выступала со стихами и лекциями в Нью-Йорке, Женеве и Париже, преподавала древнегреческий язык монахам-иконописцам Псково-Печерского монастыря, работала шофером игуменьи Серафимы (Черной) в Новодевичьем монастыре (1995), в 1998 году была приглашена в Богословский университет святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова читать курс «Православие и творчество» и заведовать кафедрой журналистики.

Автор более пятидесяти книг стихов, прозы и эссеистики. Произведения переведены на английский, итальянский, китайский, немецкий, французский, японский и другие языки. Лауреат многих литературных премий, в том числе национальной премии «Поэт» (2006), премии им. Бориса Пастернака, Патриаршей литературной премии (2012). Живёт в Переделкине.

НАЧАТЬ С НЕБЕС

* * *

Начиная дело с нуля,
что к чему там, пойдя пойми ж...
Обезвоженная земля
шелестит, словно сушь имышь.

Или надо начать с конца,
задающего цель, масштаб
и фигур, и лепки лица,
и ступни, скользнувшей в ухаб.

Вплоть до пуговиц на пальто,
так что их почувствуешь вес.
Если пишешь картину, то
хорошо бы начать с небес.

Напоить себя – до глубин,
погрузить себя – с головой
в этот легкий аквамарин
вперемешку с охрой живой.

И спускаться вниз, по углам
высветляя плоть черноты.
Остальное – мир себе сам
пририсует для полноты.

Воин

На путях непролазных, дорогах кривых
там, где страхом туманится взгляд,
каждый – воин единственный в стане живых,
каждый – раненный жизнью солдат.

Он идет по наитью, надеясь: не лжёт
сердце и, обходя полынью,
как открытую рану в груди, бережёт
он военную тайну свою.

Ибо жизнь – эта битва: следить свысока
мировой оголтелый бедлам,
тут военная хитрость – не брать языка,
партизаны по вражьей тылам.

Но вести затяжные, как ливни, бои
с сонмом ангелов падших, едва
отбивая у вестников смерти свои
силы, помыслы, чувства, слова

А не то, словно в царстве теней, наяву
сын отца не узнает, и мать,
как чужая старуха, не веря родству,
просто мимо пройдет помирать.

* * *

Больной стонал и корчился в ознобе,
летел в провал и знал, что умирал,
и, как зародыш, запертый в утробе,
колени в подбородок упирал.

И, наконец, сжимая в крест нательный,
он возопил:
– Зачем Ты одного
меня оставил в этот час смертельный?
Да есть тут кто-нибудь? Иль – никого?

И вдруг, как будто голос за спиною,
шум ветра иль бегущая вода,
и слышит он:
– Я рядом. Ты со мною.
Ты не один. Но смотришь не туда!

Он оглянулся мысленно и все же
увидел въяве, что стоит за ним
на свой иконный образ не похожий,
но явно – ангел или херувим.

Повис, как бы эфир, сгустившись тучно, –
по контуру подсвеченный предел...

И повторяет:
– Здесь я неотлучно.
Не жалуйся! Ты не туда глядел!

И в этой ветхой плотяной одежде
из мышц и кожи – небу, пустырю –
в глубь обступившей тьмы кричу:
– Я – тоже!
Прости меня! Я не туда смотрю!

* * *

Берёт беспрекословной дланью
и властно поперек и вдоль
эстетизирует страданье
и приукрашивает боль.

И тех, кто поддается храбро,
сияньем манит звездопад,
влечет гармония макабра:
в аккорде слитый звукоряд.

И в этой мрачной круговерти
блаженные блуждают сны.
И воля к жизни с волей к смерти,
как двухголосье, сплетены.

Перед грозой

На горячем июльском ветру
я сушиться повесила платье,
и сквозняк с ним затеял игру,
рукава расправляя в объятье.

Трепетала, шуршала листва,
и трубили едва ли не басом
три сосны, подбирая слова
и пугая особенным часом.

И, заслышав условный пароль,
тотчас сад изменил поведение,
отведенную нишу и роль,
слух, окраску, привычное зренье.

Забурлило, вскипело вокруг
и разбрызгало птичью тревогу.
Это ветер отбил от рук,
и грозе он готовит дорогу.

Словно стол на помосте кривом
мир шатается, свет покачнулся.

Платье машет пустым рукавом,
и подол его ветром надулся.

...Реализм от земных пузырей
не спасет, будь хоть трезв и нахрапист:
слово «дактиль» звучит как хорей,
амфибрахий звучит как анапест.

Выбор

Нет, не расскажет он – зевоту
изобразит в тоске хмельной,
как он женился по расчету
на старой карлице хромой.

Как он шпынял, дразнил и тыкал
в ее уродство, сеял страх,
как горечь пил, как горе мыкал
и как остался на бобах.

Он не расскажет... Но в разломах,
в провалах – тёмная вода.
За этот грех, за этот промах
кровь стынет сгустками стыда.

...Всего-то у развилки в поле –
прельщенье, ложный поворот...
Ан нет – лукавый выбор воли
дух травит и по телу бьет.

Максим ЗАМШЕВ

Поэт, прозаик, критик. Родился в 1972 году в Москве. После окончания средней школы служил в Вооруженных силах СССР. Затем окончил музыкальное училище им. Гнесиных и Литературный институт им. А.М. Горького.

Автор десяти поэтических книг и четырех книг прозы, многочисленных публикаций в разных жанрах в России и за рубежом. лауреат литературных премий им. Николая Рубцова, им. Николая Гумилева, им. Дм. Кедрина, им. Александра Грибоедова. Награжден медалями «Защитник Отечества», «За просветительство и благотворительность», медалью Суворова. Произведения переведены на 15 языков. Член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. Член наблюдательного совета литературной премии «Лицей» для молодых писателей и поэтов.

Главный редактор «Литературной газеты», главный редактор журнала «Российский колокол». Живет в Москве.

ПОЛЮБИТЬ БЫ ТАК, ЧТОБ УВИДЕТЬ БОГА...

* * *

Я жду петроградскую зиму,
 Чтоб снова мне саднило горло
 И сны замирали с разбега,
 Чтоб знала ты: невыносимо
 Размешивать старое горе
 С водой, что добыли из снега.
 Я жду, как в гремящем трамвае
 Я смысл обнаружу во фразе,
 Что ты для меня написала,
 И сердце забьётся в щемящем,
 Щенящем каком-то экстазе,
 Которого будет мне мало.
 Я жду петроградскую зиму,
 Чтоб снова в пространство ввинтиться,
 Как штопор заржавленный в пробку,
 И там с проходящими мимо
 На их языке объясниться,
 Прослыв непутёвым и громким.
 Трамвай подойдёт к парапету
 И к ветру прижмётся щекою,
 Не видя, как лёд неспокоен.
 Трамваи не верят в приметы,
 А там уж «Кресты» за рекою,
 Которые без колоколен.

* * *

Улица в окнах шумит, непрерывная,
Солнце играет со звонкими гривнами,
И чаевые щедрей.
Ты уже знаешь, что мы не продержимся,
Что разгуляется Русь Самодержная,
Как и положено ей.

Киев расставил дома на Владимирской
Так, что под крышами стать невидимками
Вечером хочется всем.
Ты уже знаешь, печалиться некогда,
Мы ещё встретимся раз или несколько,
Не понимая зачем.

Нежность случайная, быстрая, смелая,
Если запомню ничтожные мелочи,
То никогда не умру.
Переведи меня через майданную
Пропасть, не Богом, не дьяволом данную,
Выведи прямо к Днепру.

Чтобы не мучили страхи животные,
Видно, пора воплотиться в кого-то мне,
В бабочку или стрекозу.
До середины? Да что суетиться-то,
Мысли снижаются слабыми птицами,
Думы их ловят внизу.

* * *

То ли полная луна, то ль пустая,
В небе тусклом не видна злая стая.
Хорошо, что не видна – каждой ночью
Эти птицы от вина злые очень.
Эти птицы пьют вино молодое,
И кричат они одно – что-то злое.
Я былинный богатырь из сказаний,
Предсказал я свой конец под Рязанью.
Злые птицы над страной реют снова,
Черти режутся со мной в подкидного.
То ли полная луна, то ль пустая,
Вы со мной об этом лучше не спорьте,
А кремлёвская стена не растает,
Даже если станет кремом на торте,
Не играть богатырям на рояле,
Не стоять поводырям на развале.
Сто столиц уже сменила Россия,
За оранжевым вином нынче сила.
А кондитер приуныл: всё по-русски,
Торт кремлёвский и луна без закуски.

* * *

Поезд стремится во Псков.
В ставке бесчинствует Каин.
Белая кровь облаков
По небосклону стекает.
Скоро семнадцатый год
Глухо, как лампочка, треснет,
Царь непременно умрёт
И никогда не воскреснет.
Белая кровь облаков
Тихо сползает на землю,
Царский терзает альков
Гимн приворотному зелью.
Век проскакал, как листва
Осенью скачет рывками,
Не устаёт голова
Путать себя облаками.
Кто-то снимает кино,
Ложь стародавнюю множа.
Выпьем на станции Дно
То, что на кофе похоже.
Если уж кончится свет,
Белым заваленный снегом,
Верю: вокзальный буфет
Ноевым станет ковчегом.

* * *

В Замоскворечье пусто. Купола
Небесного не различают грома.
И каждая монгольская скула
Здесь чувствует себя как будто дома.
Запутавшийся юноша в углу
Двора смешно грустит о настоящем.
Сухой асфальт, предчувствуя метлу,
Чуть морщится от встречи предстоящей.
У голубя особо ровный лёт,
Он прошлым бесконечно не терзаем,
Мы все попали в этот переплёт,
Как выбраться, мы до сих пор не знаем.
Давным-давно покинутый мной рай
Я не найду – не та уже сноровка.
Теперь одно осталось – ждать трамвай
Там, где была когда-то остановка.

* * *

Не подставляю я щёку,
Не подставляю, прости.
Время моё, как сгущёнка,
Выпусти или впусти.

Помнишь, печальный обычай
Не провожать поезда.
Кровью питаемся бычьей
Ныне и присно. Всегда.
Бьём себя в грудь кулаками,
Рвём на бильярде сукно,
Время моё будто камень,
Брошенный в чьё-то окно.
Листья висят будто сплетни,
Ветер считает до ста,
Бог умирает последним.
Думаешь, это просто?
Утренней вязкой порою
Где бы тепла наскрести.
Солнце – медаль, что героя
Не успевает найти.

* * *

Один человек убегает от жизни,
Другой догоняет её.
Я знаю приправы острее аджики,
Их любит клевать вороньё.
По-прежнему думаем мы, человеки,
Что время растянут для нас.
Но Вий поднимает уставшие веки,
Чтоб Гоголь остался без глаз.
Трясётся от страха осеннее древо,
Предчувствуя гибель свою,
Один человек убегает налево,
Другой его ждёт на краю.
Античные боги заткнули нам уши,
толкнув под божественный душ.
Мы все превращаемся в мёртвые туши,
Бессильные в поисках душ.

* * *

Конечно, мы все скучаем
И думаем не о том.
Конечно, мы всё прощаем
Заведомо, на потом.
Конечно, мы тащим с неба
Всё, что судьба дала.
Конечно, мы жаждем снега,
Чтоб лучше пошли дела.
Конечно, мы примем вызов
И будет противник бит.
А пол до сих пор не высох
Хотя и давно помыт.
Вдоль старых домов и строек
Протянется долгий шов.

Конечно, нас всё устроит,
Что кончится хорошо.
Уже завсегда́тай бара
Прошествовал мимо нас.
Конечно, земного шара
Не хватит ему сейчас.
И высунувшись из окон,
Мы снимем с него вину.
А завтра ударит током
Его и его жену .

* * *

Полюбить так, чтоб кусать губы,
Чтоб смотреть на звёзды, не разбирая,
Геликон с небес звучит или туба,
Я не плачу, но утром вся жизнь сырая,
Я не плачу, но соль разъедает щёки,
Не стреляйте в лоб, подходите сбоку,
Полюбить бы так, чтоб увидеть Бога.
Закрывая дверь, оставляйте щелку,
А когда услышишь: «Зачем, брат мой,
Ты разрушил то, что веками строил?» –
Говори: «Ахейцы не взяли Троию
И Елена сушей идёт обратно».
И мире теперь измерений пять,
А в четвертом из наших сомнений свалка.
Полюбить бы так, чтоб вся жизнь вспять,
Но она и так вспять... Жалко...

Игорь ТЮЛЕНЕВ

Родился в 1953 году в сплавном поселке Новоильинском Пермского края. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького (семинар Юрия Кузнецова).

Автор более двух десятков сборника стихов и сотен публикаций в отечественных и зарубежных изданиях. Книги поэта выставлялись на 25-м Парижском книжном салоне во Франции, на XIII Международной книжной ярмарке в Пекине, а также в Женеве и Дели, Москве и Санкт-Петербурге.

Лауреат многих литературных премий, в том числе Всесоюзного литературного конкурса им. Н. Островского, премии им. Ф. Карима, премии Союза писателей России «Традиция», журнала «Наш современник», премии «Имперская культура» и других. Кавалер ордена Ф. М. Достоевского I степени, награжден медалью «Василий Шукшин».

Секретарь правления Союза писателей России. Живет в Перми.

МНЕ СТАЛО ЛЕГЧЕ С НОШЕЙ КРЕСТНОЙ...

Уральское Крещение

Нам Кама вместо Иордана,
Во льдах пробитая купель.
Я встал ни поздно и ни рано,
Калиткой прищемив метель.

И вспомнил подвиг Иоанна,
Его геройские черты.
И иудейского тирана,
Толпы раззявленные рты.

И с блюдом девку Саломею
С окровавленной головой...
И бесов, чёрной стаей рея,
Зависших над моей страной.

Не думая об их возврате,
Я босоногим встал на лёд.
Когда мы все друг другу рады –
Мы превращаемся в народ!

Прощения спросив у Бога,
Я окунулся в холод вод.
И батюшка светло и строго
Держал крестом над нами свод.

Как будто Иоанн Креститель
На миг предстал передо мной...
Крещённый воскресил Спаситель!
Исчезло блюдо с головой...

Мне стало легче с ношей крестной.
Всё выдержим, ты, брат, не трусь!
Пока восходит над планетой
И звёздами – Святая Русь!

Мороз стоит в такую пору,
Чем легче нам, тем толще лёд.
Сын Божий русскому простору
Свою десницу подаёт.

* * *

Князю А.М. Горчакову

Опять завещанное море
Целует Русская Земля!
Крым за спиной, и в пене спора
Всплыла турецкая зола!

Кораблики смешные НАТО
Отскакивают от границ,
Как мячик теннисный... Не надо
Нам крови и чужих столиц.

Вам было, Горчаков, полегче,
Вы были просто поумней...
Но дураков не стало меньше,
А тёмных сил в сто раз темней!

С Европою противоборство
Не кончится и в этот век.
Но Правду Божию с упорством
Взыскует русский человек.

Шукшин

На Новодевичьем калина,
Как Русь прижалась к Шукшину!
Шагает русская равнина,
Чтобы отбить поклон ему...

Его душа в небесных сферах
Хранит суровые слова,
Не для московских маловеров –
Банкира и ростовщика...

Он жил, «перо макая в правду»,
Служил народу своему.

И кирзачи сидели ладно
На мужиках в моём роду!

Я точно видел с гор Уральских,
Как вдоль Пикета облака,
Как струги Разина по-царски
Бросали тень на берега...

Тень словно плат накрыла Сростки,
Храня гнездовье Шукшина.
А под калиной у дорожки
Седлает паренёк коня.

Калина красная такая
И паренёк простой такой,
И в окна машет Речь Родная,
Как мать в «Калине красной» той!

На лодке

Господи Боже Ты мой!
Вырвется неосторожно.
Это Россия весной!
Можно подплыть к тебе? – Можно!

Мама открыла глаза –
В озере небо зеркально.
Хоть и ушла навсегда,
Смотрит светло и печально.

Снизу на небо смотрю,
Латаю незримые fleши,
А повернусь к букварю
Буквы там русские – те же.

Анастасия БЕЗДЕТНАЯ

Родилась в 1996 году в Ярославле. Окончила Московский издательско-полиграфический колледж им. И. Фёдорова.

Публиковалась в журналах «Нижний Новгород», «Дружба народов», в журнале ИМЛИ РАН (научная работа «Достоевский и мировая культура») и других изданиях. Лауреат международного литературного конкурса «Всемирный Пушкин» в номинации «Поэзия» (2019). Участница слёта молодых литераторов в Большом Болдине, литературного содружества «Светлояр русской словесности». Живёт в Нижнем Новгороде.

САД ИМЕНИ ЛЮБВИ

С посвящением указанным и не указанным в подборке собеседникам

Ветхому фонду Нижнего Новгорода в соавторстве с Арсением Тарковским

На улице, молчу на перекрёстке.
Пусть дух не вечен, как и век не вечен,
Пусть с виду ветошь в тлеющих обносах, –
Я старожила, здешняя предтеча.
Весь день прохожие туда-сюда снуют,
Которым я могла бы дать приют.

Мой путь, похоже, близится к закланию,
Сквозь тление предчувствую поправление:
Мне страшно, что меня переберут
И до хребта переиначат, переврут,
Снесут в небытие без отпевания.

Жизнь без жильцов –
Кошмарный долгий сон,
Никто не слышит, как в нутре пустом
Рождается гнилой предсмертный стон –
Живите в доме – и не рухнет дом!
Разруха и неотвратимый крах
Преобразятся в любящих руках.
Живите в доме – и не рухнет дом,
Живите в доме. И не рухнет дом.

Дмитрию Кузнецову

Я говорила матушке трясине,
Что за собой тебя не потяну,
Но ты тонул, нырял в свою вину,
Ходил по тропам стопами босыми,
Не зная, чем придётся расплатиться.
Болото памяти разъело сны и лица,
Пиявцы под лопатками дрожат,
В глазах изба из сказок полыхает.
Ты иноземец, еретик, чужак,
Я утопаю в том, что я плохая,
И мироточит тьма из-под ножа.

Алине Гребешковой

По-чаячьи откликнется – своя!
Перебираю строчки Гребешковой,
Подумаю, потом пойду по новой,
Как в тамбуре – курить, смотреть, стоять,
Не в силах окончательно понять,
Не в силах победить условность слова.

Так в поезде – закат промчался мимо,
Запомнился слепящим и незримым,
Давно уже и след его простыл.

А ты стоишь, глотаешь вязкий дым,
Отмеченный, как чистый лист, красивым,
но беспощадным почерком с нажимом.
Отмеченный и восхищённый им.

Маргарите Дородновой

Сидим так давно, что уже не спешим,
Я двери и окна открою без спроса,
Пока увязают бездвижно колёса,
Не в силах свой путь наконец завершить.
Так я ухожу, не касаясь машин
И их пассажиров, застывших напрасно
Без шанса уйти и сменить направление
От пункта «рожденья» до точки «истленья».
По воздуху горькому тенью атласной
Скользить, ощущая, что время подвластно
Движенью.

Евгению Мартынову (ученику, адресату) и Марине Кулаковой (наставнице)

Но я давно, давно тебя листаю,
смешной корявый почерк (как и мой)

казалось бы – иди, как по прямой,
как от вокзала в нежное «домой»,
казалось бы, – система-то простая.
Открой тетрадь и задержи свой взгляд,
Читай с конца, читай не всё подряд,
Читай и не пытайся увильнуть!
Но взгляд скользит, не понимая слова,
Листаю, перелистываю снова,
Вожу по скану лезвием курсора,
И снова не улавливаю суть.

О, мне бы спать, а не в бреду уснуть!
Деревья голые (во мне клокочет ужас),
Застывшие лишь за секунду «до».
Я просыпаюсь с тяжестью, с трудом,
Встаю и с тем, что есть, иду наружу.

Ношу с собой авоську, в ней зарядка,
Твоя тетрадка. Рядом ты незримо,
Весь путь со мной, – но почему-то мимо,
В другую сторону. Бесперебойно кратко,
Как наспех сделанный на плёнку фотоснимок.

И под стопой мощёная дорога
Приобретает форму. Форму слога.
Я (как могу) фиксирую свой путь,
Доподлинно не понимая суть,
Но до остатка доверяясь Богу.

Ты пишешь мне, и я сажусь ответить,
Вылавливая неводы и сети
Из твоего разлива языка,
Считаю рыбок, но не разбираю,
Не дожидаясь просьбы, – отпускаю
И не желаю ничего пока.
Я возвращаюсь к своему корыту,
Которое практически разбито
И мной надёжно ото всех сокрыто.
Смотрю в него. Спокойны облака,
Гонимые гиперборейским эхом.
Я заедаю голод нервным смехом,
И шлю поклон тебе издалека.

Сергею Михееву

Соорудила коробочку для печали,
Ты не поверил, смеясь пожимал плечами,
Звенья звенели, как стайка чужих бокалов,
Ты говорил, и коробочка перестала
Существовать, и в какой-то момент общенья
Я опалила ресницы в огне смущенья.
Магия чревовещания, убеждения,

В чью-то чужую шкуру перерождение
Осуществилось, дурацкое заклинание,
Агнец небожий выходит на незакланье,
Голос дрожит,
Время бежит,
В коробочку кожа
Сложена.
Ожидание,
Приращение
Невозможного.

Я не сержусь и не ною, вполне оправилась,
Снова ношу всё в коробочке для печали,
Я всё равно никому без неё не нравилась
В самом начале.

Наталье Лужбиной
и Дмитрию Померанцеву

Мне нравится мой опыт бытия
И то, как отметаются шаблоны:
Покинут угол старые иконы,
Минуя теорему жития,
Минуя аксиомы и пространства,
Которые идут из головы.
Меня тошнит быть с опытом на «вы»,
И хочется преисполняться в пьянстве
И ничего вокруг не замечать,
Чтоб зеркала души, как алыча,
Которую сорвать и не смотреть,
Пока всё громче, громче, громче медь
Над ямою моей звучит, до дна
Вибрации мне посылая. Кости
Сложите. В саван их потом забросьте,
И с яблочек гнилых ворон прогнать
Не позабудьте, ибо на одре
Отнюдь не место вёдрам, только урнам.
И вам при ретроградности Сатурна
Полезно помнить, чем мой сон согрет:
Здесь и сейчас – движеньем разложения.
Прозрение похоже на прожженье,
Но только так возможно видеть свет.

Любе Калининой (маме)
и Артёму Филатову (соавтору проекта «Сад им.»¹)

Я доверяю тайную тоску
Твоим ладоням, твоему виску,

¹ Проект «Сад им.» – уникальный арт-объект, ботанический сад со звуковой инсталляцией на территории Нижегородского крематория.

Твоим глазам до ужаса слепым
И волосам навечно не седым.
Я посвящаю сад – им.

Весь колумбарий, каждые стебелёк,
Меня наставит, выскажет упрёк,
Заговорит движением любым,
Заставит мир однажды снова быть живым.
В моих глазах сад – им.

В моих слезах вновь дым,
В моих слезах ад льдин,
Моим слезам немым,
Моим немёртвым родным, –
Я буду строить сад им.
Я буду строить сад нам.
Я буду строить свой храм,
Где можно быть молодым,
Не покидать головы,
Где ты пока ещё сам
Вверяешь жизнь небесам,
И не бываешь больным.
И не бываешь большим.
И как тебя не зови,
Ты не покинешь сад им.
Любви.

*(Калинина Любовь Васильевна: посвящено растение: щучка
дернистая)*

Проза

Александр ЛОМТЕВ

Родился в 1956 году в с. Пуза (ныне Суворово) Нижегородской области. Работал инструктором служебного собаководства, киномехаником, мастером по сложной бытовой технике, электромонтером, корреспондентом газеты. Окончил Арзамасский государственный педагогический институт. Как журналист, специализирующийся на горячих точках, неоднократно бывал в Чечне, Приднестровье, Абхазии, Косове, Южной Осетии.

Прозаик, публицист. Автор ряда книг и публикаций в России и за рубежом. Лауреат премий «Патриот России», «Золотой гонг», «Серебряное перо», международного литературного конкурса имени А. Куприна, премии Союза писателей России «Имперская культура» им. Э. Володина.

Член Союза писателей России. Живёт и работает в г. Сарове Нижегородской области.

ХРОНИКИ УХОДЯЩИХ ВРЕМЁН

(Из цикла «Простые люди»)

Остановка

Господи, сколько же я здесь не был? Лет сорок? Я совсем другой, а тут все по-прежнему. Только деревья стали повыше, а стволы их потолще, а дорога, что была проезжей, теперь брошена, и поворотный круг – конечная автобуса 3 «а» – почти зарос полыньей и крапивой. И что это нас тянет в места, связанные с детством, словно убийцу на место преступления? К этим дворам, скамейкам и сиреневым купинам за облезлыми штакетниками, к этим тропинкам, среди миллионов следов которых давно стерлись наши следы; никто и ничто нас здесь не помнит и не ждет, но память никак не желает смириться с потерей.

...Автобус останавливался, заставив качнуться плотно стоящий народ, замирал у таблички «Остановка», и двери с шипеньем удава открывались. Если кондуктором была Матрёновна – полусумасшедшая пожилая тётка, – пассажиров ждало небольшое развлечение: Матрёновна бросалась открывать автоматические двери руками, поскольку всю жизнь работала на старых автобусах, в которых двери за специальный рычаг должен был открывать кондуктор. И сколько ей ни объясняли, что двери теперь открываются сами, она все равно бросалась их раздвигать, и тужилась, и сердилась: вот, сволочь, тугие какие!

Если пойти вот этой совсем ветхой асфальтовой дорожкой, придешь к реке. В реку и сейчас смотрится старая колокольня. Правда, теперь

вместо телеантенны над ней крест, а неподалеку вместо зеленых финских домиков среди сосен поднялись над зелеными кронами красные многоэтажки. А если идти в противоположную сторону, придешь к синему штакетнику детского сада, куда, собственно говоря, и водил меня каждое утро отец... Ни детского сада, ни тем более штакетника теперь нет. Все-таки меняемся не только мы, но и те места, что казались нам когда-то незыблемо вечными.

«Санька, на какую букву начинается слово «остановка»? На «О». А почему же на табличке написано «А»? Действительно, почему? Дурак, потому, что «автобус», вот почему! А-а...»

Табличка совсем заржавела, краска мелкими струпами кудрявилась кое-где по жестяной плоскости, но при желании все еще можно было разглядеть неверные очертания большой буквы «А». Прямо от посадочной площадки в лес уходила живописная тропинка, над которой шатром смыкались ветви кленов, тополей и лип. Оттуда пахло сырой травой, мхом, ежами и еще чем-то таинственно неведомым, там сквозь мягкий прибой листвы под ветром свистели невидимые птицы. И мне все время хотелось туда, в этот зеленый призрачный сумрак, но отец упрямо вел меня мимо тропинки, мимо окраинных финских домиков, к знакомому синему штакетнику детского сада...

— И вот она, эта женщина, вышла с девочкой из автобуса и пошла не по тротуару, а в лес...

Я сижу в зарослях сирени под ограждением веранды: ребяташки играют на площадке — кто с мячом, кто с куклами, двое мальчишек ссорятся из-за большого зеленого экскаватора, а на меня нашла блажь забиться в укромное местечко и помечтать. К нашей воспитательнице пришла воспитательница из соседней группы, и они, опершись на перила веранды и поглядывая каждая за своими, не замечая меня, азартно шепчутся громким полусшепотом.

— А шофер еще обратил внимание, чего это она с утра в лес, если и детский садик в другую сторону, и речка в другую, а в лесу ни грибов, ни ягод. Да и девочка маленькая совсем еще.

— Ну, и...

— Ну, и решил постоять. Конечно, график, и нагоняй мог получить, но вот, видимо, предчувствие у него какое-то...

— Ну, ну...

— Ну, смотрит, а она вся не своя, возвращается одна, садится в автобус с вытаращенными глазами и сидит, как мумия.

— А шофер?

— А шофер выскочил из кабины да как побежит в лес по тропке-то; смотрит, а там... — мне становится холодно в моей июльской сирени. — А там девочка-то и висит на дереве повешенная!

— Боженьки ж вы мои!

— Но он ее успел снять, пока она еще не до самой смерти задохлась. Легонькая, шейку-то ей не до конца затянуло...

— Я бы этой злыдне все зенки повыцарапала — родное дитя повесить! Это что ж за времена настали...

— Нагуляла она девочку-то безмужняя, вот, говорит, люди вокруг, родня попреками и довели. Говорит, и сама отравиться потом хотела. Правда, и таблетки какие-то при ней вроде бы нашли. А девочка в милиции и говорит: мама, мол, веревочку на шейку повязала, играть, говорит, будем, а сама пропала...

– Да-а-а...

Я сидел в кустах под верандой ни жив ни мертв, оглушенный свистящим дуэтом воспитательниц, и постепенно начинал понимать о мире что-то другое, чего не знал до сих пор; что-то большое, грозное и неумолимое. Наверное, я впервые почувствовал, насколько беззащитен и одинок на свете человек, если даже родная мама может...

У стояка, к которому крепились табличка остановки, прямо через отверстие большого колесного диска, врытого вместо станины, проросла рябина, может быть, поэтому ржавое железо, спрятанное в ее листве, и уцелело от исчезновения в недрах «цветмета». Асфальт тротуаров тут и там пробила всесильная зелень, от поветшавших, но сохранившихся еще финских домиков доносился собачий лай. В плотной стене зелени не было даже намека на живописную тропинку, уведившую когда-то мое воображение в лесной рай с ежами, папоротниками и неведомыми птицами. А ветер по-прежнему шумит и шумит в плотной листве, как шумел сорок лет назад, и будет шуметь через сорок лет после моей смерти, когда не только о детском садике, об этой пропавшей тропинке, о девочке и ее несчастной матери, но и обо мне самом-то некому будет вспомнить...

Алёшенька

– Да-а-а, Москва – это вам не наша глушь, там культура, – после первой-второй рюмки разговор всегда заходил о столице. И начинал этот разговор старший брат. – Одна архитектура чего стоит! Я уж не говорю о театрах. Когда мы с Анастасией в прошлом году ездили в Сочи, на два дня специально задержались в Москве.

И старший брат долго и подробно рассказывал, какое незабываемое впечатление произвел на них с женой поход в Большой. А Анастасия качала в согласии головой и поддакивала.

Выпивали за Москву, за культуру. Потом и средний брат делился впечатлениями от поездки в столицу. У его супруги в Москве жила родня, и он и сам себя считал едва ли не столичным жителем, хотя и жил в городке почти безвыездно, а курорты полагал баловством и пустой тратой денег. Однако и он много интересного мог рассказать о культурной жизни Первопрестольной. И рассказывал.

Ну, вот просто как в сказке у них случилось: было у отца три сына – два брата умных, а третий – Алёшенька. Как-то не задавалась судьба. У братьев и образование, и жены интеллигентные – библиотечарша и бухгалтерша, а у Алёшеньки – простая швея. Да еще куча детей. Да четыре класса образования. Но что интересно, праздники справлять благополучные братья предпочитали у него, у Алёшеньки. И мать, когда слегла, к старшим братьям не поехала, стала доживать у меньшого.

Да и то сказать, хоть братья и куда как богаче жили, а на столе у Алёшеньки пусто никогда не бывало. Вроде и не было ничего такого, что выставляли братьевы жены, когда изредка праздновали у старших, ни ветчины, ни вин дорогих; однако селедочка тщательно чищенная с луком, да картошечка разваристая, с маслом топленным, толкушкой растоптанная, да огурчики-помидорчики, собственноручно женой

заготовленные, да капуста тушеная с мясом, да квашеная, хрустящая с яблочками мочеными, – все не магазинное, все со своего огорода. А грузди, опять же собственноручно собранные в осенних пригородах, под рюмочку; а пироги под холодное молочко – горячие, пышные, невесомые во рту, да весомые в желудке... Братья ели да нахваливали: эх! как, бывало, в родной деревне у маменьки...

Алёшенька любил такие застолья – и разговоры, и дружные песни, и гостей, а больше всего – родню. Он с удовольствием смотрел на братьев и тайно гордился ими, и их благополучием, и культурой, и умными разговорами про Москву.

Сам-то он в Москве бывал всего два раза. Последний – когда ему неожиданно выделили в профкоме путевку в Судак. Не Сочи, конечно, да еще и в марте, а все ж таки. Тогда у него был почти полный день между поездками, и Москву он посмотрел хорошо. И в трамвае, и в метро покатался, и по улицам побродил, и на ВДНХ побывал, и на Красную площадь, естественно, съездил. Но чем тут похвастаешься. А первый раз и вовсе... Алёшенька вместе со всеми опрокинул рюмочку прозрачной и вдруг задумался. Да-а-а, тот раз не забудется Алёшеньке, наверное, никогда.

Когда в марте их в подмосковной казарме подняли «в ружье», он и представить себе не мог, что произошло. Да что там, все сначала подумали – учебная тревога. И тут сообщили: Сталин умер! Все завертелось, закрутилась, словно во сне. Красная площадь где-то у Василия Блаженного, траурные ленты на знаменах, оцепление. Несколько суток без передышки, несколько суток волна за волной серые человеческие толпы. Еду им тогда проносили в баках дворами, машине не проехать; спали по очереди в кузовах. Такого моря людей Алёшенька больше никогда в жизни не видел. Порой откуда-то из переулков просачивались небольшие человеческие массы, шли на прорыв оцепления – все хотели попрощаться с товарищем Сталиным. Иногда их разворачивали, иногда пропускали, рассеивая.

В день похорон на их участок вдруг вывалилась огромная толпа. Шла она так мощно и неотвратимо, что сразу стало ясно: не устоять. Как же он тогда испугался! Словно в ступор впал. Люди с безумными глазами наплывали лавой, и Алёшенька понял, что его неминуемо затрет в этом человеческом месиве, размажет по кузову грузовика; понимал, а не мог пошевелить ни рукой ни ногой. Но за секунду до того как лава с мощным «Э-э-ххх!» ударилась о грузовики, он почувствовал, как кто-то подхватил его за ворот шинели и втянул в кузов. По гроб жизни с благодарностью будет вспоминать Алёшенька здоровья капитана, что спас деревенского ротозея от верной гибели. И тут началось – вопли, женские визги, скрюченные руки, тянущиеся к бортам качающихся машин. На карачках Алёшенька отполз к противоположному борту, перевесился и его вырвало... Сколько же тогда народу покалечило. Да и погибших, говорят, было немало.

Вскоре после этого их сменили, но в казармы не повезли. Велели почиститься, оправиться, построили и повели в Колонный зал – попрощаться с вождем. Сколько же там было народу, сколько венков и цветов! Алёшенька, кроме деревенской избы да двухэтажного военкомата в райцентре, и не видел ничего до Москвы, а тут такая красота – люстры, лепнина, украшения! Как он задрал голову на все эти красоты, так с задранной головой до выхода и дошел. Батюшки, а Сталин-то!

И снова пожалел бестолкового парня капитан, разрешил с другой ротой еще раз пройти мимо гроба. Тут уж Алёшенька и самого Сталина разглядел, и плачущего старосту всероссийского – старичка Калинина, и хмурого Хрущева, и Маленкова, ой, да кого там только не было... Люди мимо гроба шли, конечно, хмурые, многие плакали, даже фронтовики.

Потом привели их в какую-то гостиницу, и тут кто где, кто в холле, кому повезло – в комнатах, а кто и прямо на лестнице, – вповалку повалились и часа три отдыхали. А потом покормили их очень сытно и уж тогда – в казарму. Да уж, было дело...

– Алексей, а ты ведь тоже в Москве бывал, – сказала вдруг жена среднего брата, – понравилась тебе столица?

Алёшенька словно из пруда вынырнул из своих воспоминаний, улыбнулся:

– Как же Москва может не понравиться? Понравилась. Я где только там не был... Там недалеко от Казанского, ну, если из главного входа налево и потом по переулку, отличная закусочная есть, – Алёшенька, уже начиная говорить, понял, что не то говорит, да остановиться уж не мог. – Сосиски там... дешёвые, а вкусные...

Гости стушевались, но заулыбались, старший брат загремел бутылкой, разливая по рюмкам. А братьёвы жёны переглянулись иронично – «Алёшенька», мол...

Пели песни, вспоминали родную деревню, ставили детишек по очереди на табурет – читать стихи, Алёшенька играл на гармошке. Разошлись, как всегда, за полночь, когда соседи стали деликатно постукивать по батарее...

Ночью Алёшеньке приснился товарищ Сталин. Он поднялся из гроба, подошел к оробевшему Алёшеньке, положил ему на плечо тяжелую руку и, обращаясь к пришедшим проводить его в последний путь соратникам, сказал:

– Вот на таких простых солдатах держалась и держаться будет наша советская Русь!

И все бурно захлопали.

Алёшенька проснулся с совершенно пересохшим горлом. Он поднялся, на цыпочках прошел на кухню и прямо из-под крана напился ледяной воды. На обратном пути заглянул в комнату к сыновьям. Ребятишки мирно спали, младший, растряхав губёнки, тихо посапывал и улыбался чему-то во сне. Сердце Алёшеньки наполнилось влажным теплом. Васенька, младшенький, любимый...

Коротко о любви

Вася и Тоня жили в общежитии. Жили не расписываясь. А зачем? Детей у них пока не было, да не очень и хотелось. Пока молодые, надо погулять. Ну и гуляли. То Вася самогонки из родной деревни привезет, то Тоня водочки с пивком купит с аванса. Не сказать, чтобы уж очень пьянствовали, все же работали оба. Он – дворником, она – продавцом в киоске. На жизнь хватало. Но выходные – святое. Как в выходные не гульнуть? Да что же еще делать? Не книжки же читать, смешно, ей-богу.

Ну, иногда ссорились, дрались даже. Но потом мирились.

Однажды Вася застал Тоню в комнате с чужим мужчиной. Раньше времени с работы вернулся и застал. Мужчину он побил и выгнал, а Тоню стал душить. Очень уж разозлился: мало того что чужого мужика в дом привела, так еще и пила с ним водку, которую они на праздники припасли. Вот это коварство особенно разозлило Васю.

Когда Тоня перестала кричать и дрыгать ногами, Вася оставил ее лежать на полу, а сам сел за стол допивать недопитую праздничную водку. А поскольку с горя он открыл и еще одну бутылку, то когда в комнату вошла милиция, он уже мирно спал.

Отелло из Васи не получился. Тоня оказалась живучей. В больнице ей слепили на шее гипсовый ошейник и сказали, что два пострадавших позвонка заживут через полтора месяца, а пока придется ходить так.

Васю продержали в милиции три дня, а потом отпустили под подписку о невыезде. Теперь он каждый день ходит к Тоне в больницу, приносит яблоки и безалкогольное пиво, чешет ей под гипсом шею карандашом. Она его простила. И он ее простил, все-таки они любят друг друга.

Юра

Юра влюбился заочно. Влюбился в голос. Кто-то привез из города кассету, Юра послушал, и сердце его сладко заныло. Чистый высокий девичий голос пел песенки на незнакомом языке, и Юре представлялись нездешние, обязательно южные, обязательно солнечные и морские края.

Юра носил кассетник с собой повсюду. Пойдет на двор поросят кормить – кассетник на плечо, и неведомая девушка превращает свинок в каких-нибудь капибар; идет за дровами для печки, а вместо петуха попугай кричит с пальмы, печку растапливает, а в треске поленьев голоса южных цикад...

Юра очень хорошо представлял себе неведомую певицу: худенькая, с копной смолых волос, тонкие руки и ноги, улыбка белозубая на загорелом лице. Маленькая, но голосистая!

Витя мечтал накопить денег и съездить за границу. У них в Березовке еще никто не был. Ну, из оставшихся; из тех-то, что уехали и только навещают иногда своих стариков, уже многие ездили. Рассказывают – заслушаешься. Теперь, говорят, за границу просто, не как при советской власти, были бы деньги. Если бы Юра уехал в свое время в город, может, и он давно бы уж съездил куда-нибудь в Грецию или в Турцию. Да не случилось уехать-то, школу не закончил, вот и приходится теперь скотником в соседнем селе. Там хоть телевизоры работают, а тут, в Березовке, ни одна антенна не ловит.

Да ничего, Юра еще молодой, всего-то двадцать пять, может, еще и школу закончить удастся, в райцентре раньше вечерняя школа была, может, работает еще... Но сначала денег накопить и за границу съездить. Втайне Юра вдруг поверил, что может там встретить эту худенькую девушку с чистым высоким голосом. А там, вдруг... Юра даже мотал головой и кричал на грязного хряка:

– Чо вылутился, я те поподслушиваю! Ишь, какой...

Конечно, вряд ли, да и кто он такой... А все ж таки отчего бы и не погрезить.

Но закончилось всё страшным разочарованием. Юра даже расхотел ехать за границу и поступать в вечернюю школу. Зачем?! Если всё так...

В общем, приехал погостить одноклассник, привёз, как положено, бутылочку, да не одну. Юра на стол сальца метнул, картошечки, грибов собственноручно собранных и засоленных. Пили, вспоминали школьные проказы. Когда похорошело, Юра затянул:

– Джама-а-айка, Джамайка...

Приятель засмеялся:

– Надо же, чего вспомнил, ностальжи...

Юра не понял, но спросил:

– Как ты думаешь, сколько ей лет?

– Кому ей?

– Ну, ей, которая Джамайку поёт?

– Да эту песню пацан пел когда-то, мальчик – Робертино Лоретти.

– Да нет, погоди! – Юра вскочил, снял с полки кассетник, включил. – Вот, послушай!

– Ну да, – засмеялся одноклассник, – это мальчишка. То есть это он тогда, лет тридцать назад мальчишкой был, а сейчас уж мужик – старый и толстый, ресторан у него в Италии. А ты думал, баба поёт?

И тут Юра вдруг понял: голос действительно мальчишеский. Невыносимая печаль снизошла на его душу, и он налил себе полный стакан. И выпил. И еще налил...

А утром, когда проснулся с гудящей головой и тоской в душе, вытащил из магнитофона кассету, вышел на крыльцо, размахнулся, зашвырнул кассету в бурьян за забором и пошел кормить свиней.

Кострыкин и поэзия

Воскресенье начиналось совсем обычно. За окном утренний зимний сумрак, снег и царапанье голубиных когтей по карнизу. За стеной малолетний сосед по случаю выходного дня и отсутствия родителей врубил что-то рэповое. Кострыкин повалялся в постели, выкурил сигарету и поплелся умываться и чистить зубы. Поедая яичницу, Кострыкин привычно думал: «Зачем живем? К чему стремимся? В чем смысл жизни?» С чашкой чая он присел на подоконник, выглянул в окно своей замызганной хрущобы. В свете разгорающегося дня во дворе скучали заснеженные машины, качели с пушистой шапкой на сиденьях, ранние прохожие семенили по еще не расчищенным дорожкам. Голуби, спугнутые с карниза, перелетели к другим окнам, с надеждой поглядывая на Кострыкина. «Все то же, – думал Кострыкин, – зима, неуют, холод... Как же все это надоело!» Вдруг чашка замерла в его руке, он застыл и закатил глаза. Потом поставил чашку на подоконник, вскочил, подбежал к телефонному столику и схватил блокнот. Снова на секунду замер и быстро принялся писать:

На улице – февраль,

И то же – на душе.

Несветлая пора

Наскучила уже...

Кострыкин вдруг почувствовал необычайный прилив радости. «На улице – февраль, – шептал он медленно и выразительно, – и то же –

на душе...» Ну ведь здорово же? Конечно, здорово. Радость ощущалась так явственно, что ему хотелось запеть, закружиться по комнате. Однако Кострыкин вовремя вспомнил, что ему не то чтобы уже почти сорок, а все же далеко за тридцать, и скакать в трусах по комнате как-то не солидно.

В общем, совершенно обыденно начавшийся день заиграл новыми красками, пообещал что-то новое, что, может быть, круто изменит жизнь.

Не натягивая штанов, он принялся ходить по квартире, пытаясь войти в мелькнувшее состояние вдохновения, принялся бормотать строчку за строчкой, подыскивать рифмы, не выпуская из поля зрения блокнота с первыми строчками. Азарт и вдохновение постепенно таяли, но не таяло, а, пожалуй, и разгоралось жгучее желание написать шедевр.

Однако день перетек за полдень, а дело дальше не сдвигалось, как Кострыкин ни тужился. Но он так сильно хотел вновь испытать это сладкое чувство озарения, вдохновения, что готов был мучиться еще хоть целый час. Да что час – день! И муки творчества поначалу даже показались приятными, ведь муки эти обещали счастливый просверк в сознании, который позволит прибавить к первым четырем строчкам еще четыре, еще, еще, а там, глядишь, и выльется дело в полную поэму! Загрезился Кострыкину лавровый венок, творческое выступление в городской библиотеке, и даже где-то в самом мозжечке шевельнулся крохотный червячок и заскрипел: «Нобелевсская пррремия...»

Конечно, работал-то Кострыкин рубщиком мяса, ножом и топориком орудовал мастерски, можно сказать, виртуозно, что и позволило ему безбедно пережить страшные девяностые. Но мясо мясом, а душа – душой! Недаром играл когда-то Кострыкин в школьном театре и лучше всех в классе декламировал стихи. Вот оно когда проявилось – неосознанное призвание души! Вот так живешь, живешь, а талант в тебе растет, растет, силу набирает и вдруг – раз!словно зеленый побег сквозь грубый асфальт – к солнцу, вот он я!

Кострыкину стало страшно, а вдруг росток этот так и не сможет пробить заскорузлый асфальт его мясницкой души! Он еще быстрее забегал по квартире, бормоча совсем уж какую-то несурязицу.

«Нужно расслабиться, – решил он, – отвлечься, не заикливаться...» Кострыкин быстренько оделся и, стараясь не расплескать в себе еще теплящееся утреннее состояние, отправился к школьному другу Володьке, благо жил тот в соседней хрущобе...

Володька прочитал строчки на вырванном из блокнота листочке и сразу все понял, поставил диагноз и задумался всего на секунду.

– Нужно расслабиться, то есть выпить, – уверенно выдал решение Володька и достал из сливного бачка в туалете спрятанную от жены бутылку. Выпили. Поговорили о юбилейном Гоголе. Выпили еще. Поговорили о Пушкине. Бутылки, как всегда, не хватило, и Кострыкин сбегал. Обсудили проблему: писал Александр Сергеевич срамные стихи или не писал? Решили, что мог и написать. Но мог и не писать. Потом Володька, желая блеснуть познаниями, выудил из памяти интересный факт:

– Между прочим, песню, которую Никита Михалков поет в фильме «Жестокий романс», написал индийский йог Рабиндранат Тагор. Представляешь, индийский йог для наших цыган песни писал!

– Он не йог, – возразил Кострыкин, покопавшись в памяти.

– Йог, – настаивал Володька, – это в книжке «Двенадцать стульев» написано! Сам читал.

– Да нет! – окончательно вспомнил Кострыкин. – Это был сын Рабиндраната Тагора! Сын. И не в «Двенадцати стульях», а в «Золотом тельце».

– Ну, если сын йог, – логично предположил Володька, – то и отец йог, у них там по-другому никак нельзя, там же кастеты. То есть, тьфу – касты! Уж если ты слесарь, то и детям, и внукам, и правнукам только в слесаря!

Стихи прочитали несколько раз, Володька совершенно не сомневался – талант! Явно! Однозначно! На этот раз в магазин побежал Володька...

Бегали ли еще, что обсуждали, когда и как Кострыкин возвратился домой, он не запомнил. Воскресенье закатилось стремительно.

В понедельник Кострыкин хмуро рубил мясо и мучительно вспоминал, что же это такое было в воскресенье? Что это так обрадовало и взвинтило его? К Володьке идти не было никакой возможности, у того вернулась из поездки в родительскую деревню жена Люська. А она очень не одобряла, когда Володька с Кострыкиным выпивали больше одной бутылки...

На листочек с четырьмя строчками Кострыкин наткнулся в апреле, когда убирал в шкаф зимнюю куртку. Он прочитал написанное, помолчал, потом мелко-мелко порвал листочек и выбросил его в форточку. К обрывкам метнулись было обманутые голуби, но тут же опомнились. «Голубей баснями не кормят», – ухмыльнулся Кострыкин. В душе его сладко плавилась печаль. Он знал, что не напишет больше ни одной стихотворной строчки.

Друзья

Утром главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью Сидоров вскочил как оглашенный: проспал! Так не хотелось вставать, но бухгалтер по-быстренькому собрался, обжигаясь и давясь, залил в себя стакан горячего чая под бутерброд с копченой колбаской и совсем уж побежал на работу, но тут жена из спальни крикнула:

– У тебя халтура, что ли? Ты надолго?

– Какая халтура, – удивился Сидоров, – планерка через десять минут, опаздываю!

– У вас уже и по воскресеньям планерки? Совсем уж с ума сошли.

– Как по воскресеньям, сегодня разве не понедельник?

– Пить надо меньше! – буркнула из спальни жена, хотя прекрасно знала, что ни вчера, ни позавчера, да и уж недели полторы Сидоров не прикасался, поскольку писал квартальный.

В общем, бухгалтер разделся и снова спать завалился. И приснился ему странный сон. Словами описать трудно – одни чувства. В последнее время частенько стало ему сниться что-то непонятное. Иногда бывает: во сне прямо буря в душе, «Гамлет», а проснешься – чего волновался-то? Непонятно. Вот и сегодня приснилась мысль (вот уже странно – мысль приснилась!): сколько хороших людей ушло и никогда не вернется. Кто умер, кто уехал, с кем-то рассорился.

Уже проснувшись и лежа с открытыми глазами, бухгалтер принялся вызывать в памяти одного за другим всех хороших людей, с которыми сталкивала его жизнь. Во-первых, конечно, родители. Ну, между собой ссорились они жутко. Особенно в последнее время, когда отец, уйдя на пенсию, запил. Но ведь его-то любили. Да к тому же разве виноваты они в том, как сложилась их судьба. Из-за него же и не развелись. Человеком вырастили. С умилением бухгалтер вспоминал, как отец для него, шестилетнего, из обычных досок смастерил настоящие лыжи. На покупные денег не было, так сам сделал и даже концы смог загнуть. И мать отца не бросила, когда тот тяжело заболел, тянула его, беспомощного, до последнего. Может, и умерла раньше времени из-за того... Бабушка с дедушкой... Дед-фронтовик... Учительница математики, прямо классическая, как из анекдота, – Мариванна. Он один из всего класса, наверное, понял тогда ее слова о математике: это целая страна, а циферки – живые, и у каждой своя жизнь. Один плюс два равняется три. Ну, как семья – двое сошлись, и в результате вот он – третий, будущий главный бухгалтер большого предприятия, хоть и ООО. Потом – Миша. Вытащил его из полыньи. Мог и побояться, но не побоялся. И хоть был старше, а подружились. Очень. А вот судьба развела. Сел Миша за фарцовку, а отсидев, в город не вернулся и пропал из виду. А за что сидел человек? Купил подешевле, продал подороже – вся страна сейчас так живет. А жизнь человеку поломали... Бухгалтер лежал в постели, слушал, как поднявшаяся жена гремит кастрюльками на кухне, и все вспоминал, вспоминал, и печаль масляно плавала в душе, подступала к глазам солененьким, щекотала в носу.

И вот что еще грустно – с годами новые друзья появляются все реже, все реже с по-настоящему хорошими людьми сталкиваешься. Или сам хуже становишься? Или строже? Или видеть перестаешь? Вот от этого так печально и стало во сне, так тоскливо – хоть плачь. А главное, что делать? Жизнь так устроена, и ничего ты с ней не поделаешь... Судьба людей сводит и разводит, и делает с людьми все, что хочет, как в греческих трагедиях.

После обеда Сидоров нашел в недрах письменного стола коробку со старыми блокнотами и долго листал заскорузлые от долгого недвижного лежания в темноте книжечки. По книжечкам, по записям выходило, что друзей у бухгалтера было немало. И на «А», и на «Б», и на «В» – почти на все буквы. И подходил Сидоров с этими книжечками к телефону, и маялся у телефона, и снова листал блокнотики...

Но так никому и не позвонил.

Кто-нибудь непременно

Скользко. Очень скользко. Знал бы – сидел бы дома. Василий Егорович остановился у решетки кованого заборчика, ухватился за завиток и стоял, не решаясь шагнуть. Как еще сюда-то добрел. Не заметил спервоначалу, что асфальт покрылся прозрачным ледком. Не разглядел сослепу. Василий Егорович очень боялся сломать ногу. Особенно бедро. Шейку бедра. Поэтому гулял только с палочкой и очень медленно. Когда шейку бедра сломала его жена... Когда же это было? Год назад? Или пять лет? Что стало со временем, совершенно невозможно понять, когда что было. Жена лежала несколько месяцев. Врачи го-

ворили: какая операция в таком возрасте! И тихонько, чтобы Люся не слышала: готовьтесь, шейка бедра в таком возрасте... И многозначительно закатывали глаза. А какой возраст, она на пять лет младше Василия Егоровича. Люся все понимала, но улыбалась Василию Егоровичу: ничего, ничего, срастётся. Василий Егорович запирался в ванной, включал воду и рыдал. Он привык к жене и не хотел без неё. Люся умерла месяца через четыре. Так что теперь Василий Егорович бережется.

Хуже всего в ноябре. То асфальт, то снег, то лёд. А то еще тонкий прозрачный ледок, вот, как сейчас, почти незаметный. Идешь вроде по асфальту, а там лед!

Детей у них с Люсей не было, вот что плохо; и родных не осталось никого на свете. Друзья или поумирали, или вот так же, как он, выби- рались иногда в хорошую погоду во двор – прогуляться от перекрестка до перекрестка. Хорошо, что магазин был в соседнем доме. И еще теле- фон. На телефоне, конечно, приходилось экономить, какая сейчас пен- сия. А все ж, когда прижмет сердце, можно дозвониться до «скорой», а если прижмет душу – до знакомых...

Совсем плохо стало, когда перестали приглашать на завод на празд- ники и юбилеи. Раньше хоть два-три раза в год, а приглашали. Сажали в президиум, давали грамоту, а потом, как положено, за стол. Водочка, бутерброды хорошие, рыба... А теперь что-то совсем не то. Раз летом сам добрался до проходной – не пустили, спросил директора, а ди- ректор уж совсем другой; и завод-то, говорят, продали, московским кому-то. Вот времечко настало – целый завод продали, мыслимое ли дело?!

Что-то совсем перестал Василий Егорович понимать эту жизнь. Ну, как одеваются – это ерунда; молодежь всегда так: чем чудней, тем мод- ней. Сам он, что ли, не распыливал брюки в немыслимый клёш? А вот говорят все больше непонятно; прислушаешься – вроде и по-русски, а ни черта не поймешь. Да...

Ноги озябли. Ходил Василий Егорович в летних полуботинках, а как похолодает, поддевал толстые шерстяные носки. Но весной куда-то спрятал их, да так и не смог вспомнить куда. Можно бы купить новые у бабушек возле магазина, у них не магазинные, сами вяжут, хорошие носки. Но тоже – то забудет, то пенсия кончится.

Вот перчатки попались добротные, подарок. Подарили на заводе, когда еще приглашали, давно, а как новенькие.

Однако нужно было как-то идти, а Василий Егорович все не решал- ся, очень боялся сломать ногу. А если еще и шейку бедра... У Люси был он. А у него никого.

Мимо шли люди – вечер, суббота – кто в магазин, кто в гости, кто так гуляет. Они с Люсей любили гулять; «для моциона», Люся говорила... Машины по улице одна за одной, и все какие-то незнакомые, иномар- ки. Как там его «Москвичок» в гараже, с лета не ходил. Ноябрь самый противный месяц: ни осень – ни зима, холодно и неуютно. Рука на чу- гунной завитушке решетки замерзла и, перехватив тросточку, Василий Егорович взялся за решетку другой, не озябшей, рукой.

Он вдруг с тоской почувствовал, что все вокруг не касается его. Как будто его уже и нет. Жизнь вокруг течет сама по себе, а он стоит тут сам по себе, словно выпал из действительности. Вот пройди сейчас кто-нибудь прямо сквозь него, а он и не удивится. Он зябко передернул плечами. Надо идти, но он все никак не мог оторваться от решетки.

– Вам нехорошо?

Василий Егорович вздрогнул. Повернул голову. Девушка. Смотрит, улыбается чуть озабоченно.

– Что-то случилось? Сердце?

– Да вот... – Василий Егорович запнулся. – Скользко.

– Аа. Давайте руку. Ничего, ничего, я не тороплюсь. Вы ведь из тринадцатого? Я в соседнем подъезде живу. Вы не в магазин шли? Нет? Ну, давайте, потихоньку...

Кружка с горячим чаем согревала ладони, телевизор бормотал что-то про погоду, гудели тихонько батареи, тикал будильник, у соседей плакал грудничок. Василий Егорович смотрел в окно. Из черного неба медленно падали снежинки, вокруг дворового фонаря они красиво вихрились в легком хороводе. Во дворе чёрным по белому бегала и гулко лаяла собачонка. С высоты четвертого этажа она казалась таксой. Василий Егорович вспоминал свою прогулку и девушку и думал: «Да нет, все те же люди... Вроде никому и дела до тебя нет... Но кто-нибудь обязательно поможет если что. Обязательно». И от чая, и от урчащей батареи, и еще от чего-то ему становилось тепло...

Шпион

И чего это я вдруг вспомнил? Среди ночи. Чего только не всплывет из памяти в бессонницу. Да и вспомнил-то словно в тумане, смутно... Странно как-то... В каком же году это было? И сколько мне было лет? Сталин уже умер? Да умер, а Хрущева еще не сняли. Лет пять, что ли?

Каждое лето родители «ссылали» меня в деревню. Сначала я скучал по городу, а к концу лета плакал, когда приходилось уезжать из дедова дома, от деревенских друзей назад в город.

А случилось тем летом вот что. В августе в деревню раз в неделю стал наезжать тряпичник. Такой нестарый мужик на телеге, которую волокла пожилая лошадь. Мужик собирал всякую ветошь, шкуры, стоптанные сапоги, ржавые сковородки, прогоревшие чайники и прочую дрянь, а взамен давал иногда мелкие деньги, но чаще – яблоки, сви-стульки, игрушки, хозяйственную мелочь вроде оселков, спичек, мыла, суровых ниток и стекол для керосиновых ламп. Да сейчас молодые-то и не знают, что такое керосиновая лампа, в кино разве что видели...

И вот сию я как-то вечером с другими ребяташками на крыльце у тети Мани и слышу, как тетя Маня разговаривает с соседками:

– Станный какой-то тряпичник в этом году. В том годе другой был – старый. А этот молодой; и разговаривает по-городскому. Отчего такой молодой – а тряпичник?

– Вот ить и цену толком не знат! – поддержала её соседка. – Как попало рассчитывать. Неправдашный какой-то.

– Вот и муку обещал привезти, – подхватила еще одна тетка, – я шутя попросила, а он возьми и пообещай. Да разве всем муки навозишься!

– И вот что само-то главное, – тетя Маня понизила голос и недовольно оглянулась на наострившую уши малышню. – Все про город спрашивают... Все выпрашивают и выпрашивают...

А город – это как раз тот город, где я жил со своими родителями; город был «секретный», окруженный колючей проволокой, вдоль которой ходили солдаты с автоматами и гавкающей остроухой собакой.

Когда мы возвращались из деревни, в воротах солдат с суровым лицом внимательно смотрел то на фотографию отца в пропуске, то на самого отца, а потом переворачивал талон пропуска и строго спрашивал меня:

– Как тебя зовут, мальчик?

И каждый раз я очень боялся сказать вместо правильного «Саша» – неправильное «Вася» или «Коля». Все в окрестных деревнях знали про секретный город всё – и то, что там огромный подземный завод, что там подземный склад атомных бомб, и что даже аэродром там подземный. Но это свои, советские... А тут...

Сначала соседки долго молчали, раздумывая, а потом одна говорит:

– А когда он обещался-то?

– Дак в эту субботу и обещался. Давайте-ка мы председателю скажем. Как приедет тряпичник, ты, Любаша, попроси его подождать, будто ветошь забыла. Мы его чаем поить станем, а ты в это время за председателем и сбегаешь, а он уж сделает что надо.

Три дня я ходил под впечатлением того страшного разговора, шептался с братьями, и мы даже смастерили луки и стрелы, чтобы помочь, если потребуется, председателю с мужиками арестовывать шпиона. Но так долго тянутся летние дни в деревне, и так много неотложных дел и забот. На дальний пруд карасиков половить со старшим братом сходить надо? Надо, когда еще позволит! Новорожденных щенков у Колькиной легавой суки посмотреть надо? Надо! И в картофельный склад, раскрытый на просушку, проникнуть необходимо, поскольку только там можно голыми руками изловить пудика, а потом посадить его за пазуху и слушать, как он там возится, щиплет кожу на животе и чирикает... В общем, к субботе я про тряпичника забыл!

А субботним вечером в деревне все только и говорили, как бабы у тети Мани в избе шпиона вязали. На закате я сидел на свежем банном срубе на задах бабушкиного дома и, втайне глотая слезы обиды, слушал рассказы очевидцев – тётки Маниных внучков. Слушал настоящую сагу о том, как соседки хитро заманили тряпичника в дом, как председатель замешкался и тряпичник, несмотря на уговоры, а может, и почуввав опасность, собрался уезжать, как бабы набросились на него и связали заранее приготовленными веревками, с помощью которых носят вязанки сена... Как приехали потом военные люди, вызванные председателем по телефону, и забрали связанного тряпичника. А телегу и лошадь оставили в колхозе, только из телеги все переложили в машину-полуторку, даже сено и тряпье...

Потом, гораздо позже, уже когда мне стукнуло лет двадцать, я на каком-то родственном мероприятии – то ли свадьбе, то ли похоронах – спросил тетю Маню, что было с тем тряпичником? Действительно ли он оказался шпионом?

Но тихая, добрая тетя Маня ответила сердито:

– Што ты придумывашь? Какой шпион, эт у тебя детски фантазии каки-то!

Я обиделся, а когда вышел на крыльцо подышать свежим воздухом, вышел вслед за мной дядя Паша – муж тети Мани и, сев рядом на лавочку на том самом крылечке, тихонько сказал:

– Не спрашивай ты ее, не скажет. С них ведь с всех подписку взяли. Разве не понимаешь?

И обида сразу прошла, а на душе стало легче...

Когда советские времена закончились, я всё собирался расспросить тетюшку про тот случай, да всё забывал и забывал... И вот вдруг среди ночи отчего-то вспомнил. И что интересно, и крыльцо, и соседок, и звуки того вечера, да даже запахи помню ясно, как будто все вчера было, а себя и того тряпичника – смутно, словно в тумане. А, может, и правда ничего не было и всё это детские фантазии?

Первый футбол

Ваткин появился в наших краях в середине лета, и спокойное течение довоенной жизни глухой деревеньки сразу же нарушилось. Ваткина прислали из райцентра избачом и учетчиком, и все в деревне сразу почувствовали: этот невысокий, но крепкий и очень подвижный парень спокойно жить не даст.

В избу-читальню, доселе пустовавшую, по вечерам начала набиваться молодежь. Спорили, кричали, пугаясь собственной смелости, хотели ломать церковь, но когда вышли на церковную площадь и увидели стариков и старух с кольём да дубьём, решили повременить.

В первые дни по утрам полдеревни сбегалось к ваткинской избе посмотреть, как тот обливается колодезной водой, а потом делает гимнастику. Гимнастику он делал чудную: ходил колесом, стоял на голове, а в заключение скакал в одних трусах по двору и дико размахивал кулаками. Парням он потом объяснил, что это – английский бокс...

С приездом Ваткина в деревне зазвучало малознакомое слово «комсомол» и появилось новое – «физкультура». Но если в «комсомольцы» шли с опаской (родители не разрешали), то в «физкультурники» гораздо охотнее. Всем хотелось стать такими же ловкими, как Ваткин.

Кульминацией физкультурного движения (а также и его бесславным концом) стал первый в истории Березовки футбольный матч.

О футболе в деревне почти ничего не знали, поэтому поначалу Ваткину пришлось туговато. Большого труда стоило объяснить сапожнику Власу, что такое мяч, еще большего труда стоило убедить игроков не драться за эту круглую штуковину, состряпанную Власом, и не убегать с поля, зажав ее под мышкой.

Парни горячились, забывали правила, не слушали свистка, и, бывало, сам Ваткин отлетал от кучи футболистов, облепивших мяч, отброшенный чьей-то раздраженной рукой.

Тренировки шли целый месяц. И вот, наконец, было объявлено: первая игра состоится тогда-то и тогда-то после пригона стада. Мужики с усмешкой качали головами: «Чем бы дитя ни тешилось...», бабы испуганно толпились по углам: «Чегой-то таперя будет?» Девки со смешками подглядывали из ивняка за футбольным полем, как парни в одних трусах да подштанниках часами, намаявшись до этого в лугах на косьбе, гоняют мяч на последних тренировках.

В день матча над лужайкой, где были поставлены ворота и песком отмечены линии поля, появились флаги и транспаранты «В комсомольском теле – здоровый дух!» и «Наш футбольный ответ акулам империализма!».

Смотреть на футбол идти стеснялись. Баловство! Но как-то так получилось, что «гуляя», «случайно» у поля оказалась почти вся деревня. И когда прозвучал свисток, никто уже не скрывал любопытства. Тем

более что был и совершенно конкретный интерес: кто победит – слободские или запрудовские.

Сначала сидели чинно и тихо, но когда слободские вкатили мяч в ворота запрудовских, из зрительских рядов вдруг раздался бас: «Васька, стервец, еще раз пузырь в ворота пропустишь, домой не приходи, выдеру! Не позорь отца...»

Васька косился на отца и прыгал на мяч, набитый опилками и конским волосом, как голодный кот на мышь.

После этого «болеть» стали громче. А к концу тайма, когда счет сравнялся, покрикивать стали даже старушки.

Страсти разгорелись к середине второго тайма. Колька-Большой толкнул вратаря Ваську, а Коля-Маленький в это время загнал в ворота мяч.

– Нечестно! – завопили запрудовские.

– С судьей не спорить! – орал Ваткин, не заметивший маневра Колек.

– Гол, гол! – кричали слободские.

Воспользовавшись заминкой, запрудовский мужик – кузнец Сидор – выскочил на поле и, злобно пиная мяч, побежал к слободским воротам. Увидев несущегося на него здоровенного разъяренного мужика, слободской вратарь заорал и лег за штангу.

– Го-о-ол! – завопили запрудовские болельщики.

И напрасно надрывался Ваткин, что так нельзя, что гол не засчитан. Кузнец героем возвратился к краю поля, а «игра» каталась гудящим роем уже помимо воли судьи от ворот к воротам.

Счет рос на глазах. 3 : 4, 5 : 6, 11 : 13...

Когда слободские вновь вышли вперед, кузнец опять выбежал на поле и уже не уходил. Тогда и слободские мужики побежали на помощь. Стало тесно. Кто-то кого-то стукнул. Заголосили бабы.

Дрались недолго, но ожесточенно, со вкусом. Победили все же запрудовские. Ваню-Длинного – нападающего слободских – увели с поля со сломанной рукой. Сам Ваткин выдрался из гущи «физкультурников» с разодранными портками и подбитым глазом. В руках он держал кожаный блин, совсем недавно бывший мячом...

...Была уже ночь, когда на поле пришел мужик с топором – отец Вани-Длинного. Он подошел к воротам, выругался, смачно сплюнул и начал с наслаждением рубить штангу.

В футбол потом у нас не играли лет тридцать, но вспоминали частенько – и когда крепких мужиков «раскулачивали», и когда кукурузу сеяли, и когда деревни укрупняли. Кто-нибудь один да скажет: «Заставь дурака богу молиться...» Другой тут же откликнется: «Это как с нашим футболом...»

Шевелёный

«Случается на суше и на море, друг Гораций, – написал гений не то английской, не то шотландской драматургии Вильям Шекспир, – что и не снилось нашим мудрецам!»

И это чистая правда! Случается! Такое случается! И мне лично далеко за примером ходить не надо...

В самые рассоветские времена довелось мне работать в самом что ни на есть обыкновенном городском фотоателье. Люди старшего

поколения могут представить его, вспомнив старинный фильм-комедию прошлого века «Зигзаг удачи». Приемщица, три фотографа, пара лаборанток, бухгалтер и директор.

В этом фотоателье все и произошло.

Трудился у нас фотографом степенный человек лет пятидесяти Иван Николаевич с совершенно обычной фамилией Иванов. Столь же обычной, как и фамилия, была и его трудовая, как тогда выражались, биография. После средней школы он окончил техникум бытового обслуживания населения и, получив специальность, принялся неустанно останавливать прекрасные мгновения по заказу советских трудящихся — на свадьбах, детских утренниках, ёлках, вручениях красных переходящих знамен и других знаменательных событиях. И добился на этом поприще значительных успехов — всевозможных премий, почётных грамот, уважения трудового коллектива и начальства. Был Иван Николаевич человеком вполне интеллигентным и, хотя писал в квитанциях «фото графия на плацмасе», слыл человеком в высшей степени грамотным и авторитетным, тем более что ходил всегда в костюме-тройке и при бабочке. Делая, впрочем, исключения в самые жаркие июльские дни, когда невозможно было дойти от ателье до места съёмок, не завернув к квасной бочке или не притормозив у автомата с газированной водой. Нынче таких автоматов не найти уже, наверное, даже на самых забытых складах автоматной техники где-нибудь в Урюпинске или Задонск-Муханске.

С годами, став самым старшим по возрасту и опыту фотографом ателье, он некоторым образом даже вошел в городскую элиту. Его приглашали снимать партконференции, делать портреты для городской Доски почета, на которой, между прочим, со временем появился и его автопортрет, выполненный, как всегда, с большим мастерством; он стоял на майских и ноябрьских трибунах совсем недалеко от высшего городского начальства, а когда в город вдруг ни с того ни с сего нанес визит космонавт не помню с какой фамилией, именно Ивану Николаевичу доверили провести ответственную фотосъёмку (тогда еще модное ныне слово «фотосессия» у нас не бытовало).

И вот у этого передового по всем показателям человека была своя страстишка. Очень любил Иван Николаевич фотографировать похороны. Я вот до сих пор не понимаю (а мне уж годков немало), на кой чёрт нужно снимать мертвого человека в гробу?! А вот поди ж ты, влезь в любую старую коробку из-под ботинок, где пылятся полузабытые семейные фотографии пяти поколений — крестьянских ли, военных или даже номенклатурных, — обязательно наткнешься на снимок: гроб, в гробу суровый человек с закрытыми глазами, а вокруг скорбные родственники.

Однако именно заказ на такую скорбную съёмку и был для Ивана Николаевича настоящей отдушиной. Признался он в этом сам на одной из, как бы сейчас сказали, «корпоративных вечеринок», а тогда это была вечерняя пьянка в ателье по случаю Международного женского, кажется, дня.

— И самое главное, — толковал он объясняя свое пристрастие, — обстановка торжественная — раз! Человек лежит не шевелясь — два, и не надо ему сто раз говорить, чтоб не моргал и не задира л шею.

Да к тому же фотографа обязательно приглашали на поминки, а посидеть за столом, да еще в компании степенных людей, да еще бесплатно. Бывало, что Иван Николаевич даже говорил несколько прочувст-

вованных слов в адрес покойного, которого совершенно не знал, но пару раз сталкивался где-нибудь по производственным или иным делам.

И вот с этим обыкновенным человеком по фамилии Иванов приключилась совершенно необыкновенная история. Однажды пригласили Ивана Николаевича на проводы в последний путь первого секретаря горкома партии. Первые секретари горкомов в те времена жилали дольше, чем рядовые строители коммунизма, но всё ж таки и они порой уходили туда, где Вечный Коммунизм сиял светлой зарёй человечества.

Все было как всегда; для такого опытного фотографа сделать всю положенную серию снимков не составило никакого труда, а уж поминки превзошли все его ожидания. Плёнки, отснятые на гражданской панихиде, мастер лаборантам ателье не доверил. Сам проявил, сам и заперся в «тёмной комнате» для печатанья фотографий. И вдруг все в ателье обратили внимание на то, что за черной занавесью, скрывающей дверь в лабораторию, – тишина. Это было очень удивительно, поскольку, возясь в лаборатории, Иван Николаевич всегда пел; а с особым воодушевлением – после как раз траурных съёмок.

Трудовой коллектив, переглядываясь, подобрался поближе к чёрной занавеске, а вдруг с человеком плохо; но тут занавесь театрально откинулась, и в проеме в ореоле красного света показался сам мастер. В руках у него была мокрая фотография, а в глазах – ужас.

– Шевелённый, – деревянным языком возвестил он коллективу, протягивая снимок.

– Кто – шевелённый? – спросила приемщица.

– Он, – протягивая снимок, ответил мастер, – покойный – шевеленный.

Снимок пошел по рукам, и у каждого, кто видел изображение, что-то ёкало в груди. На фотографии всё было как надо, всё правильно: красивый гроб на постаменте, партийные товарищи, скорбящие о безвременно покинувшем их руководителе, сам руководитель, солидно сложивший руки на номенклатурном брюшке, все чётко и безупречно резко.

Но. Голова покойного была смазана! Казалось, что он повернул лицо к фотографу, словно бы проверить, правильно ли тот выполняет порученную ему работу.

– Такого быть не может! – категорически заявил директор ателье. – Это ты, Николаевич, принял до поминок и напортачил!

– Ка-а-ак? – страдальчески воскликнул фотомастер. – Как такое можно сделать? Этого даже специально сделать невозможно!

Факт тем не менее был налицо – покойный пошевелинулся!

– А может быть, кто-то за верёвочку дернул, – предположила симпатичная, но глупенькая, это все знали, приёмщица.

– За какую верёвочку?! – схватился за голову директор. – Сколько ты таких кадров сделал?

– Три, – совсем безжизненным голосом ответил Иван Николаевич, – и на всех трёх он шевелённый...

– Надо эту пленку на экспертизу, – влез самый молодой лаборант Вася, – учёным предъявить в Москву, чтоб объяснили феномен...

Уже и не помню сейчас, как тогда вышли из положения – ретушёр ли поправил дело или смастерили коллаж, но положенный комплект фото для горкома сделали, и нареканий не последовало. Плёнку списали как производственный брак, и директор самолично порезал её на мелкие кусочки, так же как и фотографии «шевелённого». Но одну фотографию лаборанту Васе, то есть мне, удалось сохранить. Я часто смотрел

на неё, пытаясь постичь феномен, даже увлёкся философией и был уверен, что наступят времена, когда о таких вещах станет можно говорить открыто.

Однако когда такие времена настали, оказалось, что это далеко не самое главное, что может занимать человеческую мысль. Сначала началось ускорение, которое привело к ускоренному исчезновению товаров народного потребления, и в очереди за водкой можно было запросто погибнуть, потом перестали платить зарплату, а все проблемы решались заряженной Аланом Чумаком в трёхлитровой банке водой, потом... Эх, да мало ли...

Одним словом, когда настали более приемлемые для философии времена, фотографию «шевелённого» в многочисленных пакетах со старыми фотографиями я отыскать не смог. О чём сегодня очень и очень горюю. Ведь так обидно, соприкоснувшись с великой тайной природы, с загадочным феноменом, так и остаться в неведении.

Раньше великий русский, а ныне русско-украинский писатель Николай Васильевич Гоголь в одной из своих бессмертных повестей написал не хуже, а я полагаю, что и лучше, чем В. Шекспир: «А, однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже... Ну да и где ж не бывает несообразностей?.. А все, однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говорит, а подобные происшествия бывают на свете, – редко, но бывают».

Вот именно – редко, но бывают.

Но только гении, осененные свыше, могут просто и откровенно рассказывать нам о таких вещах; человек простой от них теряется и впадает в душевное смятение...

Сергей МИРОНОВ

Родился в 1970 году в Калининграде. Окончил факультет журналистики Санкт-Петербургского госуниверситета. Работал в газете «Вечерний Петербург» и калининградских газетах.

Автор романа «Домочадец», повестей и рассказов, цикла интервью с художниками петербургского андеграунда. Публиковался в журнале «Нижний Новгород», альманахе «Ойкумена», сборниках «Молодые голоса».

Живет в Калининграде.

НЕЖИЛЕЦ

1

В сорок Туманцев выглядел на тридцать. В сорок пять – на тридцать пять. В пятьдесят к нему все еще обращались «молодой человек» и изредка – «мужчина».

Был он чист и светел кожей, взгляд имел пронизательный, пыливый, но изможденный – результат длительных диет и напряженного умственного труда. Худой, редковолосый, в растянутых свитерах и скомканных приспущенных джинсах, иногда в затертом вельветовом пиджаке, он походил на архаичного заумного интеллигента, каковых из людских потоков в больших городах давно смыло волной современности.

Каждое утро Туманцев начинал с легкой разминки. Делал дыхательные упражнения по книге Вон Кью Кита, отжимался, обливался холодной водой, медитировал. На завтрак ел каши, винегрет, овощные салаты. В чай добавлял чабрец, боярышник, корочки апельсина. Питался правильно, раздельно. Мясо его желудок не переваривал, но принимал горький шоколад, орехи, сухофрукты, семечки яблок.

Жил Туманцев с подругой. Заселился к Марте шесть лет назад. Познакомился с ней в библиотеке, в отделе периодики, где она работала приблизительно столько же, сколько Туманцев ходил в областную науку – десяток лет точно.

Замужем Марта никогда не была. В свое время никто не позвал, а после тридцати пяти, когда пропала уверенность в том, что кто-то постучится в одинокое сердце, вдруг появился он. Туманцев не окучивал Марту своим кругозором – художественная литература его не интересовала, а идеи русских религиозных философов и французских экзистенциалистов мало годились для подхода к женщине.

Туманцев пленил тихоню размышлениями о здоровом образе жизни. Они стали вместе рационально питаться, ездили на море, осенью на побережье собирали шиповник и облепиху. На зиму сушили яблоки и груши.

Иногда Марта срывалась и с отварной рыбы переходила на парные котлеты из домашнего фарша, что сожитель ее, разумеется, не приветствовал. К курице и индейке Туманцев проявлял лояльность по настроению. По пятницам с подругой пил сухое красное в умеренных количествах – улучшал кровообращение.

Перед выходом в город Туманцев тщательно укладывал рюкзак. Брал кепку, дождевик, солнцезащитные очки, в баночки из-под лекарств насыпал очищенные семечки, в пакет клал дольки апельсина и нарезанные яблоки, из холодильника доставал плитку горького шоколада. Осенью, в период дождей и ветров, мастерил из газет многослойные стельки, запихивал их в ботинки, а запасные прокладки хранил в рюкзаке. Под свитер поддевал тельняшку, под джинсы – трико. Брюки стопорил ремнем исключительно на бедрах. Трусы с широкой резинкой не носил – боялся чрезмерного давления на простату. Берег он ее неслучайно. Когда был моложе, связался с моржающими кришнаитами. Вдохнув сандала, Туманцев залез в декабрьское Балтийское море. В результате – застудил колени, появились проблемы с потенцией. Лечился он травами, жевал корень женьшеня, присланный братом с Алтая, пил мумие.

Народная терапия подействовала быстро. Туманцев восстановился. Почувствовал себя полноценным мужчиной. Но, чтобы пленить женщину, мало быть просто здоровым. Надо обладать хоть каким-то жизненным статусом. К сорока юношеские забавы заканчиваются. Невольно задаешься вопросами: чего ты достиг, к чему стремишься, не безнадежный ли ты неудачник? Подобные мысли не тревожили разум Туманцева. Он наблюдал за тем, как устраивались в жизни его знакомые, как некоторые из них упивались богатством, с легкостью меняли женщин, катались на дорогих автомобилях. Он им не завидовал, наоборот – сочувствовал, особенно после того, как до него долетали известия, что некоторые из сокурсников по мореходке лишились здоровья, не выдержав гонки за роскошью и капризами ненасытных дам.

Хорошо, что Марта была другой. С ней Туманцеву жилось спокойно. Он больше не мотался по убогим общагам. Его имущество – книги, газеты, вырезки из журналов, распечатки статей – разместились на ее полках, залегли на столе в зале, заполнили антресоли. Складной велосипед переехал на маленький балкон.

Одежда Туманцева не отличалась разнообразием. Он не стремился обновлять гардероб, довольствовался старыми вещами, занашивал футболки до дыр, джинсы протирал в коленях до ветхой нитчатой белизны. Сам ремонтировал обувь. Иногда Марта покупала ему на распродажах рубашки, случалось, выдергивала из дому на примерку акционных ботинок. Как-то летом она присмотрела другу модную соломennую шляпу. Туманцев проездил в ней все лето на море. Ранней осенью он лишился любимого головного убора – шляпу сдул ветер. Метнул в плотный автомобильный поток.

Поначалу в Марте Туманцева устраивало почти все, и ровно столько же – ее в нем. Беспокоило Марту лишь одно обстоятельство. В сорок она все еще надеялась родить и периодически задавала вопрос: «Может, попробуем? Но сначала распишемся». На что Туманцев уклончи-

во отвечал: «Не поздно ли? Да и вряд ли получится. А если выйдет, можно накликать беду – в нашей стране небезопасно рожать на пятом десятке».

Тем не менее пару раз Марта заявляла, что беременна. Туманцев воспалялся, полагал: она его разыгрывает, издевается, мстит, глядишь, и из дому выгонит, но потом успокаивался и перебирал в памяти моменты их ночных сближений в поисках одного-единственного, повлекшего катастрофу.

Дети для Туманцева были обузой, лишним грузом, который придавит его навсегда к дощатым полам ее двухкомнатной хрущобы.

В планах Туманцева значились запредельные цели. Проживание у Марты он относил к затянувшимся временным неудобствам. Туманцев работал над тем, как переустроить социум и государство. Он разрабатывал технологию самоорганизации общества. Считал ее единственно верной методикой, способной приблизить мир к всеобщему комфорту.

Первоначальных идей Туманцев набрался из тектологии Богданова, но со временем переработал ее и адаптировал к современности. Теперь Туманцеву предстояло внедрить в жизнь свое учение. Он писал письма в фонды известных предпринимателей, обращался к областным властям, размещал посты в интернете, но всюду сталкивался с непониманием. Начальники в кабинетах, научившиеся корректно разговаривать со странноватым человеком, ищущим правду, отвечали: «Ждите, вам отпишут по почте в установленные законом сроки».

Письма из властных структур приходили к Туманцеву регулярно. Некоторые чиновники, осмелившиеся до конца дочитать революционные сочинения самозванца-философа, прятали в стол его распечатки, поражаясь точности некоторых суждений и одновременно – вредности для спокойного развития социальных процессов.

Отрицание положительной целесообразности было, по Туманцеву, главной причиной общественной стагнации. Не желая влезать в житейские дразги, он сторонился прямых столкновений с представителями власти, берег себя для решающего удара, после которого мир заживет по его правилам. Надо еще подождать, рассуждал Туманцев, свыкнуться с мелкими нападками Марты, стерпеть кретинизм главного редактора областного еженедельника, исковеркавшего его безобидную статью о вырождении местной интеллигенции.

Туманцев жил отдаленным будущим, настоящее было вынужденным стратегическим ходом, испытанием на прочность прогрессирующей теории.

Никто не мог поколебать его уверенности в собственной правоте. Никто не мог заставить начать день с сигареты на балконе, в обед сожрать кусок жареного мяса, а вечером грохнуть стакан этилсодержащей водицы. Никто не смел покуситься на его драгоценное время, когда в отсутствие Марты он организовывал социум на листках помятой бумаги, веером разложенной на полированном столе. Никто не осмеливался запретить в паузах между подходами к рабочему месту заниматься цигуном, настрогать винегрет, заварить чай с апельсиновыми корками.

После обеда Туманцев уматывал на развозы пиццы. За месяц он наскребал сумму, необходимую для оплаты коммунальных услуг и тем оправдывал существование в квартире подруги. По крайней мере, эта сумма смягчала нарастающее недовольство Марты. Выгнать Туманцева она пока не решалась. Не давала ему пинка не только из сожаления

к незащитному, по сути, приятелю – ей нужен был мужчина. Порой в своих смелых фантазиях Марта взлетала в такие выси, что Туманцеву едва хватало сил исполнять ночные прихоти подруги. Утром он отсыпался, а Марта смирной мышкой сидела в своем отделе, производя на читателей впечатление зажатой чудной библиотекарши.

2

После окончания средней мореходки Туманцев совершил два рейса в Южную Атлантику и к западноафриканскому побережью. На том его любовь к морю закончилась. Романтичные океанские пейзажи, степенное колыхание бирюзовых вод Средиземноморья он вспоминал сквозь копоть, жар и грохот машинного отделения. Дядя, к которому Туманцев приехал в Калининград из Бийска, пытался подыскать племяннику работу по специальности на берегу, но в середине 90-х сошедший на сушу мореплаватель уже был поглощен политическим разбродом в ельцинской России и возиться в дизельных двигателях не желал.

Поначалу Туманцев поддерживал зверские реформы Гайдара, но вскоре понял, что кроме голой альтернативы плановой экономике в них ничего не содержится. Он быстро разобрался в партийной преддефолтной междоусобице и просек: ждать скорого счастья от либеральных младореформаторов бессмысленно. Тогда до Туманцева дошло, что успешное общество регулируется не только экономическими процессами, но и чем-то еще. Он засел в библиотеках, перемолотил учения русских философов и экономистов начала двадцатого века, залез в переводы современных западных мыслителей; чуть позже познакомился с местными глашатаями политических реформ – вчерашними студентами и зрелыми хиппи – и резонно предположил, что на фоне ослабленной экономики социум может самоорганизовываться благодаря строгому своду идеологических правил. В конце 90-х Туманцев только начал их разрабатывать, вдохновленный теорией Богданова.

На почве интереса к тектологии Туманцев примкнул к Карманову, который печатался в «Свистке» – газете Молодежного центра, основанного группой экоактивистов. Постепенно полосы еженедельного издания окрашивались политическими мотивами. Туманцев попробовал себя в роли публициста. Оттачивал стиль, боролся с орфографическими ошибками. Начал он с выступлений против точечной застройки центра города, высказался о плачевном состоянии предвоенных памятников архитектуры.

В то суетливое время «Свисток» читали многие. Газету распространяли в вузах, библиотеках, музеях. В киосках свежий тираж расходился за день. Несмотря на дикую рыночную экономику, некоторые демократические процессы в обществе были запущены. Например, никто не препятствовал Туманцеву участвовать в выборах. Он рискнул прорваться в областную думу как независимый кандидат. Карманов поддерживал намерение Туманцева, хотел помочь ему деньгами, но грянуло лето 98-го. Дефолт подкосил амбициозные планы Туманцева. «Свисток» прикрыли, Молодежный центр самоликвидировался. Об экологии забыли, когда опустели полки магазинов. Тем летом у Карманова родился сын. Шкурихин – редактор «Свистка» – вынужденно подался в челноки. Мотался в Польшу за дешевым ширпотребом, который Карманов продавал на городском рынке.

Из Туманцева торговца не вышло. Он пооколачивался по автосервисам, поработал сторожем в гаражном обществе и снова нырнул в машинное отделение среднего рыболовецкого траулера. Только в этот раз денег он толком не заработал. Судходная компания обанкротилась, когда СРТ взял курс на Балтику. Разъяренному экипажу свалившие за бугор работодатели бросили утешительные подачки.

Вернувшись из рейса, Туманцев жил в портовом общежитии, занимал аварийную комнату на пятом этаже. После долгих дождей с потолка на скрипучий пол капала густая серая жижа, в окна пронзительно дуло с канала, мистически подрагивали стекла в рассохшихся рамах, но вид был красивый: фрагмент дикой природы, буйство ветра и волн на фоне отдаленного города. Комендант общежития – Дарита Сергеевна – симпатизировала Туманцеву. Держала за ним место, хотя могла выдворить парня на улицу в любой момент. В общежитии Туманцев проторчал восемь лет, пока новые акционеры порта не закрыли ее на ремонт.

Месяц Туманцев пропадал на даче Карманова, благо стоял июль, ночи были теплые, а днем жарило солнце. Непредсказуемое балтийское лето смилостивилось над дачником поневоле, а Карманов позволил Туманцеву потрясти запущенный сад. Вишня в том году вызрела крупная, уродилась малина и алыча. Заросший травницей картофель Туманцев пропалывал по вечерам и кое-что выкапывал для себя. Вот чего ему действительно не хватало – жизни на лоне природы, на пятачке диковатого счастья!

В Туманцеве вновь забродили опасные мысли. Он вдруг стал сам себе интересен, почувствовал, что сможет завершить глобальный труд, сумеет переработать заброшенную теорию, соотнести ее с новым временем. Он больше не сомневался в скором успехе, ибо твердо знал: его предназначение – восстановить справедливость в социуме, пустить ход истории правильным руслом. Вскоре он снабдит политиков спасительным инструментарием, и сам прогремит на все воспрявшее общество, как долгожданный миссионер, принесший спасение соотечественникам. Обстоятельства сложатся так, что его непременно заметят.

В конце прошлого века ему не повезло. Подбитый на взлете, он ушел на штрафное десятилетие: проболтался в морях в ржавой посудине, перебивался копеечными заработками, жил впроголодь. Одно время избегал встреч с мужеподобной Даритой Сергеевной, искавшей жениха разведенной дочери и между делом жаждавшей приятных приключений на стороне. Но, главное, он чуть было не расстался с взлелеянной мечтой.

Переехав к Марте, Туманцев окончательно раскрепостился, ожил вместе со своими идеями. Умственным трудом он занимался, когда Марта была на работе. При ней хозяйничал на кухне, возился со старой сантехникой. Застеклил балкон. Не забывал о простых подарках и цветах. Дарил Марте ирисы и тюльпаны.

Одного Туманцев не хотел: жениться и иметь детей.

Чем глубже Туманцев проникал в премудрости вызревавшего учения, тем дальше отплывал от устойчивых жизненных берегов. Все, что творилось вокруг него, казалось искаженным слепком с порочной действительности: все эти обильные человеческие радости по поводу профессиональных успехов, за которыми маячит тень неизлечимых болезней и разорения; раздутое семейное счастье, ведущее к предательству и разочарованию; инертность гуманитарных наук, забывших о месте человека в распатанном социуме. А уж о почившем на ранней стадии

построения гражданском обществе Туманцев и не вспоминал. Пятнадцать лет назад он говорил, что чем технологичнее и развитее общество, тем ниже в нем уровень этических ценностей. Западные демократии потопят себя в болоте толерантности, а русские свободы захлебнутся в дырявой духовности набыченной толпы, стоящей в боевой позе и раздувающей ноздри при виде недостижимых благ.

Туманцев говорил, кричал об этом, но его не слышали. Теперь он снова пободается с системой. В конце концов, технологию можно продать. Сейчас все покупается и продается. Можно попробовать зацепить президентский грант или вновь обратиться в фонды известных предпринимателей.

3

Туманцев позвонил Карманову. Напросился на встречу. К давнему приятелю он заходил, когда остро нуждался в деньгах.

Карманов, поднявшийся из мелких торговцев до заместителя управляющего филиалом московского банка, никогда не отказывал товарищу в финансовой помощи. К слову, просил Туманцев всегда немного.

Карманов давно понял, что Туманцев погряз в мире собственных иллюзий, ставших его неизлечимой болезнью. На земле должны быть такие отчаянные индивидуумы, открестившиеся от жизненных соблазнов ради самопожертвования во имя всеобщего счастья, не предусмотренного человеческой природой. Так размышлял Карманов после того, как ознакомился с «Технологией самоорганизации общества» за авторством Туманцева. Немало рациональных зерен было в этой методике, но и бредовых помыслов, чуждых мировоззрению банкира, хватало.

Карманов встретил Туманцева на пороге кабинета. Осмотрел его внимательно, критически, как сына, вернувшегося домой после долгого раздора с родителями, и окончательно удостоверился в том, что в своих поисках гость его зашел действительно далеко.

— А давай по коньяку, — неожиданно предложил Карманов. — Тяпнем за встречу! Есть отличный «Курвуазье».

Туманцев не пил крепких напитков, но согласился. Отказывать хозяину роскошного кабинета, в котором боязно ступалось по глянцевому паркету, было неприлично.

— Я-то сам не пью, — обреченно заметил Карманов и вытащил пробку из начатой бутылки. — После аварии в основном наливаю корпоративным клиентам. Ну и балуюсь иногда, чтобы вкус не забыть.

Туманцев выпил. Больше всего он заботился о ясности рассудка. Разум свой Туманцев считал просветленным, направленным на то, чтобы просветить остальных. От коньяка его качнуло, в мозгу разлились лужи мимолетной мути, но он собрался с силами и прикончил сорокаграммовую рюмку.

— Тебе сколько надо? — спросил Карманов, грузно осев в округлое кожаное кресло.

— Ты про что? — пришел в себя Туманцев и сел напротив приятеля.

— Про деньги, разумеется, — спокойно сказал Карманов и еще раз наполнил рюмки.

Туманцев неловко перхнул и утер нос указательным пальцем.

— Я по другому вопросу.

— По какому же? — несколько удивился Карманов.

– Хочу подать заявку на грант в специализированные фонды, – раскрыл тайну Туманцев. – Технология доработана. Пора внедрять.

Карманов недоверчиво покосился на осмелевшего гостя.

– А я чем могу помочь?

– Мне нужно прикрыться юрлицом. – Туманцев взял рюмку с матерчатой салфетки. – Одиночек-высочек в фондах не любят. Предпочитают общаться с креативными командами.

Карманову было бы проще дать Туманцеву денег, чем становиться соавтором сомнительного проекта. Технологию он прочел полностью. Ужаснулся обилию грамматических ошибок. На пятой странице понял, к чему клонит исследователь общественных язв.

– И как ты представляешь мое участие в этой затее? – из вежливости продолжил дискуссию Карманов. – Хочешь, чтобы от имени банка я отправил заявку? – Он испытующе глянул на притихшего мыслителя, пропустившего вторую рюмку. – Или предлагаешь открыть «однодневку» для разового засыла документов? – Карманов выпил и чмокнул полными губами, показавшимися из-под густых усов и вьющейся рыжеватой бороды. – Согласись, это нелогично. Можно податься от какой-нибудь благотворительной шарашки. Но в общественных организациях я больше не состою и лезть в них не желаю. – Он расстегнул тонкий темно-синий пиджак, ослабил галстук и вытянул правую ногу. – После ДТП год учился ходить. Ногу собирали по кусочкам. Сажу на хорошем окладе. С меня хватит приключений. Оставил их в 90-х. И тебе советую усмирить разум. Вспомни венского шарлатана, направь энергию на женщину, реализуй детородную функцию. – Карманов выдвинул ящик стола и возле мельхиоровых часов с логотипом банка положил коробку шоколадных конфет. – Думаешь, мне легко жить просто, обычно, как все? Ни фиги подобного. Вот это место, – он очертил пальцем периметр кабинета, – досталось в результате рискованной многоходовки. Дома тоже сюрпризов хватает. Когда жене сорок пять, знаешь, что это такое?

– Нет, – признался Туманцев.

– Это когда в постели все не так и не эдак, – повысил голос Карманов. – Да еще два охламона дома мяч гоняют, метят на место дедушки Месси. Попробуй всех удовлетвори! А обо мне кто позаботится? – вскричал захмелевший Карманов.

Он встал. Прихрамывая, подошел к окну. Поднял ролету, распахнул створку.

Тут в проеме приоткрытой двери показались аккуратная головка молоденькой секретарши.

– Петр Аркадьевич, через пятнадцать минут у вас встреча, – напомнила вежливо девушка, пытаясь уловить настроение шефа.

– Знаю, – сказал Карманов. Он бросил на подоконник пачку сигарет, положил рядом зажигалку. Впускать в прокуренный кабинет потенциальных заемщиков было неуместно.

– Ну, мне пора, – засобиравшись поникший Туманцев. Он встал и закинул на плечи рюкзак.

– И потом, кого ты собрался организовывать? – с едкой ухмылкой спросил Карманов, не замечая, как Туманцев пятится к выходу. – Европа – радужная, Америка – черная, а Россия – серая. Мы все тут стоим друг друга. – Он оперся широкими кулаками о стол. – Плох тот русский, который не хочет обмануть государство, считая, что обманут государством вдвойне. Это вековые распри, приятель, – разбушевался Карманов, – народ и власть, власть и народ. Ты утонешь в этой борьбе, тебя

схавают обстоятельства, – вещал Карманов, разогретый коньяком. – В 90-х надо было брать правильный курс. Его вроде и взяли, но политики оказались романтиками, а ждали мы реалистов. Романтики во власти, да еще закормленные деньгами, – опасное явление.

– Перемены в обществе не зависят от мировоззрения политиков, – возразил Туманцев. – На вооружение они берут философию одиночек.

– То есть ты не прочь продать партийцам идеологический продукт, – подловил банкир хитроумного технолога.

– Не возражал бы, – уверенно ляпнул Туманцев.

– И не боишься, что после осуществления твоего плана начнется апокалипсис в отдельно взятой стране?

Туманцев отрицательно покачал лысоватой головой.

– Тогда вот тебе визитка, – дохромал до философа Карманов. – Помнишь Шкурихина? «Свисток» он редактировал умело, газету по тому времени сделал передовую. Тебя публиковал. Сейчас он возглавляет книжное издательство. Сходи к нему, закажи корректуру текста. Да и толковый редактор тебе понадобится. Пусть сделают смету, работу я оплачу.

Этот вариант Туманцева не устраивал. Со Шкурихиным он давно разругался, о чем Карманов не знал.

В коридоре послышались отдаленные шаги. В кабинете вновь появилась Юлия. Туманцев аккуратно пролез между девушкой и массивной дверью, Карманов же допил коньяк и спрятал хрустальную рюмку в сейфе за шкафом.

4

Весь вечер Туманцев терялся в догадках: что значили последние слова Карманова? Его послали к Шкурихину рассчитать стоимость доработки рукописи. Эту услугу Карманов вызвался оплатить. А дальше что? Надо было набраться наглости и бросить на выходе: «То есть можно на тебя рассчитывать?» С другой стороны, размышлял возбужденный Туманцев, если банкир отправил его к Шкурихину, значит, решил помочь.

На волне всеобщей вольницы 90-х Шкурихин быстро двинул в массы «Свисток». Тогда на деньги городской администрации с полос задиристого издания некоторые смельчаки пощипывали и областные власти. Шкурихин сам делал это с успехом. Он прекрасно чувствовал, до какой степени следует накалить градус критики, чтобы не получить по шее от муниципалов-инвесторов и вместе с тем осветить проблему так, дабы привлечь внимание общественности.

Туманцева Шкурихин недолюбливал. Тот казался ему слегка ненормальным, повернутым на отрицании советского наследия типом.

В середине 90-х конструктивных идей в голове Туманцева еще не витало. Он приносил в редакцию первые журналистские опусы, а Шкурихин беспощадно правил его материалы, шлифовал стиль, но практически все статьи пропускал в печать. Подобное сотрудничество продолжалось до тех пор, пока Туманцев не положил на стол редактору первые главы технологии. Через пару дней Шкурихин позвонил Туманцеву.

– У нас городская газета, общественно-культурный еженедельник, – объяснил он доходчиво постоянному автору. – Научные труды не пу-

бликуем. Попробуй обратиться в университет на кафедру политологии. Попроси отрецензировать трактат. – И в конце предупредил: – Но человека без ученой степени да еще с непрофильным дипломом вряд ли там примут.

Шокировать профессоров престижного вуза Туманцев не отважился. Вскоре исчез и из газеты. Правда, и «Свисток» после его ухода продержался недолго.

Пока Туманцев раздумывал, идти к Шкурихину или вновь явиться к Карманову за разъяснениями, к Марте приехала старшая сестра – Василина. Это был ее первый визит в Калининград после того, как Марта сошлась с Туманцевым. Формально к сестре она летела поваляться на пляже под балтийским солнцем, отдохнуть от скучного Брянска, а на деле, подозревал Туманцев, надавить на Марту, чтобы та поставила точку в неопределенных отношениях с упертым сожителем. От дамы с таким именем, да еще работавшей в трудовой инспекции, можно было ожидать любого подвоха.

На две недели, что Василина собиралась пожить у сестры, Туманцев с удовольствием сбежал бы в какой-нибудь хостел, но бюджет его сильно просел – он только внес деньги за квартплату и раскошелился на американские кроссовки из секонд-хенда, так что ему предстояло героически вытерпеть компанию подозрительной женщины.

Накануне приезда Василины Марта отселила Туманцева в зал. Спать теперь ему полагалось на диване. Его место у стены на двуспальной кровати отошло госте.

– Надеюсь, это временное изгнание? – растерянно спросил Туманцев.

– Как знать... – Марта принялась взбивать жесткие, неудобные подушки. – Я тебя не выгоняю, но выводов ты никаких не сделал. Жаль.

К встрече со старшей сестрой Марта готовилась с фанатичным задором: мыла полы, пылесосила ковры, постирала шторы. Туманцев, занимавшийся уборкой квартиры в будние дни, был освобожден от хлопот по дому. Марта словно его не замечала. Туманцев вдруг превратился в человекоподобное препятствие, подвижный объект на пути суетливой хозяйки. Марта налетала на него в коридоре и ванной, врзалась в Туманцева в зале, требовательным тоном просила не мешаться под ногами. В итоге она отправила его, бесцельно засевшего на балконе, в магазин за продуктами.

Туманцев в душе уже ощущал себя беженцем. Он никогда не любил Марту, да и она не пылала к нему ответными чувствами. Шесть лет назад сошлись два одиноких существа, притянулись друг к другу по необходимости, да так ничего и не нажили, не слетали в жаркие страны, мирно сидели дома, правильно питались, ездили на море, а до загса не добрались. Тем не менее, что-то их единило, сблизжала какая-то устойчивая отстраненность от общепринятых потребительских процессов; только, в отличие от Туманцева, Марта временами поддавалась житейским искушениям; Туманцев же демонстрировал тотальную отрешенность от внешнего мира. При этом он его изучал, продолжал корректировать на бумаге в тот самый момент, когда союз с Мартой дал роковую трещину.

Туманцев не знал, как выйти из дурацкого положения, не мог придумать, чем залепить разлом в их отношениях, молчал, потому что не мог выдавить из себя хотя бы обещания расписаться в ближайшее время.

Василина Васильевна была старше Марты на три года. Встречая сестер у подъезда, Туманцев увеличил бы возрастную разницу между ними еще лет на пять. Он ожидал увидеть дородную круглолицую барышню кисти Кустодиева, вписанную в аскетичный салон такси, но вышла к нему навстречу сухая бесцветная женщина. Мелкие негритянские кудри торчали скрученными антеннками на ее короткостриженной голове. Вся какая-то узкая, извилистая, суматошная, как голодная белка, она смахивала на строгую ворчливую училку.

Василина походя бросила пренебрежительный взгляд на Туманцева и рассчиталась с таксистом. В темном подъезде громко стучала скошенными облезлыми каблуками, возмущалась ценами в кафе аэропорта, поругивала управляющие компании за наплевательское отношение к жильцам.

«Хорошо хоть не Васильева, – логично заключил Туманцев, когда вытаскивал чемодан и сумку из багажника. – Хотя что тут хорошего: по мужу – Топорнина».

В мореходке Туманцева и его однокурсников на физвоспитании истязал Алексей Алексеевич Алексеев. Прогульщики ходили к нему сдавать зачеты делегациями, курсанты ловили физрука в городском парке за шашками, встречали вечерами у подъезда, по выходным – у стадиона после футбольного матча. Лентяям и немощным Алексеев вдалбливал перед стаерским забегом: «Идешь за спиной соперника, входишь в вираж, ускоряешься, а по прямой ноги выносят на финиш».

Теперь вот еще одна особа с подозрительными жизненными позывными поселилась вблизи Туманцева. Что было у нее на уме – непонятно, но явно что-то недоброе.

Утром Туманцев исчез из дома после завтрака. Обычно раньше четырех на улицу он не выходил.

5

Марта подгадала с отпуском к приезду сестры. Планировала сводить ее в театр, галерею, краеведческий музей. Идти в филармонию на органный концерт Василина отказалась, а поездки на море одобрила.

Еще с вечера Туманцев ожидал, что ему устроят разнос за «неправильный» образ жизни, которым он заразил и Марту, но больше всего его беспокоил предстоящий разбор их совместного бытия. Еще больше он опасался за судьбу своей библиотеки. В мыслях одной ногой Туманцев стоял за дверью квартиры, другой – цеплялся за половик в коридоре. Но, может, все не так плохо, брезжила в нем шаткая надежда. Бывают же грозные с виду люди благодетелями, добряками. Пока Василина не проронила в его адрес ни единого крамольного слова. Она не вступала с Туманцевым в долгие разговоры, но все же поглядывала на него свысока, так, будто он был заранее в чем-то виноват.

В полдень Туманцева набрал Карманов.

– Тебя давно ждут в издательстве, – загадочно сообщил банкир.

– Так я вот не понял, – хотел продолжить разговор Туманцев, но связь оборвалась по инициативе Карманова.

Под дверью Шкурихина Туманцев просидел около часа. Директор вел совещание. Сбегая второпях от сестер, Туманцев не догадался позвонить в издательство и запроситься на встречу с маститым полиграфистом.

На удивление, его пропустили к Шкурихину без предварительной записи. Как только закончилось совещание, Туманцев вошел в кабинет директора.

– Можешь не искать флешку, – сказал Шкурихин и снял трубку со стационарного телефона. – Твой опус давно прошерстил редактор. Две недели назад вычитал. Медленно идешь к поставленной цели.

– Четверть века, – уточнил Туманцев. – Зато теперь все готово.

– Теперь – да. Грамотно писать за это время ты так и не научился, – усмехнулся Шкурихин. – Двадцать пять лет... Я бы не выдержал – застрелился. Не хочу тебя обнадеживать: еще столько же в неизвестности промаешься, если за ум не возьмешься.

Шкурихин набрал короткий номер:

– Лидия Викторовна, сейчас к вам подойдет непризнанный гений, выдайте ему счетик на наши услуги. Не забудьте скидочку сделать... Да-да, тот самый, который хочет осчастливить человечество.

Домой Туманцев приехал позже обычного, в девятом часу. На ужин он опоздал, но сестры все еще сидели на кухне за бутылкой красного вина и яблочным тортом. В эмалированной мойке громоздилась куча грязной посуды. Где-то поблизости витал слащавый аромат выкуренной сигареты. Очевидно, курилку Василина устроила на балконе.

Туманцев проник в холодильник и, прикрывшись распахнутой дверью, положил в тарелку винегрет. Голод к нему подкрадывался обычно после обеда. Ел Туманцев всегда по чуть-чуть, но достаточно часто. К вечеру сухой паек, который он формировал с утра перед развозами пиццы, заканчивался полностью, оставалась лишь питьевая вода.

– Я все хочу спросить, – устала Василина на замершего в коридоре Туманцева, – чем вы занимаетесь с утра до позднего вечера? Что сочиняете? Говорят, это какая-то пространная технология. – Она глотнула вина. – Философия, идеология... Одним словом, болтология.

– Работаю над самоорганизацией общества, – не растерялся Туманцев. Он пару раз подбросил на ладони тарелку с вожденным ужином, будто хотел метнуть ее в разомлевшую физиономию гостыи. – Только что закончил теоретическую часть. Внедрять буду.

– Вот как! – удивилась Василина. Ее черные рыхлые брови вылезли из-под тонкой оправы громоздких очков. – И как ваша деятельность связана с, так сказать, семейной жизнью? Деньги в дом приносите?

– То, чем я занимаюсь, – с вызовом ответил Туманцев, – абсолютное новаторство, сольная партия мудреца ради всеобщего прогресса. Деньги за мой труд не платят, во всяком случае пока. – Он говорил уверенно, без запинок. – Подрабатываю велокурьером в пиццерии, в свободное время занимаюсь наукой.

– Ваше образование позволяет копошиться в недрах науки? – напирала Василина. – Вы же специалист по дизельным установкам.

– Моей деятельности не учат в университетах, – быстро нашелся Туманцев. – Специалисты с высшим образованием мыслят инертно, не выходя за рамки академических канонов. – Туманцев не выдержал и смел со столовой ложки пурпурную горку винегрета. Он прожевал и добавил: – Мое учение революционно, как открытия Эдисона и Теслы.

– Вась, не спорь с ним, – вмешалась в разговор Марта. – Его не переубедишь. – Она наполнила фужеры вином. – Диагноз налицо – легкое умственное помешательство. Его болезнь иногда отступает, и он

становится нормальным, отзывчивым. Может пригласить в кино и не заснуть под конец сеанса.

– Боюсь, тут дело серьезнее, чем ты думаешь, – подытожила Василина и чокнулась с сестрой. – По-моему, явный клинический случай. Он не опасен?

– Проверено – нет, – дoloжила Марта.

На кухне посиделки продолжались до позднего вечера.

6

Туманцев поужинал в комнате, разложил диван (спать в тесноте он не любил) и сделал несколько упражнений из курса Вон Кью Кита. Потом сел на коврик возле балконной двери и попытался забыться в медитации. «Ум пуст, сердце безмятежно», – повторял он про себя, отстраняясь от накатов шумной реальности. Звон фужеров и гавкающий хохот Василины периодически выдергивали его из пограничного состояния между вечерним бдением и подступающей дремой. Полностью уйти в себя Туманцев не смог. Ему было одновременно тревожно и радостно. Жизнь в этом доме подходит к концу, надолго он здесь не задержится; зато отдаленная перспектива маячила на горизонте его тщетных исканий благодаря поддержке Карманова. Завтра он ему позвонит, договорится о встрече и занесет счет. А там, глядишь, и с отсылкой документов на конкурс друзья-банкиры помогут, иначе зачем Карманов отправил его к Шкурихину.

С этими мыслями Туманцев заснул.

По ночам он спал крепко. Ничто, кроме спонтанных прикосновений Марты и фантастических видений, не волновало его организм после полуночи.

Сквозь сон Туманцеву померещилось, что в зал забрела Марта, скинула халат и улеглась с края, слегка потянув на себя одеяло. Пахло от нее кислым гранатовым вином и табаком. «Курила за компанию», – смекнул Туманцев и, не открывая глаз, провел влажной ладонью по плечу подружки, скользнул по бедру и неприкрытой ноге. Потом направил руку к груди и тут же одернул. Сон улетучился в одночасье. Туманцев привстал, оперся на локоть и получил смачную пощечину от Василины.

– Ах ты, тварь! – вскрикнула она и вскочила с дивана. – Напугал до смерти! Извращуга!

– Вы сами пришли. Я вас не звал, – оправдывался сонный Туманцев. – Ваша комната дальше.

– А твое место – за дверью, на лестничной клетке! – Василина швырнула в него подушку.

В лунном свете, сочившемся сквозь неплотно задернутые гардины, правая часть ее лица казалась мертвецки бледной.

«Подстава, или Топорнина перетрудилась на кухне, – рассудил Туманцев. – Хотя какая теперь уже разница?»

В комнате ожидаемо возникла Марта. Она включила торшер, сложила на груди руки и строго спросила:

– Что тут случилось?

– Усмири своего сожителя, – вякнула Василина, застегивая пуговицы халата. – По ночам руки распускает. Предупреждала: опасный тип!

– Значит так, завтра утром мотай отсюда, – скомандовала Марта. – И макулатуру с собой прихвати.

Василина гордо проследовала на кухню. За ней из комнаты вышла Марта. Туманцев с головой залез под одеяло.

Он предчувствовал, что Марта жаждет от него избавиться, но рассчитывал хотя бы на временное снисхождение. Ему нужно было подготовиться к переезду, вычислить временное убежище: найти не самый уделанный хостел, а лучше – дачу в городской черте. К Карманову теперь у него имелось два вопроса.

7

Нет, ну как же похожи оказались сестры в порыве гнева. После знакомства с Василиной Туманцев пытался найти в их посредственных лицах родственные черты, но визуального сходства не разглядел. Одна в припадке звериного буйства, другая в безоговорочном потворстве застрельщице конфликта – они подтвердили общность интересов, вперили в него пристальные взоры, насупили мохнатые брови, как совы, высмотревшие аппетитную жертву. Вот что было у них общего – густые свирепые брови.

Утром Туманцев собрал рюкзак и вынес за порог квартиры газеты и книги. Из заварного чайника, стоявшего на пыльной полке в серванте, он вытянул двухтысячную купюру – это все, что изгнанник стянул из скромного совместного бюджета.

В девятом часу Туманцев захлопнул за собой входную дверь. Под разудалый храп Василины он связал шпагатом газеты и журналы, книги засунул в пропиленовые мешки, оставшиеся после ремонта балкона. Библиотеку Туманцев спрятал в подвале, где Марта никогда не бывала – боялась крыс и пауков, – взял велик и поехал к Карманову.

Сделав два традиционных круга вокруг озера, Туманцев купил в кондитерской капучино, устроился на скамейке и набрал номер банкира.

Карманов не ответил.

«На совещании», – подумал Туманцев.

Спустя четверть часа он тормознул у банка и едва расслышал телефонный звонок в набитом вещами рюкзаке.

Звонил Карманов. Приветствие его было глухим и недобрим.

– Я подъехал, – настороженно отозвался Туманцев. – Счет привез.

– Долго ты с ним возился, – мрачно процедил Карманов. – Моя банковская деятельность закончена. Ничем помочь не могу...

Туманцев чуть не упал с велосипеда. Он растерялся и ухватился рукой за дрогнувшую водосточную трубу. Потом пришел в себя и спросил:

– А дача у тебя есть? Ну та, где я жил когда-то.

– Давно продал, – ответил Карманов на неуместный вопрос. — Позвони позже, ночью толком не спал.

Туманцев занервничал.

Ясное июльское утро, в котором вместе с лучами нежного солнца разлилась надежда на профессиональный успех, омрачилось невеселыми происшествиями. Такое с ним бывало не раз: внезапный удар в спину несовершенного бытия, подлежащего немедленному реформированию, и все приходилось начинать заново: вписываться в периметр чахлой общаги, искать временный заработок, перерабатывать технологию. Но сейчас Туманцев ее закончил, завершил главный труд жизни.

К обеду он доставил три пиццы и лазанью в спальные районы. Звонок Марты проигнорировал. Сестры его больше не беспокоили. От них

в его вместительной памяти остались только ворсистые угольные брови, отделенные от неприветливых лиц и застрявшие в деревянных вилообразных подпорках, снятых с холстов кумира юности – Сальвадора Дали.

Без пяти три Туманцев запрыгнул в пригородную электричку, готовую отправиться к морю. Велосипед он оставил на вокзальной парковке, в вагоне проверил, лежат ли в рюкзаке плавки, потом из бокового кармана достал старую записную книжку.

После того, как Туманцев съехал из портового общежития, Дарите Сергеевне он звонил дважды, просил на две недели найти комнату брату, летевшему в гости из Сыктывкара. И оба раза она не отказывала.

– Что, опять жить негде? – упредила Дарита Сергеевна напрашивающийся вопрос Туманцева, который начал разговор с извинений за беспокойство. – В порту я больше не работаю. Могу предложить место в хостеле. «На холме». Слышал такой?

– Слышал, – соврал Туманцев.

– Далековато от центра. Зато домашняя обстановка, уютно, продвинутый дизайн. А главное, – вдохновенно продолжила Дарита Сергеевна, – это моя собственность. Рулим на пару с дочерью.

– У меня с деньгами не очень, – смущенно признался Туманцев.

– Ну, ты всегда на мели. Помню твой принцип: жить с пустыми карманами, а в душе надеяться, что скоро попрет. – Дарита Сергеевна подоброму хихикнула. – Тебе когда койка нужна?

– Сегодня вечером, – с опаской шепнул Туманцев.

– Ладно, пойдешь на второй ярус, – быстро определилась Дарита Сергеевна. – На прошлой неделе вписались ребята из Андижана – чудостроители, подселю к ним. Чистоплотные, честные, отлично готовят. Голодным не останешься.

– Да я и сам в состоянии себя накормить, – гордо заявил Туманцев, не зная, радоваться будущим соседям с натянутой положительной репутацией или настороженно принять их достоинства. Но выбора у него не было. Вечером он поедет к Дарите Сергеевне.

Через полчаса он прочел эсэмэску: «Хостел “На холме”». Улица мастера Железняк, 17. С нами вы всегда на высоте!»

8

Купаться в Балтийском море Туманцев по традиции начинал в конце июля – начале августа. Вода в это время прогревалась до двадцати градусов, правда, случалось, залетные течения охлаждали море и до четырнадцати. Низкие температурные показатели не пугали Туманцева. Он окунался и тогда, когда ломило ноги, а дыхание сбивалось. Горький опыт моржевания все еще не давал ему покоя.

Но этим летом вода была роскошной. Палящее солнце, толпы приезжих, как на южном курорте в разгар пляжного сезона. Продавцы мороженого. Водные развлечения по демократичной цене. Повсюду галдящие дети, волейболисты, норовящие заехать мячом в распластанные тела привлекательных женщин; жующие физиономии семейных пар, поедающих яйца вкрутую и куриные крылья. Музыка, пиво, вино.

Туманцев долго шел по широкому пляжу, шел туда, где дюны, увитые приземистым диким шиповником, нависали над золотистым побережьем, блестящим на солнце крупными горячего песка. Там, наверху, дуря от медового запаха диких роз, под мерный рокот перламутровых

юрких стрекоз, Туманцев когда-то мечтал, что настанет день, и он заживет в процветающей сильной стране. Ради этого он готов был пойти на лишения, сокрушить любые преграды, исчерпать себя до дна, лишь бы дожидаться воплощения выстраданных идей.

Прошло четверть века. Туманцев стал мудрее. Довел тело до уровня добросовестного ученика мастера цигуна; разумом же проник в глубины общественных перестроений. Но в душе остался романтиком, таким же беспомощным и наивным, каким был в школе и мореходке.

В школе почти каждый день кто-то измывался над его фамилией. Баранцев, Болванцев, Бананцев, Бурьянцев, Обманцев, Оборванцев, Обезьянцев – твердили классные активисты на переменах, встретив задумчивого взъерошенного одноклассника. Эти издевки сходили им с рук, пока Туманцев не набрасывался на обидчиков в коридорах. После краткой нравоучительной беседы он таскал недругов за уши и бил по щекам. В ответ его колошматили рослые лидеры класса. Бойкотов Туманцев не боялся, а на синяки под глазами внимания не обращал.

Готов был Туманцев и к новым испытаниям. По крайней мере, он так полагал, входя в спокойное чистое море. Сегодняшний разговор с Кармановым после ночной оплеухи от Василины расшатал надежду на призрачный, но все же реальный успех. Он снова как бы был на нуле, в крошечном жизненном дрейфе. Все его планы вместе с мечтами о востребованности трудов вновь улетучились, откатились за горизонт, спрятались за лиловой выующейся дымкой, летевшей к пестрому пляжу.

Сколько раз он начинал все сначала, а жить, по сути, не начал.

Туманцев поплыл. Вдох, два гребка, выдох. И снова – вдох, два гребка, выдох. Он плыл отчаянно и смело, умело бороздил теплое дружеское море, ласкавшее пенными всплесками мелкой волны. Он чувствовал, что в состоянии добраться до горизонта. Именно там пряталась промежуточная истина его существования, там, в заветной сияющей дали, таились идеи его планетарных трудов.

Туманцев плыл долго, состязаясь с самим собой. Силы не покидали его. Он знал, что в жизни может добиться всего – нужно только достичь горизонта.

В апреле у Марты родился сын. Тихий, симпатичный младенец. Погремушки его не интересовали. Сквозь цветную детскую бутафорию, натянутую поперек кровати, он смотрел в потолок, иногда поглядывал в окно, наблюдая, как косматые, неряшливые облака ползли по весеннему небу.

Марта назвала сына Олегом. В честь Туманцева.

Александр КРАМЕР

Родился в 1953 году в Харькове. Окончил Харьковский политехнический институт. По профессии инженер, участвовал в ликвидации последствий аварии в Чернобыле.

Поэт, прозаик. Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Сибирские огни», «Дети Ра», «Союз писателей», «Веси», «Дарьял» и других.

Живет в Любеке, Германия.

СИНЬЯЗ

Только роскошные черные, волнистые волосы на мгновение задерживали внимание, а потом, встретив стеклянные, бешеные глаза, которые, казалось, прожгли, до предела натянутую на череп, пергаментную кожу, — желание продолжать разглядывать немедленно и бесповоротно улетучивалось, взгляд позорно бежал в сторону, в сторону, чтобы к лицу этому вновь без крайней необходимости не возвращаться.

1

Ее звали Линдой (она свое имя ненавидела люто!), но большинство знакомых, учитывая ее дальние азиатские корни, сохранившиеся в разрезе глаз, высоких скулах и цвете волос, называли ее — за спиною, конечно, — Синьяз, что значило «синяя язва».

Ей было уже двадцать шесть! А у нее никогда никого еще не было. Никогда. Никого. Она знала, что непривлекательна... Да ладно — уродка! Но это ничего не меняло, совершенно ничего не меняло. Ведь никогда, никого!..

А тут вдруг за нею стали ухаживать... Красивый... В театр ее пригласил. Потом, через несколько дней — в кафе. Потом... по телефону несколько раз разговаривали. Потом он вдруг позвонил и сказал, что есть две путевки в горы: можно пожить на Яворнике в приюте — избушке в горах, покататься на лыжах...

2

Они долго взбирались по ледяной тропе вместе с группой; он тащил ее — оскальзывающуюся, неловкую — за руку, балагурил, знаки внимания проявлял...

Когда добрались до приюта, оказалось, что нужных вещей почти ни у кого с собой нет. Инструктор выбросил на середину огромной приютской комнаты кучу разноцветной одежды, и она, точно птица, налетала на цветной этот ворох, выхватывая каждый раз что-нибудь новое, необыкновенное, яркое. Яркое-яркое!.. Она даже похорошела немного... кажется...

Потом был вечер. Такой, такой! вечер!..

А потом! А потом! А потом! А потом у него... не вышло.

И он орал на нее, как бешеный.

И ударил.

3

В кафе было довольно темно: огоньки цветомузыки бежали по стенам, свечи горели на столиках – вот и все освещение. Линда сидела за дальним столиком, крошечными глоточками пила красное вино, курила и плакала. Нет, никакие бабские слезы она не лила – так не было никогда. В жизни не было! Просто она в состоянии таком находилась, когда слезы не льются потому, что это табу, а внутри все жжет совершенно невыносимо...

Она понять не могла, как этот рыжий сопляк оказался напротив. Он просто вдруг проявился перед глазами – как дух.

«Что, места другого нету?» – рявкнула она так, что он аж с места подскочил от неожиданности, но тут же и отошла, ей даже вдруг стало немного смешно, и она, ухмыльнувшись, милостиво разрешила: «Ладно, сиди пока», – и замолчала, уставившись на огонь свечи, мгновенно забыв о том, что он существует.

Уже посетители стали понемногу расходиться перед закрытием, когда она снова вынырнула на поверхность, обнаружила, что рыжий все еще здесь, и без всякого повода расхохоталась – зло и пренебрежительно, уставившись ему прямо в глаза. Парень пожал плечами, нагло присвистнул и вдруг предложил: «Слышь, чудная, давай пошляемся?» Линда зашлась аж от бешенства, но до желторотого донести его не успела, затормозилась и внезапно, ни с того ни с сего согласилась: «А давай!»

4

Они долго и молча гуляли по пустому ночному городу. Рыжий настырно пытался лапать ее, а Линда отталкивала от себя его руки, стараясь это делать не резко, подавляя брезгливость; при этом ухажер ее дергался, бесился, цедил сквозь зубы, чтоб не строила из себя...

Наконец, они вышли на площадь, освещенную яркими прожекторами. В центре площади стояло ландо с откинутым верхом, запряженное огромной пегой горбоносой лошадью, лениво махавшей пушистым хвостом. Лубочный возница – дебелый мужик в вишневой шапке и лазоревом кафтане, подпоясанном красным кушаком, – сидел развалившись на облучке и лениво курил. Что он тут делал в такой поздний час – одному только богу ведомо, может, ждал случайных клиентов из ресторана, открытого допоздна, может, с кем сговорился... Линда не спеша подошла к лошади, потрепала картинно по белой холке, погладила серый, теплый, чистотой искрящийся бок, с удовольствием вдохнула острый лошадиный запах, прислонилась щекой к горячей лошадиной

шее – тесно-тесно... и неожиданно поцеловала кобылу в огромные теплые губы. Чуть не давясь от хохота, повернулась к своему сексуально-удрученному спутнику и резким, ироническим тоном сказала:

– А теперь ты, – и застыла в небрежной, выжидательной позе, растянув тонкогубый рот в презрительнейшей из ухмылок.

Он глянул на нее как на придураченную, покривился, лихорадочно раздумывая, что делать, но додумать до конца не успел, когда следом раздался внезапный приказ:

– Тогда меня!

Колесики чересчур медленно крутились у рыжего в голове, чтобы реагировать адекватно на такие скачки чужих настроений, а выражение отвращения и брезгливости оставалось у него на лице еще от переваживания прошлой мысли, но Линда поняла, должно быть, что-то свое, такое, что заставило ее сорваться с места и с бешеной скоростью ринуться через площадь...

5

Точно сомнамбула ходила она и ходила по темной пустой квартире, ударяясь о мебельные углы и почти не чувствуя боли от этих ударов; какое-то время сидела перед зеркалом и курила, пристально вглядываясь в серебристо-черную глубину, где был только чей-то смутный, неразличимый абрис вокруг ослепительной красной точки; она вглядывалась до тех пор в зазеркалье, пока мир не стал стремительно и неумолимо сжиматься вокруг головы, не стиснул голову непереносимой, непередаваемой болью...

В ванной комнате, почти машинально, Линда достала из аптечки упаковку с барбиталом, аккуратно высыпала на ладонь горсть таблеток и, глубоко запрокинув голову, в каком-то экстатическом трансе, не спеша стала тонкой струйкой высыпать их в широко распахнутый рот... Поперхнулась, зашлась хриплым, лающим кашлем, согнувшим ее в три погибели, отчего таблетки градом посыпались изо рта на кафель...

6

На ней было узкое черное платье и изящные черные туфельки на каблуках, и в этом наряде Линда казалась совсем невесомой, почти бесплотной...

Она вся пылала! Ровным и звонким жаром горело все изнутри, и от этого и извне все тоже горело: горело все тело... горели руки, лицо и шея... горели глаза, излучая неистовый, нестерпимый свет... даже губы горели, потому что яркая, бешеная улыбка не гасла ни на секунду...

Она угадала! Рыжий сидел за столиком вместе с какой-то общипанной цыпой. Плевать! Линда бесцеремонно протиснулась сквозь танцующих к его столику, уперлась руками в столешницу, вся выгнулась гибким змеиным телом и, от ужасного внутреннего напряжения перейдя на низкий, чуть хриловатый шепот, с самой развязной интонацией, на какую была только способна, осведомилась: «Слышь, чудной, с лошадю целоваться пойдем?!»

ПЕРЕПИСКА

*Посвящается Танечке Эйсер,
которой принадлежит идея
рассказа*

1

Привет. Ты как, жив-здоров?

Привет. Да нормально всё. А как у тебя?

Со мной тоже вроде нормально. Ты сегодня когда будешь дома?

Очень много работы. Не знаю. Увидимся. Пиши обязательно, не исчезай!

Привет. Вчера мы совсем чуть-чуть разминулись. Котлета была еще теплой. Очень вкусно. Спасибо.

Привет. На здоровье. Во вторник сделаю винегрет. Купи к винегрету селедку, пожалуйста. И вообще загляни в холодильник. В доме шаром покати.

Разумеется, все куплю. Только во вторник и среду никак не успею. А в четверг обязательно. Хочешь бургундское?

Нет, купи лучше кьянти Руфина. Я его больше люблю, ты же знаешь.

Договорились. Исполню все в точности. Но только в четверг.

Привет. Я вчера по дороге домой обнял женщину недалеко от подъезда, чуть-чуть не поцеловал. Оказалось, я ее с тобой перепутал. Фигура в сумерках была очень похожа. Смешно, правда? А тебя, к сожалению, не застал. Ты где пропадала?

Очень смешно. Обхохочешься! А я с Викой Перовой и ее обожателем нынешним в театр ходила.

Надеюсь, пьеса была интересной? Ну ладно, не важно, как-нибудь в другой раз обтолкуем. Извини, совсем времени нет. Пока, пока. Зашиваюсь!

Ты только не обижайся, я решила: нам нужно расстаться. Во вторник подаю документы. Повестку, я договорилась, пришлют тебе на работу.

И с чего это вдруг ты надумала?

У меня молодой человек появился. А врать и юлить не хочу!

Как?! Нормальный взаправдашний воздыхатель?

Да нет, конечно, пока только по переписке. Но мы с ним обязательно очень скоро увидимся.

2

Привет. Как дела? Я, знаешь, так странно, соскучился.

Привет и прощай. Мой новый ужасно ревнует. Сказал, что он больше никаких отношений с тобой не потерпит. А я не хочу неприятностей, особенно в самом начале. Надеюсь, ты понимаешь.

Привет. Я все это время по тебе очень сильно скучаю! Ты как?

Привет. Я тебя тоже никак забыть не могу. А так у нас все хорошо. Иногда замечательно просто! Мы даже ребенка хотим.

Извини, конечно, что спрашиваю. А как у вас с этим делом, что вы о ребенке...

Да пока точно так же, как и с тобой.

Но вы виделись?

Ну конечно! Как бы нас расписали иначе?

И что, ты надеешься, что у вас все равно будут дети?

Да нет, надеюсь, что, как и с тобой, их не будет. Кто их будет растить и воспитывать? Да и ухаживать по переписке за ними вряд ли удастся. А иначе что-либо делать я, наверно, уже не сумею.

Привет. Ты как поживаешь?

Привет. Да, как и всегда, всё нормально. Очень много работы. А как у тебя, что ты вдруг ни с того ни с сего объявилась?

Я в последние дни стала вдруг сильно скучать. Как сажусь за компьютер, о тебе вспоминаю.

А я, кажется, начал от тебя отвыкать понемногу. А твой новый-то что? Как его африканские страсти?

Да не знаю я! Где-то он пропадает все время. На меня никакого внимания. Даже писать забывает. Мне кажется, что он, кроме меня, еще с кем-то... Ну, ты понимаешь. Возвращайся. Мне без тебя совсем плохо.

А твой новый на это как, по-твоему, отреагирует? Возьмет, да в припадке ревности отрежет мне голову. А потом до тебя доберется.

Забавно. Только клавиатура, сам знаешь, тупая. И вообще, да ну его на фиг, зануду! Завтра же напишу, что все кончено. Возвращайся, пожалуйста. Я котлеты тебе приготовлю и картошку пожарю...

3

Привет. Ты как поживаешь?

Привет. Пока жив-здоров. Всё нормально. А как у тебя?

Да вроде бы более-менее. Ты сегодня когда будешь дома? Я сильно хочу тебя видеть. Каждый день вспоминаю, как ты меня в загсе обнял!

Извини, очень много работы. Не знаю. Только не обижайся, пожалуйста. Обязательно скоро увидимся. Вечером напишу что бы ни было. И ты тоже пиши, непременно, не пропадай. Я, честное слово, скучаю!

Владимир СЕДОВ

Родился в 1953 году в Горьком. Окончил Высшее политическое училище МВД СССР имени Ленинского комсомола. Работал на заводе, в органах МВД, в научно-исследовательском институте, юристом, председателем фирмы «Русский клуб», министром культуры Нижегородской области.

Прозаик и драматург. Член Союза писателей РФ, председатель Нижегородского отделения Союза кинематографистов России.

Живет в Нижнем Новгороде.

СТЕНА

Когда Вик подрос и стал реально оценивать окружающий мир, отец подвел его к Стене и сказал:

– Вот, смотри, сынок, перед тобой самая большая загадка нашей цивилизации.

Мальчик посмотрел на Стену, которая вертикально уходила в небо, теряясь в облаках, и спросил:

– Папа, а что там за Стеной?

Отец пожал плечами:

– Не знаю, сынок. И никто не знает.

Вик посмотрел направо, куда Стена убегала за горизонт, налево, где было то же самое, и сказал:

– А я хочу знать. Поэтому я узнаю...

– Узнай, узнай... – потрепал отец сына по кудрявой голове. – Тайна всегда притягивает молодых.

Дома во время ужина Вик опять спросил отца:

– Папа, а почему все думают, что это Стена? Может, это просто скала. А может, наш город находится в глубоком каньоне и это вовсе не Стена, а мы находимся на дне каньона.

Отец усмехнулся и сказал:

– Когда-то и я задавал такие же вопросы своему отцу, твоему дедушке, а он в свое время своему отцу, то есть твоему прадедушке. И они отвечали так же, как я тебе сейчас: раньше за этой Стеной простирался такой же мир, как наш, но что-то произошло, а что именно, никто не знает. Только в одну ночь из земли вдруг стала расти Стена. Росла она очень медленно, поэтому все люди, случайно оказавшиеся по ту сторону Стены, успели перейти к нам.

– А какой она длины, папа?

– Неизвестно.

– А из чего она сделана?

– Никто не знает. Какой-то неизвестный материал. Кто только и как не пытался ее проломить за все эти годы. Ее и взрывали, и таранили, и пробивали. Все бесполезно. Пока Стена росла, некоторые смельчаки перелезали через нее, но назад никто из них уже не возвращался.

– А что там с ними случилось?

– Никто не знает. Можно только догадываться. Но наверняка ничего хорошего с ними не произошло.

– Давайте кушать, а то каша остынет, – прервала беседу мама. – Стена как Стена, никому не мешает, ничего не просит. Оставьте ее в покое.

На этом беседа закончилась.

А потом Вик слышал, как мама выговаривала отцу, что он сбивает сына с толку, возбуждая интерес к Стене.

– Ты что, разве не знаешь, что со всеми, кто интересовался Стеной, случались одни несчастья.

И этот тайный разговор родителей еще больше подогрел любопытство Вика. Именно тогда он дал себе слово раскрыть тайну Стены любой ценой. И решил посвятить свою жизнь не глупому времяпрепровождению между сном, едой и семьей, а разгадке великой тайны цивилизации.

Юные годы, вплоть до самого совершеннолетия, он потратил на сбор материалов о Стене. О, это было что-то.

Оказывается, это только сейчас к Стене так привыкли, что ее перестали замечать, а раньше она была прямо-таки притчей во языцех. Она была какое-то время предметом религиозного поклонения и основой многих вероисповеданий. Огромное количество мошенников создали великое множество церквей и религий, признавая Стену как откровение Божие.

Были времена, когда многие пророки предвещали падение Стены и вместе с этим конец света. Но время проходило, конец света не наступал, а Стена, сколько на нее ни молились, была просто Стеной и ничем больше.

Тогда за нее взялись художники, поэты, скульпторы и архитекторы.

Строили целые города из сплошных Стен, где кое-как ютились люди в узких и длинных, как сосиски, квартирах.

Моделировали одежду, больше похожую на обломки Стен, не способную согреть и укрыть от непогоды.

А художники все сплошь изображали только Стену, но каждый в своем видении. Один дорисовался до того, что изобразил Стену в виде замкнутого квадрата с полной беспросветной чернотой внутри.

Поэты сочиняли поэмы, писатели – романы. Музыканты – симфонии и популярные шлягеры.

Даже был период, когда появлялись женщины, забеременевшие, по их утверждению, от Стены.

Одно время почти все население планеты носило одни и те же имена: мужчины были Стенами, женщины – Стенатами.

Все это было, конечно, интересно, но к разгадке тайны – для чего и кем была воздвигнута Стена, что она скрывает за собой – Вик не продвинулся ни на йоту.

Впервые забрезжил просвет, когда он уже окончил институт.

При изучении уголовного права Вик неожиданно наткнулся на законы, запрещающие все полеты в воздушном пространстве у Стены,

над Стеной и за Стеной, на любых видах аппаратов под страхом смерти.

Попытки попасть в архивы для изучения этого проблемного вопроса наткнулись на жесткий отказ и привели к неприятной беседе в учреждении закрытого типа.

Поняв, что здесь что-то есть, Вик сделал вид, что вопрос воздушного перемещения возле Стены его больше не интересует, и взял тайм-аут.

Уехал из города, сменил несколько профессий и, наконец, уже легально, по роду своей службы, сумел получить доступ в архивы, так строго засекреченные.

И дураку было понятно, что запрет посещения воздушного пространства напрямую был связан с тайной Стены. Не могла же она быть выше космоса. Значит, кто-то очень не хотел, чтобы люди, поднявшись в небо и перелетев Стену, узнали, что же находится за ней. И что самое странное, в архивных документах Вик находил дела, из которых становилось ясно, что были смельчаки, которые строили всевозможные летательные аппараты от воздушных шаров до примитивных аэропланов, от ракет до антигравитационных площадок – и пытались перелететь Стену. Их всех ловили, и после этого они навсегда исчезали в тюрьмах.

Но из архивных документов также было ясно, что некоторые из них все же побывали за Стеной. Но почему-то они все как один по возвращении обратно тут же попадали в сумасшедшие дома с очень сильными психическими расстройствами. Однако архивы, констатируя все эти факты, не давали ни намека на то, с чем там столкнулись эти смельчаки. Выходило, что те, кто пытался перелететь Стену, сидели в тюрьмах, те, кто перелетел, содержатся в психбольницах.

В дальнейшем при более подробном изучении этой темы Вик выяснил, что были и иные попытки проникнуть сквозь Стену. Это и команды альпинистов, и группы землекопов, и поджигатели, и взрыватели.

Со временем Вик стал понимать, что Стена – это не просто проблема. Это что-то большее. И, очевидно, те, кто так плотно охраняет ее тайну, знают, что там, за ней, и по какой-то причине не открывают эту тайну остальным людям.

Почему?

Что это?

Может, то, что там, за Стеной, способно нанести вред всей их цивилизации?

А может, наоборот? Это «что-то» приведет к всеобщему счастью и процветанию всего населения планеты, а маленькая кучка, узурпировав это счастье, сама и только сама пользуется этим счастьем?

Чтобы на это ответить, нужно было сделать только одно – самому увидеть то, что находится за Стеной. И Вик путем невероятных усилий – от предательства, подлости, до самой унижительной лести и самоотречения через много лет, уже к своей старости, попал в один из закрытых отделов одного закрытого управления.

К тому времени у него не было ни друзей, ни семьи, ни близких. Он даже не знал, где похоронены его родители и братья. Да и со здоровьем у него тоже было уже плохо.

Так вот, он, пройдя всевозможные системы проверок, тестов и психобработок, с бьющимся сердцем открыл дверь этого отдела.

Лучше бы ему не родиться на белый свет.

Лучше бы отец никогда не показывал эту проклятую Стену, ради которой Вик прожил жизнь как последний червяк, одинокий и больной.

Оказалось, вся тайна Стены заключалась в одном: когда-то человечество, замученное проблемой мусора, просто разделило планету на две части Стеной. В одной половине жили люди, а в другую сваливали мусор. Когда мусора стало очень много, правительство стало строить стену, чтобы от мусора не воняло и не было бы видно этого хлама.

Ну а потом, когда Стена стала культом, решили не разубеждать людей в этом и вообще засекретили свалку, а Стену сделали загадкой.

А тот закрытый отдел, куда Вик так стремился, был ничем иным, как отрядом мусорщиков, который собирал всю грязь с чистой половины планеты, где жили люди и Вик в том числе, и через специальные проходы отправлял его на другую, ужасно загаженную половину планеты.

Вот тебе и Рай, Стихи, Картины, Симфонии...

Как тут при осознании, что вместо бриллианта ты нашел грязную кучу мусора, не сойти с ума?

И Вик сошел.

Бе-е-е...

Дмитрий БИРМАН

Родился в 1961 году в Горьком. Окончил Горьковский инженерно-строительный институт, а также Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского (экономический факультет). Работал инженером, затем занимался бизнесом. Неоднократно избирался депутатом Нижегородской городской думы, занимал пост заместителя главы Нижнего Новгорода.

Поэт, прозаик, автор шести книг, лауреат премии «Писатель XXI века», литературной премии имени Эрнеста Хемингуэя.

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

ЮБИЛЕЙ

Юбилей не задался. Расслабив узел модного галстука, Александр Николаевич Синельников раздраженно смотрел на действо, эпицентром которого был он сам.

Гости уже находились в том состоянии, когда причина и место не имеют значения. Лихой разгуляй взрывался то дружным: «Ура имениннику!» (при этом в сторону Синельникова никто не смотрел), то яростным «танцем животов» (публика на торжестве была зрелая и упитанная).

Черт его дернул пригласить Ленку на своё шестидесятилетие!

Как-то вечером, примерно за месяц до юбилея, он отправил ей СМС, наслаждаясь своим благородством и умением забывать обиды, уверенный, что она откажется.

Александр Николаевич прожил в первом браке двадцать пять лет. Через полгода после того, как отпраздновали серебряную свадьбу, он собрал чемоданы и ушёл к Ларочке.

Ленка не скандалила, но историю о своей тяжелой доле разнесла по всему городу.

Дескать, не нужна стала и оставил её муженёк без средств к существованию после двадцати пяти лет счастливой семейной жизни.

Про «счастливую» семейную жизнь и «без средств» было полное враньё!

Ругались часто, последние пять лет спали в разных комнатах, а сын вырос не в любви и радости. К тому же Синельников оставил Ленке большую квартиру в центре города, дачу в сосновом бору, дал денег на butik элитной одежды, который она давно мечтала открыть, и определил

ежемесячную материальную поддержку. Кроме того (ну, это само собой), все расходы сына, уехавшего после университета покорять Москву, тоже были на нём.

Только по-хорошему с Ленкой не получалось. Общаться перестали совсем, даже при встрече не здоровались.

Постепенно новая жизнь вытеснила из Александра Николаевича раздражение на Ленкино враньё и на то, что часть друзей, поддавшись на него, перестали общаться с Синельниковым.

Ларочка родила ему дочку, наладила быт, окружила теплом и любовью.

Незаметно пролетели десять лет. Сначала Синельников не хотел отмечать день рождения, потом думал перенести юбилей на следующий год – пандемия диктовала новые условия жизни, но Ларочка настояла.

– Надо обязательно отмечать, Сашунь! И день в день! – ласково нашептывала она ему перед сном, а когда он пытался возражать, закрывала его рот долгим поцелуем.

– Сашок, чет ты того! – навис над ним Леха Рогов, школьный товарищ и партнёр по бизнесу.

– Нормально! – Синельников наконец справился с узлом на галстук, расстегнул две верхние пуговицы на рубашке, шумно вдохнул воздух и вытер салфеткой мокрую от пота шею.

– А Ларунчик где?

– Свету домой повезла.

Леха качнулся, аккуратно взял бутылку водки, разлил в рюмки до краев и сказал:

– За тебя, Сашок! Знаешь, как я тебя люблю?!

Леха давно, ещё с начала девяностых, обязательно покупал в дьюти фри «Фаренгейт».

– Леха, я скоро огурцы есть перестану! – возмущался Синельников вдыхая плотный шлейф аромата туалетной воды от Кристиан Диор.

– Ничего не огурцы! – возмущался Рогов. – Это запах океана!

– Лучше бы ты на океан поехал и нанюхался на год вперёд! – морщился Александр Николаевич.

Когда Ларочка вернулась с педикюра-маникюра, на который, по её возмущенному рассказу, нерадивой маникюрше потребовалось четыре часа, он сразу узнал этот запах. Он ни с чем не мог его спутать. Тогда впервые в жизни он смолчал. Сделал вид, что ничего не случилось. Просто он очень любил дочь и свой бизнес, который медленно, шаг за шагом выстраивал уже тридцать лет.

Вот только Ларочку он перестал хотеть, хотя она, начитавшись в интернете и наобсуждавшись в фейсбуке о снижении (с возрастом) либидо, сделала в постели абсолютной затейницей.

– Любишь? – Синельников приобнял Лёху за шею.

– Очень! – ответил тот и ткнулся мокрыми от морса губами в щёку партнера.

Лёха развёлся после того, как, неожиданно вернувшись домой, застал жену, нежно ласкавшую язычком причинное место Синельнико-

ва-младшего. Он просто повернулся, ушёл хлопнув дверью и больше никогда не приходил в свою квартиру. Даже за вещами. Купил всё новое и стал снимать жильё, обязательно меняя его не реже чем раз в год.

Так же Лёха поступал и с женщинами.

Александр Николаевич тогда, первый раз в жизни, ударил сына по лицу и отправил с глаз долой в Москву.

Синельников-младший на отца не обиделся, но отгородился от него стеной вежливого молчания. Вот и теперь – прислал в подарок дорогие часы, с гравировкой на обратной стороне «Don't worry, be happy!», а сам не приехал.

Синельников сначала убрал красивую коробку полированного дерева подальше, в нижний ящик письменного стола, а потом все же надел Брге на левое запястье, под праздничный костюм.

Юбилей начался складно и весело. Приглашённый ведущий искрометно шутил, гости вкушали деликатесы и ждали, когда вечер украсит приглашённая звезда. Кто-то говорил, что Агутин, кто-то, многозначительно поднимая брови шептал, что Шуфутинский.

Ленка пришла в коротком платье с глубоким декольте.

«Подтяжку, что ли, сделала? Губы вроде силиконовые. Да и грудь больше, и выше стала», – Александр Николаевич с интересом рассматривал бывшую жену.

Когда, как пел Высоцкий, «дошло веселие до точки», к гостям вышел Леонид Агутин. Синельников понял, что в грязь лицом не ударил и многим утер нос, показав, что такое юбилей.

Он вышел на улицу немного освежиться. Конец мая. Теплый ласковый ветерок.

– А помнишь, двадцать пять лет назад была такая же погода, мы убежали с твоего дня рождения и ты любил меня на скамейке в парке? – Ленка выдохнула дым.

Её глаза горели, как огонёк сигареты, а он вдруг, не понимая, что с ним, притянул к себе давно уже нежеланную бывшую жену и начал жадно целовать губы, шею, грудь.

– Любовь вернулась?! – визгливый голос Ларочки за его спиной обещал феерический скандал.

– Да пошли вы все! – Синельников оттолкнул Ленку, отмахнулся от жены и, вернувшись к своему именинному столу выпил фужер водки.

Александр Николаевич не простил себе, что, не сдержавшись, ударил тогда сына. Он тяжело переживал, что они почти перестали общаться. Прошло уже десять лет, но Синельников так и не находил ответа на вопрос, который мучил его все эти годы.

Он часто просыпался ночью, выскальзывал из-под одеяла, придерживая ручку, аккуратно, чтобы не разбудить Ларочку, закрывал дверь в спальню, шёл на кухню и долго стоял у окна. Мысли роились, наскакивая одна на другую, то вдруг разбредались в потаённые уголки, и он бездумно смотрел на мерцающее название бара в доме напротив. Буквы складывались в какой-то узор, как цветные стеклышки в калейдоскопе его далекого детства, а потом снова становились буквами. «БарСук» – именно здесь Синельников познакомился с Ларочкой.

Он не находил ответа на вопрос, мучивший его все эти годы.

«Как, почему и зачем Лёхина жена всё это затеяла?!» – бесконечно крутилось у него в голове.

Александр Николаевич вытер обслюнявленную Лёхой щёку и, продолжая обнимать левой рукой, правой накинул на его шею нарядный, недавно развязанный галстук и, ухватив его уже обеими руками, начал душить Рогова.

«Мальчик хочет в Тамбов!» – голосил зал, хрипел, становясь красным как свекла, Леха, через открытое окно слышался женский визг.

Вновь обретая утраченную легкость и уверенность, юбиляр, чуть ослабив петлю, шептал Рогову:

– Любишь, сука? Любишь?!

Дмитрий ИГНАТОВ

Родился в 1986 году в Ярославле. Проходил обучение в ЯГТУ по специальности «инженер-педагог машиностроения». В настоящее время – дизайнер и веб-разработчик, пишет сценарии для кино, ТВ и рекламы.

Публиковался в изданиях «Знание – Сила», «Знание – Сила: Фантастика», «Искатель», «Нева», «Дарьял», «Байкал», «Смена», «Нижний Новгород», «День Литературы», и других, в альманахах и сборниках. Автор романа в рассказах «Великий Аттрактор», иронического фэнтези «Кампания Тьмы», хоррор-повести «Первыми сдохнут хипстеры» и сатирического справочника «Это ваше FIDO».

Живет в Воронеже.

НЕЙРОКАПСУЛА

Осень наступает по всей округе. Раздевает яблони в саду. Золотит рябины на полянах. Пунцовой краской расписывает осины на болотистом берегу. Да и от самого озера всё чаще по утрам тянет холодком. Никакого удовольствия кататься в лодке и неторопливо рыбачить. Тут и улов не в радость. Зябко Петровичу, дома лежит. Перевернется с боку на бок, закутается в одеяло потеплее, ногу в шерстяном носке спрячет внутрь. А сна уж нет. Так лежит. Думы думает. Их-то у него много, дум-то. Вот, взять, к примеру: зачем он тут? Зачем-то же ведь нужен, раз есть. А если так, то зачем-то конкретно или абстрактно вообще? И ежели конкретно, то тогда, конечно, лучше. Вот так думается Петровичу. Но больше про науку думается.

Повернется Петрович на старой тахте. Мыслями в голове скачет, глазами по дому бегает. Вещи по углам побросаны. Беспорядок. Хаос. Всё не с руки его разгрести. Да и лень всё. С утра в дом с улицы зашёл. Куртку свою хотел на гвоздь пристроить. Не попал. Так и валяется. Шапка опять же. На табурет колченогий кинул. Сползла. Тоже на полу в углу. Ведро ещё надясь впотьмах ногой задел. Так и лежит на боку. Только палец зашибленный на ноге болит.

Да... В своём доме порядка не наведём, а всё туда же... Куда там со Вселенной управиться? Грустно Петровичу. Вздохнёт. Заворочается. Сам подымет, пойдёт и ведро подымать. А может, так и надо оно? Хаос. Беспорядок. Самый естественный ход вещей это. Термодинамическая стрела времени, уносящая всё в сторону нарастающей энтропии.

Вот и ведро почти проржавело. Скоро совсем прохудится. И ладно. Толку-то с него? Всё одно – пустое стоит.

Картошки начистить, что ли... Наберёт Петрович картошки. Под краном холодной водой в миске сполоснёт. Табурет переставит поближе к свету. Сядет над ведром. Чистит. Очистки внутрь пустого ведра сыпет. Думает.

Вот взять хотя бы, к примеру, частицу. Ну вот атом, к примеру. Нам-то он кажется вполне себе материальным. Вот как картошка прямо. Ну-тро плотное. Снаружи кожица – ещё плотнее. На ней глазки-электроны рассыпаны. Модель грубая, конечно. Масштаб не выдержан. А как взглянешь на него поближе – вот уж ни глазков, ни кожицы... А так – электронные облака одни вокруг ядра сгущаются. А промеж что? Ничего. Пустота.

Гулко падает очисток в ведро. Брякается об эмалированное дно, побитое сколами, подёрнутое оранжевой ржой. Скрипит нож в хрустящей крахмальной мякоти. Идём дальше. Ядро. Прямо в серёдке. Попробуешь нащупать его. Проведёшь эксперимент по рассеянию заряженных частиц. И вот же оно. Вполне себе осязаемое. Натуральный шарик. Хотя щас бери в руку, как эту вот картошку, да пуляй магнитным полем, куда хочешь. И вот уже тебе и Большой адронный коллайдер. БАК... И открытия. И новые семейства частиц. И стандартная модель.

Летит белый очищенный кругляш в алюминиевую кастрюлю с водой. Не бак, конечно. Но тоже большая. Шлёпается о холодную поверхность. Тонет. Капли брызгами вверх, а по воде только круги идут. И вроде бы и дальше понятно всё. Режь да режь. Нейтроны. Протоны. Кварки... Ан нет. Уже не режутся. Конфайнмент. И вроде всё те же шарики. Да не те же. Кирпичики мироздания. Да не кирпичики. Кубики не кубики. Кусочки не кусочки. Так. Капельки. Пена. Возмущения квантового поля. Эхо Большого взрыва. И кварки. И атомы. И звёзды. И мы. Всё. Всё кругом! Круги на воде. Кипящий вакуум.

Ставит Петрович кастрюлю с картошкой на плиту. Задумывается. Переборщил чего-то. Часть воды в ведро с очистками с шумом отливает. Вот тебе и вакуум. Это же только на словах просто. Пустота – она и есть пустота. А на деле что твоя жидкость. Кто её знает, на каком она энергетическом уровне. Вроде стоит себе спокойно. Всё видно. Всё прозрачно. А до дна-то ещё много. Глубоко оно. А как начнёшь подводить энергию, то так закипит, что и через край польётся... Вот тебе и стабильность. Метастабильность. А что же плита-то не зажжена? Спыхватывается Петрович. В карманах шарит. Достает коробок со спичками. Вот уж бы и поджечь, да медлит что-то. Вечно эта манера людская на ходу передумывать. Смотрит на сковороду. А картошку бы и пожарить можно. Только с чем? Печально с пустом-то... Грибов набрать? И то дело.

Поднимает Петрович куртку. Ножик перочинный в кармане проверяет. На месте. Шапку на голову натягивает. Бородку почёсывает. Пакет, что ли, сунуть в карман? А то, глядишь, там и грибов-то нет. Или корзину взять? Большая уж больно. Да нет. С корзиной-то оно сподручней. Берёт корзину. Из дому выходит. Дверь захлопывает, не закрывши замок. А зачем? Кто залезет? Один тут.

Когда-то давно были у него жена и дочка. Так давно, что он и сам уже не помнит, были ли они точно. Может, сам их выдумал да потом забыл, что выдумал? Сконструировал себе реальность и живёт в ней. Нет. Вроде были.

Грустит Петрович. Ходит по лесу. Грибы собирает. По болотистому берегу мимо осин пройдёт. По-за кустами траву обшарит. Вслед за

соснами на холм подымет. Оглянется на полянке по сторонам. Каждый гриб он выучил. Каждый знает. Каждому имя дал. Малыши-маслята. Толстяки-белые. Потянется за яркой шляпкой да пнёт от обиды... Вот же ж кузькина мать! Мухомор. Да только не на кого обижаться. Вокруг только сосны своими стволами ввысь тянутся. Островежками макушками в небо тычут. К звёздам хотят. Не до грибов им.

Вздохнёт Петрович. Дальше пойдёт. По тропинке вниз с холма. Мимо кустов опять. А там и снова озеро с заболоченным бережком. Вроде напрямик старается, а всё кругами ходит. Ноги словно сами заворачивают, от дома уйти не дают. Прирос к своей земле Петрович. А может, и хорошо это? Не заблудишься.

Наматывает Петрович петли повокруг озера. Устанет. Выйдет снова к соснам своим на пригорке. Там на полянке на поваленный ствол присядет. Солнце пригревает. Тепло. Щурится Петрович с непривычки от яркого света. Рукой траву задумчиво пригладит. Вроде не касается почти. А трава под ладонью пригибается, словно слушается его.

И тихо так. Спокойно. Хорошо. Настолько хорошо, что будто и не настоящее всё какое-то...

И вакуум этот ваш ложный. Ложный, как пить дать! Вот бы проверить как. Взять бы какую чёрную дыру. Да не простую, а такую сверхмассивную, что все ваши излучения Хокинга на границе горизонта событий, все ваши квантовые эффекты в полный рост повылазили. Да вторую приладить. Да исхитриться, и ею по первой садануть как следует. Вот тогда это самое метастабильное состояние и скувырнётся. Должно скувырнуться. Локально хотя б. А там, глядишь, цепная реакция всё за собой потянет. Материю. Пространство-время. Всю Вселенную!

Весело Петровичу. Улыбается. Ожил. Глаза горят. Идеей вдохновляется. Обмозговывает. Теория теорией, а эксперимент дело такое... Переводит науку в плоскость инженерных проблем. Только на Земле нашей грешной всё это не провернёшь и не проверишь. Никакой энергии не хватит. Это ж в космос лететь надо. Прямо туда, куда сосны свои макушки наострили. К чёрной дыре. В центр галактики. А то и не нашей. Далеко. Тысячи световых лет. Десятки тысяч. Жизни всего человечества, может, на такой полёт мало будет. Не то что одного человека. Человечка. Человечишки...

Приглядится Петрович. Очки на носу поправит. Рядом с ним в складках коры вдоль ствола муравьи ползают. Мизерные такие, а тоже копошатся. Что-то делают. Свой мир строят. Подденет Петрович одного на свой ноготь. Поймает. Вверх поднимет. Поднесёт поближе к очкам. Тот мечется. Растерялся. Головёшка глупая. Маленькая. Меньше спичечной. Меньше булавочной. Посади такого в коробок, а то и в какое пространство поменьше, так он же ему целым миром почудится. Важно-то, как ни странно, совсем не то, что по-всамделишному есть. А именно то, что кажется. В отличие от муравьишек нам-то главное не дышать, не пить, не есть. Не лес, не озеро, не картошка с грибами. Воспринимать, представлять, мыслить – вот что. А остальное так – необходимые для этого условия. Отреши от них человечка. Помести в коробку высотой сантиметров тридцать. Да и пускай себе в космос, куда сосны устремились. Сам он себе свой мир сделает. Сам обустроит. И никакие десятки тысяч световых лет не страшны.

Кто-то скажет, что это же всё иллюзии. Обман и фикция. Что заперт такой человек в их плену. Сидит внутри своей капсулы, как муравьишка в спичечном коробке. Да и сам-то человек ли уже? Так. Цифровая

симуляция сознания. Допустим, оно и так. Да только может такая симуляция до звёзд добраться. А человечешка навряд ли... Да точно! Никак не может. Вот и получается, что внутри мы намного свободнее, чем снаружи. Делай что хочешь. Изобретай. Создавай. Думай. А капсула пускай летит в наружной темноте, куда ей следует. Да и не так ли разве было всегда на нашей Земле, ежели подумать? Сидим на шарике. Ходим по замкнутой поверхности. В мысли погружаемся. Природой любимся. А снаружи что? Как крутится? Куда несётся? Почему? Зачем? Никто и не задумывается почти.

Дунет Петрович на муравьишку. Тот улетит куда-то вниз в послушную приглаженную траву. В темноту между зелёными стебельками. Так, что и не видно его. Черным-черно. Что же это там такое чёрное? Не так как-то. Приподнимется Петрович. Стёкла очков протрёт ещё раз для порядку. Прищурится. Раздвинет зелень руками. Разгребёт листву. А там не мох. Не почва. Не земля. А дыра. Пустота. Ничего. Точно. Не Земля.

Вот ведь прореха! Разозлится Петрович. Схватится за края дыры. Потянет в стороны да начнёт всё туда скидывать. Корзинку свою. Грибы. Сосны. Озеро с лодкой. Дом с палисадником. Кастрюлю с картошкой. Ведро дырявое. Один останется. Выдохнет. Успокоится малость. Всё. Самому-то падать больше некуда. А лететь-то ещё ой как долго. Чего же зазря в пустоте висеть. Делать нечего. Придётся всё назад собирать. Пространство замкнёт вокруг. Свет наладит. Небо с облаками. Землю с холмами. Озеро с водой. В саду яблони облетают. На полянах рябины золотятся. На болотистом берегу осины пунцовой краской расписаны.

Оглянется по сторонам Петрович. Улыбнётся. Хорошо вышло! Всё нравится ему. И сосны. И дом. И озеро с лодкой. И вот ведро тоже. Новенькое. Эмалированное. Дно гладкое, прочное. Стукнешь – звенит. Может, человека ещё какого сконструить? Задумается. Нет. Не надо. Только мешать будет. А дел-то много ещё... Метастабильный вакуум – это вам не картошка с грибами. Соображать надо. Вот только осень. Холодает. Так и тянет поспать. Пойти, прилечь, что ли?

Поэзия

Лариса БУХВАЛОВА

Родилась в 1969 году в городе Павлове Нижегородской области. Окончила Павловский автомеханический техникум, Работает в ОАО «Павловский автобус» инженером-технологом.

Публиковалась в журналах «Нижний Новгород», «Литературный меридиан», коллективных сборниках и альманахах. Автор пяти книг стихов.

Дважды финалист и дипломант международного фестиваля «Мгинские мосты» (2016, 2017, Ленинградская область); лауреат Всероссийского фестиваля «Чистое детство», дипломант двух Всероссийских фестивалей «Русский смех» Живет в Павлове.

ПСАЛМЫ ЗЕМЛИ

Навоз

Февраль пришёл. Не поле роз.
Не на приступках сада Рая.
Трём бабам привезли навоз.
И мы навоз тот убираем.

Аж крушья смачные летят
На белый снег, жирнее сала.
Три бабы на родной усад –
Мы возим клад в корыте старом.

Весь снег в следах и колеях.
Рядами ухнутые груды.
Навозом сдобно мир пропах.
И дух поддонный абсолютно.

Мы к вечеру в навозе все.
Как розы пахнем паром пахот.
А чем, скажите, на земле,
К её груди припавши пахнуть?

Мы, улучшая пуп земли,
Пупок родимый надорвали,
Впрямь у столпов святой любви
По-бабьи сгорбившись над краем

Руси, где клином солнца свет
В заречье пал к макушкам сосен.
А мы – торты кладём на снег,
По голубому насту возим.

Неведома нам цифра тонн.
И не важна нам, бабам, точность.
Сошлись на раз мы с трёх сторон,
Соединяя звёзды с почвой.

И флягу с ледяной водой
Втроём затаскиваем в баню.
Гудит в печи рябой огонь,
А снег на валенках не тает.

Я знаю, что за нас никто
И там, в Его Садах простёртых,
Псалом Земли не пропоёт
В седое небо в знаках твёрдых.

Чтоб вправду встало поле роз
В недостижимых кущах Рая.
Нам надобно возить навоз
Из грешной жизни прорастая.

* * *

Из избы несу в корыте
Горы тряпные, отжатых
Простыней белёных кипы,
Занавесок мятый бархат.

Глубоки снега по марту.
Облака – в них Солнце светит.
А бельё-то вешать надо,
Чтоб проветрил ткани ветер.

Чтоб от смерти до бессмертья,
В явь их сквозь ветра продули,
Провертели в круговерти
Мировой небесной бури.

Над ноздрястым настом марта,
Над малин седой тесьмою,
В бархатных кистях косматых
Обдаёт меня весною.

Как шагну назад снегами,
Облаками неба, Рая –
Провалилась, ровно камень,
Грубая, насквозь земная.

* * *

Он надувной воздушный шар –
мой мир. И я лечу.
Смеются, глядя стар и мал
на сей небесный чум.

Из неизвестных я пород.
А шар – из лоскутов.
Тряпичный дом, где будет род
сиять сквозь тьму веков.

Хоть много не скажу я слов,
но я в Его руке.
Меня ваял Андрей Рублёв,
мазнув лишь в уголке.

Да, я чумная и черна.
Но смел мой божий дар.
С сожжённых досок я сошла,
пожёт мой мир пожар.

А я и с чернью в серебре
твержу, что я в Раю.
И вижу – что есть на Земле.
Что вижу, то пою.

* * *

Не колокол, а чугунок.
Не купол, а шатёр дырявый.
Под ним пророчество пророк
Старухам шепчет – не для славы –

Для оберёга, для мольбы,
От бед, от «сотоны» поганой.
Хоть смертны мы, но есть сады –
Над нами всеми осияны.

И возле храма бьют ключи.
Затем таинственно и свято
То место. И служенья чин –
Он вещим сном свечей объятый.

Вот стукнет ветер в чугунок,
И свет пронзит всех нас звездами
Сквозь чёрный древний потолок
Всем царством неба там, над нами.

А мы – старухи именин –
В нас страхи струпьями набрякли.

Боимся, но уже храним
Свет меж ладоней в клочьях пакли.

Тропою узкой через лес
Мы шли под синими дубами
В сад пробуждений и чудес
Косматыми, в звездах, снегами.

Гундось же, седенький пророк,
Бог знает, чем в лесу хранимый –
Шатром, над коим, одинок,
Жив крестик злом неодолимый.

Да будет час и выйдет прок –
Ты, странник, над ручьём склонишься.
Шепчи же, старенький пророк.
Жгись, в ледяном ключе водица.

Дом накрённый

Дом подгнивает с полуночной стороны,
И на вагонке буквицы писем видны.
Мхи напозаю замедленно на кирпич,
Дождиком ночь в височную мышцу стучит.
Пыткой становится явственной, земной.
Крен нарастает. Снится всё вниз головой.
Дом подгнивает. Так в почву врастает он.
Тельным венцом занемогшим, подпревшим венцом.
Ей растолковано, бабушке-то, давно –
Дом оседает. «Беда, созрело звено...» –
В валенках шатких сгорбится у окна.
Вспомнит, и страшно – жизнь её с неба видна.
Дом-то накрёнется с бабушкиным лицом...
Мне не заметно, всё думаю не о том.
К прялке садится и щупает веретено.
Глазом незрячим прищурится, где бельмо.
Белое-белое. Ночью вскочит: «Домой!»
«Дома ты, бабушка». – «Дяденька часовой,
Смилуйся, бабушку к маменьке отпусти!»
И, не узнавшая внучку дальше летит.
Но спотыкается, падая в темноте.
Дом-то за бабушкой... да увлекает всех –
Видно лишь краешек – в морок впадает дом.
Бабушка встанет и выйдет на свете, на том.

* * *

Убывающие избушки
На Семёновой, во снегу.
Холода на её горбушке
Меж сугробами, во гробу.

Я иду. Только хруст тяжёлый.
Звёзды свесились свысока.
Во глубинке, под тьмой пудовой,
Груд высокие облака.

Это холмы, по смыслу – горы
Лишь для бабушек, во грусти.
То провинции ход нескорый –
Чтоб не баяли – по пути.

Всё равно одно возвращенье –
В три окна над горбом избу.
И великое превращенье
Лет немилостивых в Судьбу.

Фотимья – бели льны

Взошло Ярило на холмы.
Над миром золотое встало.
Горят снега – конец зимы.
Звенят и плавятся кристаллы.
И я – Фотимья – вышла в Русь.
С холстами жизни над снегами,
Босыми белыми ногами
Лебёдушкой плыву – белюсь.
На Солнце – на Ярило, гляну
И на снега, как лебедь, лягу –
Жених мой в небе – им белюсь.
Не отступлюсь и не угасну.
Под ним, сомлев, со льнами ясну
Во всю полуденную Русь.
Фотимья я, как лён белюсь.
Свети, Ярило! Всё мне мало –
Как лён крылами встрепенусь.
Я для тебя вся белой стала,
Светла, чиста, бела, как Русь!

Дмитрий ЛАРИОНОВ

Родился в 1991 году в городе Кулебаки Нижегородской области. Окончил филологический факультет ННГУ.

Публиковался в журналах «Звезда», «Дружба народов», «Юность», «Кольцо А», «Нижний Новгород», «Плавучий мост» и др. Шорт-лист Волошинского конкурса (2017, 2019), участник совещания молодых писателей СП Москвы (2018). Финалист премии «Лицей» в номинации «Поэзия» (2020).

Живет в Нижнем Новгороде.

ЛИШЬ ПОТОМУ, ЧТО ЧАС ЗЕМНОЙ НЕДОЛОГ...

Памяти Чурдалева

Играет ножичком на Лыковой;
сидит с иголки клифтец.
Закат толчеными гвоздиками
смещает облачный свинец.

Он точно был в «КОГИЗе» Рябова,
сюиту жизней я читал:
хранил в руках живое яблоко,
переходя ночной квартал.

Но на страницах ранней «Юности»
не довелось быть рядом с ним.
Не по знакомству, не по глупости –
смотри – на Лыковой стоим:

Денис, Владимир и товарищи
/и не спросить: «Чего-чего?»/;
а рядом – под звездой мигающей –
задумчив Игорь Чурдалев.

Спешит один на Караваиху,
другой – умчал в Автозавод.
Взят «Кенигсберг» и левый Heineken.
Вся жизнь пошла наоборот.

Другие облака

Кружила бабочка */исчезла/*,
река в апрель перетекла;

а я курил помятый «Честер»,
смотрел другие облака.
«Ни древний Родос, ни Гавана, –
твердил себе. – Ни Лимасол.

Я вопреки – любил упрямо».
И пел БГ с альбома «Соль».
<...> но облака смещали тучи,
потом черемуха цвела.
Рюкзак и плеер многим лучше
сбивали перечень утрат.

Не говори, обычный метод.
Другие песни прогони.
Проснусь и я лиловым летом,
где во свету лежим одни.
Обоим, верно, под двадцатник
/блестит заколка у окна,

молчит будильник у кровати/.
Идут другие облака
и чайки – разрезают утро.
<...> полуоткрытое окно.
И целый мир ежеминутно
опять сдвигается в одно.

* * *

Темнота океан накрывала,
и кальящик гашиш приносил.
Сквозь муссон по пустому кварталу
уплывали стрекозы в жасмин.

На тебе было черное платье.
Слабый шум разгонял вещества.
«Ничего, – говорила. – Покатит».
Нам катило. Хмелели едва.

За такие мгновения яви
неоглядной */минувшей/* любви
я теперь лишь молчанию равен.
Не вдыхай его. Лучше сорви.

На тягучей – намеренно светлой –
толчее непогасшей воды
без исхода – волнуется лето –
и течет кипарисовый дым.

Лимонов

В индийском воздухе не растворился:
оплыл Москвы бесснежный март

на оболочке влажного ириса.
Качнулась времени корма:
Ист-Сайд, Вест-Сайд, пустой парк Иоанна
и Сены – мутная вода –
стремит к Ла-Маншу два тюльпана.
Он прожил эти города,
он был герой в плаще. И сочинитель.
Потом – бушлат и Вуковар,
опять Париж, Москва. Наезды в Питер
в пивных обтерли рукава.
Через кострища флагов возвращался,
режимный Энгельс вспоминал.
Другим – Венеция и Талса –
а у него – иной финал.
Не за одну звезду в покатом небе
жизнь обернулась колесом:
в его глазах свободы соль. И пепел.
И троекуровский песок.

Стороны света

I

Размыт среды диапазон, а прежде точно были
борей полночный и муссон. Неслись автомобили.
И нет земного словаря, грамматики и чаек,
верлибров Ива Бонфуа. Лишь вакуум. Молчанье.
Неплохо бы перечитать. Всего одну цитату
перенести тебе в тетрадь. Поехать утром в Тарту.
Там кем-то виден резонанс: взлетает хищный ястреб,
бежит река среди пространств. Пересыхает август.

II

И ничего, что важно мне, уже не переправить –
несоразмерно глубине вползает вечность в память.
Лишь потому, лишь потому, что час земной недолог,
а луч пересекает тьму – я полюбил твой город
с *обратной стороны* письма. С той стороны, в которой
внекалендарная зима. И камешек лиловый
цветком мелькает по ночам. За стекла отблеск брошен:
горит библейская свеча. Мир прирастает прошлым.

Полковник

Вдали от скорых электричек,
от моря синего вдали,
он гнал по зимней Кузнечихе
и песни Хрынова хвалил.
«У нас была такая юность, –
обосновал. – Пойми, студент,

ну, чёрта мне? Я не рисуюсь.
Полковник? Умер в сентябре».

/стучал мотор на старой «Волге»/
Я понимал, но сам молчал:
пока во свет до смерти вогнан –
не по тебе горит свеча.
«А у Ильинской в “Паутине”, –
ответил он. – Последний раз
живым его с Поведским видел».
Затем включил Tequilajazzz,

и мы уехали в Щербинки.
<...> перемотал – десяток лет –
звучит мотив цыганской скрипки.
Мотив звучал. Разлуки хлеб
в решетке растровой хранится,
гудит потоком децибел:
ни селфи-снимка на Ильинской,
ни кружки пива на Скобе.

Сюита из Петербурга

I

– Говорите, говорите! –
слышу в трубке голос. Чей?
Я вчера приехал в Питер,
мой лирический блокчейн
остается неизменным:

ни задумки, ни строфы.
Остается столбик света.
На парадном спуске львы.
Остается столбик света.
Есть лишь мрамор и гранит.

Впереди – другое лето –
травно-лиственные дни.
Прям и славен путь обратный.
Снимок сделан. Чай остыл.
Засыпает зябкий ангел

на плече. И видит сны
о цветке простом. Вздыхает,
вероятно, ждет сигнал.
Остальное держит в тайне:
лишь бы я о том не знал.

II

Пройти Литейный в январе
/за этот год – уже вторично/

с овчарой сумкой на бедре.
Изобретая в мыслях притчу,

достигнуть Кирочной оси,
черкнуть нелепое в блокноте:
«Здесь Петербург блаженно тонет,
а мертвеца не расспросить

мне о трамваях над Невой»...
И новым внемля децибелам –
умолкнуть бледной синевой
за тех, кто отплыл на Цитеру.

III

С Разъезжей свернул на Марата,
но uber я брать не хочу,
ведь есть по три сотни на брата,
и музыка есть – и лечу
на мифологический Невский.

В айфоне обратный билет.
К чему уезжать? Было б не с кем
идти за черту на просвет –
то дело другое. В лиловый
здесь воздух окрашен. Узор

моей памяти – только слово;
продолжается разговор –
и мы продолжаемся. Значит,
и сеть перспективы верна:
филолог, дурак, неудачник –

вразвалочку. Сквозь времена.
Достигнут небес постранично,
их впишут в локальный реестр.
Те трое – минуя Аничков –
уходят. Играет оркестр.

Изяслав ВИНТЕРМАН

Родился в 1961 году в Киеве, по образованию географ и журналист. С 1992 года живет в Иерусалиме.

Поэт и эссеист. Автор книг стихотворений, изданных в Киеве, Иерусалиме, Москве, Екатеринбурге, и многочисленных публикаций в газетной и журнальной периодике.

ЗЕМЛЯ Я НЕБО

* * *

Мы собрались —
улететь
в новое небо.
Ждали,
когда откроется,
или приказа
из... точки, розетки,
катышков чёрного хлеба —
дуновения лёгкого.

Можно по зову сердца —
но как-то глупо.
Считать ударов алмазную сутру.
Пульс нормальный,
ночь слишком крупно.
Небо — не то, не новое, скоро утро.

И разошлись быстрее,
чем даже хотели.
Не занимались любовью,
не ели, не пили.
Смотрели на землю в снегу
и вертели, вертели...
А небо стояло,
мы его не любили.

* * *

Сон частично, скорее... суша:
город всплывший, комната-порт.
Вышел, автоматически скушал
недоеденный бутерброд.

Вышибленный порывом ветра,
тело-душу подставив ему,
убеждаю себя: всё верно,
но по-человечески ни к чему.

* * *

Мир под наклоном.
Кто-то прикрыл ладонью.
Вижу скользющие на каблучках
ножки – по законью.
Слышу на языке накалённом,
не понимая ни слова:
«Неба огонь сделай поменьше,
к чёрту сгорим на синем...»
Ты – из далёких пока ещё женщин,
прикроешь ладонью, боль снимешь.

* * *

Это небо в день гнева –
облаками над луковицами церквей –
обольётся слезами и птицами
(от крестов до... червей),
и деревьями лиственными и хвойными
дворняжьих пород –
осеннее, чумовое, от которого поворот –
в землю или под землю на конце реки,
то ли Волги верблюжьей, то ли, выколи глаз, Оки.
И глядишь на Стрелку¹, на остриё направления
вверх и вдаль,
по течению или против него,
будто по недомыслию замысел разгадал...

* * *

Под цветом неба не таким
взрослели девятиэтажки.
Они за две, за три затяжки
всё небо превращали в дым

и заводили нас в тупик
дворами, вечным перекопом.
И время яблочным притоком,
в который больше не вступить,

а я вступил и корчусь здесь
дождём и сломанною веткой.
Ни сигаретой, ни конфеткой
не затянуться, не заесть.

¹

Место слияния Волги и Оки.

* * *

Все волшебники стран Оз:
Санта, Йоулупукки, Дед Мороз
и фигуристые Снегурочки –
не страшен им авитаминоз...

...Не будь я снобом (а кто не сноб?) –
был бы я... чтоб меня, чтоб...
До превращения недалеко,
я лакаю мадам Клико
из прозрачных ладоней
призрачных рук.
В глазах белладонна,
чёрный круг...

...На горизонте один из Оз
отправляет последний ковчег
со Снегуркой, не проронившей слёз, –
«Мир, зажгись, сгори, человек!»
Может, мокрым снегом возьмут и меня
или тенью пустят – мизер затрат, –
чтоб потом превратить в огонь и в коня,
во что пригодится – я за только, рад.

* * *

Темнота в глазах моих метельна,
жизнь провал, безумно время после.
Человек лежит, душа – отдельно.
Снег лежит, хотя был дальше послан.

Человек, как оголённый провод,
вытянулся телом двухметрово,
обмотавшись снегом поперёк,
неба замороженный пьёт сок.

* * *

Смотрю из космоса:
земляне те же... Теряю навык:
не понимаю язык и нравы
ни Оби-Вана, ни Томаса.

Те же книги, реальности те же,
как раскручиваемые строчки,
если смотреть из мертвой точки
на ржавеющем стержне.

Продолжайте внизу, я – сверху
отделяю время от места
с первого дня до конца триместра.
Небо ещё нарождает ветру –

слёз дорожки, окрики окон
в царапинах неглубокого сна.
...Из космоса дикого глядя на
землю, чувствую, как одиноко...

* * *

Два дня слипаются в один –
всегда живём одним.
Невидим неба белый дым
в копне моих седин.

Куруется воздух ледяной
над жаром головы.
Напиток чистый и двойной
идёт в меня на вы.

Вливаются ржаной покой
и солодовый рай.
И день один или другой –
не жалко! – выбирай.

Как выбираешь два в одном,
и тот и этот год.
И ночью снег очнётся льдом,
и вывалится лёд

в стакан пустеющий, как дом...
Два дня, как день один.
А мы идём, на вы идём,
пока не победим.

Елена ГАЛИАСКАРОВА

Родилась в 1986 году в Красноярске. Окончила инженерно-строительный институт СФУ в 2008 году. По профессии – инженер-эколог.

Автор сборника стихотворений «Стучится дождь порывистый в окно...» Лауреат ряда поэтических конкурсов, в том числе конкурса «Хвала сонету!», VI Международного литературного конкурса «Верлибр» в номинации «Поэзия» (2020). Финалист национальной литературной премии «Поэт года» (2020). Живет в Красноярске.

ДЛИЛСЯ СОН И ВНЕЗАПНО ЗАМЕР

* * *

Мотыльки собираются в стаи, летят на свет;
 Чертит ночь на песке морском колдовские руны;
 Не меняются жизни короткие сотни лет,
 Словно зря дни сменяют ночи, а солнца – луны...
 Мотыльки смотрят в небо с надеждою, ждут ловца,
 Их трепещут сердца, дрожат золотые крылья;
 С темно-алых магнолий на берег летит пыльца,
 Разливается в воздухе запах густой ванили.
 В тишине раздаётся шипенье и шелест крыл,
 Мотыльковые взгляды злее, острее молний;
 Обжигаясь о них, вспоминай, что меня любил
 Много вёсен назад, а когда разлюбил – не помню...

Дарья

Выходила Дарья гулять во двор,
 Собирала клевер, плела венки,
 Заводила с облаком разговор,
 Пела песни горькие от тоски.

Шла тропой окольною через мост
 И бродила по лесу три версты,
 Воротившись к дому, при свете звёзд
 Из крапивы жгучей ткала холсты.

Наступала ночь, долгожданный сон
 Закрывал ей очи, тягуч иль скор.
 А наутро клевер, лазурный лён
 Выходила Дарья искать во двор.

Сказочное

Переплыть океан бессонниц,
Брод найти и на берег выйти.
Засыпая, услышать звонниц
Перекличку. Из пряжи нити
Натянула судьба упруго –
Мойры плакали у порога:
«Не найдешь ты лихого друга
И во снах». На пруду осока
Танцевала, легко колышась,
Зверь испуг наводил глазами,
Свет струился по елям пышным...
Длился сон и внезапно замер.

Панночка

Ночь рождает тревоги, дурные сны...
По полям гуляют шальные ветры;
Небеса необъятной тоской полны,
И луна блестит золотой монетой.

Воздух сладок от диких цветов и трав,
Ясным светом звёзды горят во мраке.
Притаившись под сенью лесных дубрав,
Упыри смеются и вурдалаки.

Выплывая на берег со дна пруда,
Заплетают панночка русы косы.
И глаза её цвета морского льда
Заполняют горькие, злые слёзы.

Заливаются трелями соловьи,
И колышет листьями вяз столетний.
Она шепчет: «Спаси меня от любви»,
Но доносит эхо: «Ты ведьма, ведьма».

Эсмеральда

Яркой бабочкой кружит по площади, ворожит
Эсмеральда-кокетка, летают над ней стрижи;
Развевается юбка от ветра по сторонам,
Манит глаз сердоликовых темная глубина.
Рассыпаются волнами локоны по плечам...
Лишь о ней ты вздыхаешь украдкой по ночам.
Но в мечтах Эсмеральды другой, и тебя там нет,
Смех её переливчато-тонкий, как звон монет.
Взор мужчин привлекает прикрытая блузкой грудь...
Почему ты идешь к ней, не можешь с пути свернуть?
Я узнала о вас, и замерзла душа навек,
Мглой наполнился день, летний дождь превратился в снег...

Чаепитие

Луна блестела в куполе небес,
Река накрылась дымкою-вуалью.
Зачем, Алиса, ты пришла в наш лес,
Неужто было плохо в Зазеркалье?

Ты пьёшь воспоминаний горький мёд,
С удачей скорой ищешь робко встречи.
Жизнь принесёт паденье или взлёт,
А время, как известно, всё излечит.

Гляди, как Шляпник входит нынче в раж –
Поёт баллады с ветром в упоенье.
А Заяц, август взяв на карандаш,
Ест вкусный торт с малиновым вареньем.

Что в имени моём тебе, скажи –
Сиянье давних призрачных столетий.
Не убережь от боли и от лжи
Поэтов, что ранимы, будто дети.

Я – Соня... Смолкнул лета шумный рой;
Трамвай надежд заполнен под завязку;
И на свиданье с утренней зарёй
Сентябрь надевает полумаску

И чёрный плащ, любовью окрылён,
Кружится в танце с ней в мечтах безгрешных...
Мне вечно спать и видеть этот сон,
Алисе собирать в лесу валежник.

Чужой мир

В королевстве лживых, кривых зеркал
Длится вечность дикий, жестокий бал.
Чад костров кругом, не цветут сады,
По полянам стелется едкий дым;
Не проходит в царство их солнца свет,
Потерялся чести и правды след.
Сыч клекочет «у-лю-лю» молодой,
И полны колодцы гнилой водой.
Улетели белые журавли,
На земле ромашки лежат в пыли...
Отстраненно на мир чужой гляжу –
Рада, что себя там не нахожу.

Из будущих книг

Владимир АЛЕЙНИКОВ

Родился в 1946 году в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ.

Основатель и лидер легендарного литературного содружества СМОГ. При советской власти на Родине не издавался. Работал в археологических экспедициях, грузчиком, дворником, в школе, в многотиражной газете, редактором в издательстве. В 1980-х был известен как переводчик поэзии народов СССР. Первые книги стихов вышли в 1987 году. Автор многих книг стихов и прозы – воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки.

Награждён медалью Кирилла и Мефодия за выдающиеся достижения в отечественной словесности (1996), медалью Циолковского – за космический масштаб его поэзии (2006). Лауреат премии имени Андрея Белого (1980), Международной Отметины имени Давида Бурлюка (2011), Бунинской премии (2012). Живёт в Коктебеле.

КЛИЧ И КЛЮЧ

В сентябре шестьдесят четвёртого года, Драконьего, щедрого на события разномастные, непрерывно, сплошной чередой, догоняющие, сменяющие, настигающие друг друга, чтобы, сжавшись в общий клубок, в некий узел, морской ли, мирской ли, неизвестно, в энергетический, раскалённый, сияющий шар, вновь разжаться, с пружинистой силою, завитком спирали незримой, вмиг раскрыться цветастым веером удивительных совпадений и негаданных происшествий, сплошь и рядом идущих об руку с постигаемой не по книгам, но вплотную, слишком уж близко, чтоб не видеть её воочию, чтоб надолго, нет, навсегда не запомнить её, таинственной и простой, как и всё хорошее и достойное в мире этом, без придумок ненужных, без баек непотребных, со слов чужих, лишь своей, а не чьей-нибудь, кровной, личной сызмала яви, ехал я на встречу с поэтом, широко известным в столичной многолюдной среде богемной, из отчаянных удалцов и героев, из общих любимцев, из птенцов, едва оперившихся, но уже подающих голос, из отъявленных сорванцов, из талантов, для всех очевидных, из певцов, молодых да ранних, так поющих, что их не заметить невозможно, и впрямь хороши, да и редкость это большая, уж тем более в наше время, не принять их нельзя, с приязнью, и, с восторгом, не полюбить, ведь богема на то и богема, чтоб уметь себя ублажать, чтоб уметь выделять своих, пригля-

нувшихся ей не случайно и вписавшихся с ходу в неё, бравых, в доску своих парней, с перспективой необычайной на потом, – с Леонидом Губановым.

Восемнадцатилетний, всего-то, подчеркну это снова, сознательно, чтобы видеть давнишний свой возраст с башни многих прожитых лет, (восемнадцатилетий, уже, Боже мой, как летит моё время, вырывалось невольно встарь), – я давно ощущал себя взрослым.

Поколение послевоенное моё, всё разом, без лишней рефлексии, без промежуточного топтания, так, для порядка, на месте, чтобы подумать о чём-то сугубо практическом, полезном, трезвом и здравом, с точки зрения наших родителей или школьных учителей, как-то слишком уж быстро, без всяких колебаний, сомнений, прикидок, размышлений невразумительных, стремительно повзрослело, и уступать завоёванные, с бою, с ходу, с налёту, позиции, нам и в голову не приходило.

Мы старались избавиться всячески, любым из возможных способов, от опеки ненужной над нами, от назойливого надзора, от всего, что явно пахло заурядностью и обыденщиной.

Наставления и советы воспринимались в полной готовности отразить их, в сражение, в атаке, в штыки, посмелее, и лишь отчасти усваивались, осмысливались нами, как нечто не очень-то приятное, исходящее из той бытовой обязаловки, той приглаженной и прилизанной, ненавистой нам положительности, той советской, всем понемногу, и достаточно, уравниловки, под присмотром и под контролем наблюдающих за порядком повсеместным в державе нашей неусыпно и неустанно, днём и ночью, почти незримых, нелюбимых, необходимых и всемогущих каких-то, вроде бы, говорили с опаской, органов, или, может, властей кремлёвских, потому что не знали толком, где там органы, где там власти, что за органы, что за власти, что за птицы и что за страсти, кто их, в общем-то, разберёт, если знают всё наперёд, в светлом будущем обещают оказаться в кратчайший срок, но читают все между строк, да ещё голоса вещают зарубежные обо всём, что в стране у нас происходит, и тоска на людей находит, и с надеждой сплошной облом, говорят, не верь, не проси, что за мрак такой на Руси, что за ужас во всём Союзе, поверять остаётся музе настроенья свои, уравниловки мы чурались, нивелировки, стрижки всех под одну гребёнку, строевой, командной послушности, шаг назад, шаг вперёд, на месте, вправо, влево, стой, запевай, поднимайся, в ружьё, на службу, в пятилетку, на стройку, к станкам, в шахты, в лифты, в тайгу, к облакам, глубже, выше, смелей, и так далее, от нелепой и неизбежной жизни в обществе долгой лжи, с малых лет до седых волос, и мещанской благопристойности, от которых мы, как умели, отбояривались, отмахивались, да и просто бежали – прочь из чуждой духу желанного, блаженного свободомыслия, ненавистой, обрыдлой нам канцелярской, казённой системы.

Конечно, был я тогда очень молод, слишком уж молод.

Но я, сколько помню себя, всегда, по чутью, тянулся к тем, кто были старше меня и могли открыть мне однажды что-то важное для души, что-то новое, прежде неизвестное.

Добрых три года я мыслил самостоятельно, сам принимал решения и совершал поступки, многие из которых и теперь, посреди междувременья, представляются мне достойными, а порою даже значительными.

Разумеется, было немало промахов и ошибок, огорчений, разубережений, нелепостей всяких досадных, но возраст мой был таков,

что, при отсутствии полном учителей и наставников, я вынужден был искать и сам находить всегда то, к чему влекло меня сызмала романтически бурное, грозное, иногда не на шутку опасное, но зато упоительно вольное, без оков, течение жизни, как мне думается, действительно удивительной и прекрасной.

Было мне от роду братцы, не просто ещё восемнадцать, но уже восемнадцать лет и семь дополнительных месяцев.

Тогда и эти, наперечёт, месяцы, очень любили счёт и тоже имели значение.

По причине быстрого, слишком или в меру, кто как считал, на авось полагаясь, взросления.

Тогда я уже добился поставленной загодя цели и поступил учиться на престижное, элитарное, ну, слегка, по сравнению с прочими, уж во всяком случае стоящее и достойное отделение истории и теории искусств, это было главным, что меня привело туда, исторического факультета серьёзного заведения учебного, МГУ.

То есть стал, по-студенчески, вольно, по-богемному, безалаберно, по-хорошему, по-человечески, замечательно, жить в Москве.

Парижа, как я всегда в книгах своих подчёркиваю, у нас, к сожалению, не было, а вот Москва, распрекрасная столица странноприимная, по счастью, у нас была.

И она звала, отовсюду, из различных мест многовёрстной, многозвёздной нашей страны, и тянула к себе столь властно, что противиться ей, столице, было всем нам уже невозможно, и она собирала вместе нас, вчерашних провинциалов, постепенно и неуклонно становящихся москвичами, привыкающих здесь обитать и работать, по-своему каждый.

Отовсюду в Москву съезжались люди творческие, азартные, для которых не подходили никакие мерки стандартные, те, которым хотелось общения настоящего и внимания, те, которые были отважны и к невзгодам готовы заранее.

И Москва принимала – всех.

И спасала – всех, без разбора.

Был возможен в грядущем – успех.

Он придёт ли? Пожалуй, не скоро.

А пока что – пиши, поэт!

А пока что – рисуй, художник!

Вот он, ясный вечерний свет.

Вот он, тихий осенний дождик.

Всё – для вас. Для таких, как вы.

Всё – для творчества. Для открытий.

Для незримых духовных нитей.

В этом – самая суть Москвы.

Я жил на Автозаводской улице, в старом, крепком, невысоком, с толстыми стенами и большими окнами, доме довоенной добротной постройки, отдалённо напоминающем упрощённый конструктивизм.

В обжитой коммунальной квартире у меня была, пусть и временная, ненадолго, да всё же своя, так хотелось мне думать, комната. Принадлежала она симпатичной московской тёще генерала с необозримыми перспективами и возможностями, наперёд, на потом, Ивана Александровича Герасимова, начальника криворожского гарнизона, фронтовика, человека закваски крепкой, волевого, честолюбивого и способного на

решительные, непредвиденные поступки, что сказалось несколько позже, когда он помог мне в беде, и отца моего приветливого одноклассника Саши Герасимова.

Был в квартире и телефон, правда, общий, но всё-таки был, и его наличие радовало, а случалось, и выручало. Была, разумеется, ванная, просторная общая кухня.

Но главное в этом роскошестве – была у меня своя комната.

Почему-то приятно теперь мне о давнишнем пристанище этом, с добрым чувством, порой вспоминать.

Я учился в университете – и гордился этим. Студент!

Я уже ощущал себя москвичом – и это вот было, зачем такое скрывать, приятное ощущение.

И вот сегодня, сентябрьской порою, в час предвечерья, мне, москвичу новоявленному, надо было ехать на встречу с незнакомым, пока что, хорошим, наверное, человеком.

Я набросил свой синий плащ, байроновский, романтический, как хотелось мне искренне верить, или, проще, воображать, на плечо закинул ремень потёртой лёгонькой сумки, закрыл за собой поплотнее скрипучую дверь квартиры, быстро сбежал по ступенькам пропахшей всеми возможными, коммунальными, стойкими, запахами, щербатой лестнице вниз и вышел из темноватого подъезда в просторный двор, заросший большими, старыми, устойчивыми деревьями.

Прошёл мимо нашей булочной, мимо стеклянной витрины гастронома, вдоль узкого сквера, к перекрёстку, затем перешёл дорогу и, торопясь, зашёл наконец в метро.

Там, бросив пятак свой звякнувший в щёлку пропускника, я спустился на эскалаторе к платформе, вмиг заскочил в вагон как раз подошедшего, сверкнувшего стёклами поезда и поехал в сторону центра.

Встречи тогда назначались нашей богемной братией в четырёх привычных местах: у памятника, с фонарями и цепями чугунными, Пушкину, у памятника Маяковскому, на углу в столице известного всем и каждому «Националя» и в уютном университетском дворе, со скамейками вдоль старой высокой ограды, с деревьями, со студентами оживлёнными, на Моховой, именуемом «психодромом».

Недавно сказал мне поэт, знаток московской богемной жизни, Саша Юдахин:

– С тобой, представь себе, хочет познакомиться Лёня Губанов.

Я, хоть и слышал уже, конечно, о нём, нарочно, удивляясь, вроде, такой информации, поднял брови:

– Кто это? Не припомню.

Юдахин сознательно выдержал небольшую, но, по его мнению, поактёрски, эффектную, видимо, паузу и только тогда уж сказал:

– Самый талантливый, так считают разные люди, поэт молодой в Москве.

– Ну, это мы ещё посмотрим, кто же в Москве талантливее! – мгновенноотреагировал я.

– Нет, я ведь не утверждаю, говоря о Лёне, что он талантливее тебя, – поправился тут же Юдахин. – Сам ты очень талантливый. Но ты-то в Москве недавно совсем. А Лёня москвич. Его уже знают здесь.

– И меня уже знают здесь, – сказал, сощурившись, я.

– Вы оба самые-самые талантливые в Москве, – обобщил, улыбаясь, Юдахин. – Я уже рассказывал Лёне о тебе. И другие ребята ему о тебе говорили. Он хочет с тобой повидаться. Давай я вас познакомлю.

– Хорошо, – сказал я, – знакомь.

– Я тебе скоро, Володя, позвоню, – подытожил Саша.

И вот, через день буквально, Юдахин мне позвонил:

– Договорился. Где встречаемся? Прямо сегодня.

– Лучше всего – у памятника Пушкину. Так привычнее, – без раздумий ответил я.

– Когда? Говори конкретно.

– Вечером, в семь.

– Идёт.

Пришлось, ничего не поделаешь, мне собираться и ехать.

Кто такой Саша Юдахин – объяснять никому не надо. Поэт. Человек общительный. Дружелюбный ко всем, улыбчивый. Рослый. Спортивный. Свой парень, во многих кругах и компаниях. Энергии в нём предостаточно. Все его знают – и он всех поголовно знает. Он в облаках не витает. Он трезв – и восторжен: публично. Всё складывается отлично. Публикации. Выступления. Путешествия. Впечатления. На коне он, это заметно. Потому и смотрит победно. Между тем он раним, по-своему. Реагирует на обиды. Но – защитное что-то усвоено. И – привык не показывать виду. И когда-то, в года молодые, то же самое было. Всегда. Всё с него, словно с гуся вода? Вопросенья, тире, запятые, восклицанья. Судьба – впереди? Биография – ежеминутно? Что потом? Предсказать это трудно. Что за боль возникает в груди? Стихи его помню, задорные, из давних шестидесятых: «Я буду, мы будем выигрывать секунды, секунды, секунды!» – в молодёжном гвардейском журнале, – в тему, блин, как теперь говорят. А вот это нигде в печати почему-то я не встречал: «У реки берега – будто два утюга». Наверное, самиздатовское.

В центре столицы я вышел из метро и пешком поднялся вверх по улице Горького к Пушкинской, к месту встречи грядущей, площади.

Пришёл я туда ровно в семь часов, ни минутой позже, как мы и договаривались.

Возле памятника, опекушинской вдохновенной работы, Пушкину – меня, пришедшего вовремя, уже, с нетерпением, ждали.

Словно из-под склонённой в задумчивости головы Александра Сергеевича, из осеннего воздуха вышли и двинулись прямо ко мне две фигуры, одна высокая, и это был Саша Юдахин, а другая значительно меньше ростом, так, небольшая совсем.

– Вот вы, ребята, и встретились! – торжественно произнёс Юдахин. Потом продолжил. – Познакомьтесь. Лёня Губанов! – представил он, с видом солидного, в политике поднаторевшего, со стажем большим, дипломата, этого невысокого, хмурого паренька. – Володя Алейников! – с пафосом, достойным ораторов греческих, представил меня он ему.

Поздоровались мы с Губановым.

Руки друг другу пожали.

Стоим себе – с Пушкиным рядом.

Смотрим один на другого.

И, почему-то, молчим.

– Ну, вот вы, ребята, друг с другом наконец-то и познакомились. Надеюсь, что скоро подружитесь. А мне пора уходить, – сказал, что-то вдруг, негаданно, сообразив, Юдахин. – Дела у меня. Увидимся!

И он, кивнув на прощанье нам обоим, исчез в толпе.

В те времена москвичи и приезжие вечерами любили гулять по столице. В центре всегда былолюдно.

И раствориться надолго меж людей было вовсе не трудно.

Мы с Губановым, возле Пушкина, под склонённой к нам головою поэта, в шелесте листьев и отсветах загоравшихся всё гуще окрестных огней, стояли друг против друга и продолжали молчать.

Это напоминало, наверное, первую встречу доселе ещё не выдавших друг друга, воочию, рядом, двух молодых, да ранних, конкурирующих меж собою, на войне и в мирное время, всё едино для них, полководцев.

Этакий бука-подросток, с чёлочкой, коренастенький, сероглазый, в распахнутой курточке, в мятых брюках, в нечищенных туфлях, придиричиво, исподлобья, с прищуром, смотрел на меня.

На него я смотрел спокойно, без нервов. Подумаешь, фрукт!

Ничего, погодим, подождём, что последует за молчанием.

Что он там башкой своей, с чёлочкой кривоватой, небось, надумал?

Явно ведь собирается что-нибудь взять да и выкинуть.

Видно по физиономии – вся уже напряглась.

Ладно, переживём. И не таких видали.

Вдруг Лёня, скривив по-детски влажные, пухлые губы в язвительной, скользкой улыбочке, вновь, будто мы с ним до этого вовсе и не здоровались, протянул мне руку и тоном официальным, холодным, с осознанием собственной значимости, отчётливо, жёстко изрёк:

– Леонид Георгиевич Губанов.

– Владимир Дмитриевич Алейников, – мгновенно парировал я и крепко пожал его руку.

Лёня с вызовом откровенным посмотрел в упор на меня – и опять протянул мне руку. И сказал, меняя подход, нараспев:

– Леонид Губанов.

– Владимир Алейников, – твёрдо, без эмоций, ответил я.

Лёня этак хитро сощурился на меня – и ещё разок протянул мне за чем-то руку. И сказал с хрипотцой:

– Леонид.

– Владимир, – сказал я спокойно, понимая, что это игра.

Губанов уже с любопытством посмотрел на меня – и вновь протянул мне руку свою, с длинными, гибкими пальцами, с грязными, как у школьника хулиганистого, запущенными, нестриженными ногтями, сказав дружелюбно:

– Лёня.

– Володя, – сказал я приветливо и взглянул ему прямо в глаза.

Губанов так широко, что шире некуда просто, улыбнулся, преобразаясь, хорошея, меняясь к лучшему, и уже панибратским тоном, все приколы отбросив, сказал:

– Старик! Давай будем на «ты»!

– Давай! – согласился я.

– Слушай, а я давно про тебя, между прочим, знаю! – тут же сказал мне Губанов.

– И я про тебя, представь себе, знаю! – сказал ему я.

– Ты ведь в Москву с Украины приехал? – спросил Губанов.

- Из Кривого Рога.
- Откуда?
- Из Кривого Рога. Такой город есть в наших южных степях. Там я вырос.
- Теперь понятно.
- Что понятно?
- Там твоя родина.
- Посмотрите, какой догадливый! Ну, а ты-то москвич?
- Москвич.
- Сразу видно.
- Что тебе видно?
- То, что ты коренной москвич.
- Ты где-нибудь учишься?
- Да. Учусь.
- А где?
- В МГУ.
- А я чихал на учёбу. Я и среднюю школу, всего-то, не закончил! Бросил, и всё.
- Почему?
- Так. Долго рассказывать.
- Ну, как хочешь.
- Потом скажу.
- Сам решай, как тебе поступать.
- Володя! – сказал Губанов. Говор был у него московский, акающий, певучий. Он произносил: Ва-а-лодя. – А я про тебя ещё прошлой осенью слышал.
- Неужели правда? – невольно удивился словам его я.
- Ну да! Ты же здесь, в Москве, жил прошлой осенью, долго?
- Конечно, – сказал я, – жил.
- Ну вот. Мне ребята из разных наших литобъединений говорили, что появился новый талант. Это ты.
- Надо же, как бывает! – сказал я. – А о тебе я только сейчас, в сентябре, от знакомых, впервые услышал.
- Почитаешь стихи? – спросил меня, в лоб, напрямую, Губанов.
- Можно, – сказал я. – Но где?
- Пойдём, хоть куда-нибудь. Куда – всё равно.
- Пойдём.
- И мы с Губановым двинулись вместе по улице Горького, в сторону Маяковки.

Оказался Лёня Губанов – парнем, времени зря не теряющим.

После того, когда мы, разговаривая, миновали пустоватую, без поэтов, там читавших стихи свои толпам слушателей, отовсюду, на чей-нибудь голос громкий, собиравшихся неизменно, чтобы в действе участвовать, площадь Маяковского, Лёня вдруг предложил мне, с места в карьер:

- Слушай, давай дружить!
- Давай! – согласился я.
- Приближались мы к «Белорусской».
- Лёня вновь ко мне с предложением:
- Слушай, давай-ка выпьем!
- Давай! – согласился я.
- Мы зашли в гастронорм какой-то.

Наскребли, еле-еле, денег на одну бутылку портвейна. Бутылку я положил, для спокойствия, в сумку свою.

Двинулись – вместе – дальше.

Шли по вечерней улице куда-то – и разговаривали.

И оба уже понимали, что друг с другом нам – очень даже интересно, так вот, свободно, слово за слово, непринуждённо, как старинным знакомым, с приятнью не случайной, с доверием полным к собеседнику, к новому другу, на пути, неизвестно, куда, непонятно, зачем, протянувшись перед нами, куда-то за грань постижения, говорить.

Мы прошли грохочущий мост за Белорусским вокзалом и находились уже где-то возле улицы Правды.

Не мешало бы нам и выпить, раз вино у нас есть с собой.

Мы свернули вдвоём с тротуара в непомерно просторные, как-то буржуазно, не по-советски, расположенные, без всякой экономии места, на скудной, но и ценной столичной земле, за большими, просто громадными, вроде каменных сундуков, заселёнными впрок, под завязку, москвичами, глухими домами.

Там зашли почему-то в подъезд.

Открыли бутылку портвейна.

Выпили оба, по очереди, вдумчиво, прямо из горлышка.

– Хорошо пошло! – дал оценку действию, с видом бывалым, Губанов.

– Нормально! – сказал я, без всяких славословий. – Вино как вино.

В подъезде было темно и подозрительно тихо.

Мы закурили. Присели рядышком на ступеньки.

– Тяпнем ещё! Давай! – предложил, поразмыслив, Лёня.

– Пожалуй, можно! – прислушиваясь к тишине, согласился я с ним.

Снова глотнули по очереди из горлышка. Закурили.

В бутылке нашей вина, мерзкого, надо заметить, и на вкус, и на цвет, и на запах, содержащего нужные градусы для советских людей, напитка, оставалось уже маловато, в аккурат по третьему разу приложиться, и дело с концом.

(Я заметил сразу, что выпитое в смехотворных дозах вино Лёню явно взвинтило. Нет, изменило. Стал он каким-то непривычно, страдальчески нервным. Беспокойным. Словно вдали, впереди, ждало его нечто, с чем бороться не в силах он был. Покориться же этому – всё же не желал. Примириться с ним – тоже. Притворяться, кривляться – негоже. Этот страх и манил, и губил. Движения – резкие, дёрганные.

Паяц? Юродивый? Мим?

В голосе хрипловатом – новые, незнакомые, вибрирующие, зудящие, сверлящие изнутри горло, солоноватые, с привкусом горьким, нотки.

Зрачки разрослись, расширились до пугающей черноты.

Это было заметно вблизи даже здесь, в полутёмном подъезде.

Тогда я ещё не знал, что, сколько бы там вина, пускай хоть совсем немного, не говоря уж о водке, ни выпил бы он, алкоголь действовал на него как наркотик, и это сказывалось, мгновенно, закономерно, с убийственным постоянством, всякий раз, на его поведении, нередко, почти всегда, приводя к печальным последствиям.

Но вскоре уже, к сожалению, пришлось мне об этом узнать.)

Лёня меж тем, не забыв об основном своём желании, попросил меня:

- Почитай, Володя, стихи!
- А ты? – спросил я его.
- Я потом. Сразу после тебя.
- Хорошо! – согласился я.

Не больно-то подходящим для чтения наших стихов местом был этот тёмный, пустой, незнакомый подъезд, но выбирать было не из чего.

Я начал читать свои стихи тогдашние – новые для меня в ту сентябрьскую пору, недавно совсем написанные, начал читать их Лёне – и незаметно увлёкся.

Губанов слушал меня с таким напряжением страшным во всём его крепком теле и с таким вниманием острым на бледном его лице, с таким нутряным, наружу рвущимся, жгучим огнём в чернеющих непоравимо расширенными зрачками, как-то чутко и слишком пристально распахнутых на меня, из-под скомканной чёлки, глазах, что почему-то стало мне за него тревожно.

Я прочитал всего-то несколько свежих вещей.

И читал-то негромко, да только случилось, конечно, то, что я предвидел заранее.

На звук моего, негромкого, но кем-то всё же услышанного сквозь массивные стены, голоса – с треском открылась дверь одной из ближайших квартир – и оттуда с негодованием вывалились в подъезд разъярённые жители дома:

– А ну прекратите шум!

Тотчас же, вслед за первой, открылась, под крики граждан чумных, и соседняя дверь:

– Безобразие! Хулиганство! Милицию надо вызвать!

Губанов сорвался с места и, подёргиваясь, заорал на возмущённых граждан:

– Суки! Слушать стихи гениальные не мешайте! А ну, заткнитесь!

– Лёня, тише. Кричать перестань. Пойдём! – я силком еле вытащил его из подъезда во двор.

Вслед нам бурной лавиной неслись оголтелые вопли жильцов.

Кое-как увёл я Губанова в темноту, в глубину двора.

Его буквально трясло.

Никак он не мог успокоиться.

Всё твердил:

– Помешали, гады!

– Тише, Лёня, – сказал я. – Молчи. А то жильцы, чего доброго, милицию за просто вызовут. Нам это ни к чему. Всё, успокойся. Быстрее уходим отсюда. Вперёд!

Мы двинулись наугад куда-то, лишь бы уйти подальше да поскорее из опасного места, свернули в ближайшую арку и выбрались в соседний безлюдный двор.

– Есть вино? – спросил у меня, шевеля бровями, Губанов.

– Есть ещё, – показал я бутылку.

– Выпьём?

– Выпьём!

– Давай?

– Давай.

Мы приложились к бутылке уже по третьему разу.

Больше, при всём желании возможно, пить было нечего.

Губанов, чиркая спичками, ломая их то и дело, жадно, словно дорвавшись наконец-то до сигареты, по-блатному как-то, ухватисто, заковыристо, закурил.

Потом посмотрел мне в глаза и убеждённо сказал:

– Ты гениальный поэт!

– Ладно уж, Лёня, – сказал я. – Ты прямо как император всероссийский, титулы всякие играючи раздаёшь.

– Ты гений! – с пафосом явным сказал Губанов. – Я знаю.

Ну что за категоричность?

Откуда? Зачем? Почему?

Простецкая непривычность?

Нервичность? В толк не возьму.

Вот уж, право, замашки богемные.

(Похожие на дворовые).

Столичные? Или туземные?

Во всяком случае – новые.

Звук, превращённый в знак.

Я сказал:

– Хорошо, если так.

Губанов, поёжившись, выпустил сигаретный белёсый дым из обеих ноздрей, затем, исподлобья, с прищуром стрелецким, с молодецким, зубастым вызовом, с вопросительным знаком, вместе с восклицательным, в серых глазах, взглянул на меня и спросил:

– Можно, я теперь почитаю?

– Читай! – согласился я.

Здесь же, в бездне столичного вечера, во дворе на улице Правды, стал он, заметно волнуясь, читать мне свои стихи.

И, честно, как и когда-то в прошлом, вновь сознаюсь: поначалу эти стихи не очень-то мне понравились.

Длинные. Даже слишком. Неровные. Грубоватые.

То несколько строчек искорками вспыхнут среди сумбура, то снова гул хаотичный, досадный, а то и провал.

Человек-то явно талантливый, даже очень, это уж точно.

И тон у стихов особый.

И лицо есть своё. И голос.

Да, собственно, всё в них – его, не чьё-нибудь там, а губановское.

Но что же меня останавливает?

Что мешает их сразу принять?

Непохожесть их, очевидная, на то, что сам я писал?

Так она и должна ведь быть, эта самая непохожесть. Грубоватость их? Ну и что!

Нет, не знаю. Пока – не знаю.

Но что-то мешает мне принять их безоговорочно.

И ничего пока что, видать, не поделаешь с этим.

Губанов это заметил.

Чутьё у него, врождённое, импульсивное, обострённое, на всё вообще вокруг, сразу, оптом, было отменным.

Да и реакция тоже, на любое движение извне.

И тем более, разумеется, – на то, как люди, которым доверился, вроде бы, он, раскрылся, пускай и на время, перед ними, воспринимают,

в основном, по традиции, с голоса, не с листа ведь, это не к месту и не к спеху, его стихи.

Обо всём этом я узнал не тогда, но уже очень скоро.

Он, покашляв незнамо зачем и смутившись, прервал своё чтение.

– Потом почитаю. Успеется. Ладно? В другой раз.

– Как знаешь! – сказал ему я.

Да, задело, конечно, Губанова то, что я, новый друг его и соратник вполне реальный, точно так же, как сам он, признанный половиной Москвы, недавно, да буквально только что, ну, полчаса каких-то назад, почему-то сразу не выразил ни эмоций своих, ни восторгов, не назвал его с ходу гением, как в богеме всегда называли, не признал его безоговорочно.

Это чувствовалось, я видел, в том, как вёл он себя тогда.

Нахохлился весь. Насупился.

Шёл, руки в карманы, вразвалочку.

Головой, кручинясь, покачивал молчаливо. А то и вздыхал.

Потом он сумел собраться.

У нас опять завязался простейший, так, между прочим, по пустякам, на ходу, но всё-таки разговор.

Мы с Губановым, разговаривая, шли сквозь осень, сквозь шелест лиственный, сквозь огни столичные, вместе, шаг за шагом, слово за словом, напрямик, в разверстую даль.

Добрались до метро «Динамо».

– Так мы и до меня дотопаем! – Лёня сощурился, закуривая. Сквозь дымок сигаретный продолжил фразу: – Я-то на Аэропорте живу. Родители дома. Думаю, не помешают. Может, зайдём ко мне? Потолкуем. Чайку попьем. Ты не переживай. К себе добратся успеешь. Дом наш – неподалёку от метро. Каких-нибудь пять, ну, может быть, десять минут неторопливой ходьбы – и ты на метро успеешь до закрытия. Ну, зайдём?

Я взглянул на свои часы – и сразу же спохватился:

– Нет. Мне домой пора. Завтра с утра – занятия.

– Понимаю! – сказал Губанов.

Мы стояли с ним возле метро. Стояли, два парня, один – повыше ростом, другой – пониже. Поэты. Надо же! Молодые совсем. Познакомились. Подружиться в дальнейшем – удастся ли? Поживём – увидим. Посмотрим. Всё возможно. Ведь невозможное, как сказал не случайно Блок в озаренье, тоже возможно. Невозможного в мире нет. Есть – сквозь тьму приходящий свет.

Поздний сентябрьский вечер, с его лиловато-чёрным, плотным куполом неба и жёлтыми, золотистыми, звёздчатыми, узорными, широкими всплесками листьев на всех окрестных деревьях, обволакивал нас прохладой.

Пора было нам расставаться.

Мы с Губановым обменялись телефонами и адресами, тут же, на месте, вписав их в свои записные книжки.

Губанов, похоже, маялся.

Моя – совсем ведь недавно, и, главное, так неожиданно, – реакция на его стихи, которые всем в Москве, кого ни возьми, ни припомни, реши-

тельно всем, нравились, нет, какое там, вызывали восторг, восхищение, не давала ему покоя.

– Володя! – сказал он мне. – Давай-ка снова увидимся. Прямо завтра. Пойдём куда-нибудь. Пообщаемся. Что, лады?

– Завтра никак не могу, – сказал я. – Завтра я занят. А вот послезавтра – пожалуйста.

– Так можно приехать к тебе? – спросил, оживая, Губанов.

– Позвони мне вначале, заранее, обязательно. И приезжай. Днём, лучше всего. Послезавтра.

– Договорились! – сказал, пожимая мне руку, Губанов.

Мы зашли в метро. Попрощались.

И разъехались в разные стороны.

Такова наша первая встреча.

Вроде рядом она – и далече.

Камертонная. Чистый звук.

(Время – птицей из наших рук.)

В недрах осени – добрый знак.

(Весь, как есть, вокруг – Зодиак.)

Изначальная, беспечальная.

(Вряд ли будет потом – прощальная.)

Встреча – присказка. Встреча – быль.

(Над столицей – звёздная пыль.)

Встреча – с речью. Запев. Пролог.

(Драмой будущей станет – СМОГ.)

Вскоре было у встречи нашей продолжение закономерное.

Судьба, видать, постаралась, распорядилась так, чтобы всенепременно, без лишней тяготы, без отговорок непотребных, без промедления несуразного и ненужного, только так и никак иначе, потому что нельзя по-другому поступить никому из нас, хоть и время есть про запас, чтоб к вискам не хлынула кровь, мы с Губановым встретились вновь.

...Через день позвонил Губанов.

– Старик! Володя! Привет! Как дела? Это я, Лёня. Ну что, скажи, приезжать?

Я сказал ему:

– Приезжай!

Через час, не позже, Губанов появился в моей комнате.

Был он тих, отрешённо-задумчив.

Некий свет, непривычный, таинственный, проступал на его мальчишеском, чуть припухшем, бледном лице.

И глаза его – были грустными.

Напрямик, откровенно, сразу же, без ненужных ему предисловий, каким-то вмиг изменившимся, отчасти звонким, торжественным, отчасти не слишком уверенным, акающим по-московски, с хрипотцою дворовой, голосом, но так доверительно, искренне, так просто, и в то же время почти с надрывом, с душой, моляще, Губанов сказал:

– Я стихи написал. Почитаю. Послушай. Тебе посвящается.

Я смотрел на него – и видел в нём, пришедшем сюда, какую-то неизвестную мне, разительную внутреннюю перемену.

Что-то с ним, безусловно, произошло, непонятное, а может и небывалое, за то короткое время, покуда мы с ним не виделись.

Я сказал ему:

– Почитай!

И приготвился слушать.

Губанов одним рывком не встал, а взлетел с места.

Он стоял посреди моей коммунальной просторной комнаты.

Свет, прозрачный и золотистый, плавно льющийся из окошка, освещал его побелевшее, без единой кровинки, лицо.

Зрачки его снова расширились и стали угольно-чёрными.

Но не было в нём обычной, обострённой, нервической взвинченности.

Было – спокойствие. Странное.

Обречённое. Роковое.

Но – невиданно светлое. Тихое.

Величавое. Доброе. Чистое.

Не спокойствие даже, но – глубь, за которой встаёт благодать.

– Осень, – сказал он грустным, неожиданно дрогнувшим голосом. И посмотрел мне в глаза. – Посвящается это Владимиру Алейникову. Моему – навсегда – закадычному другу.

Потом взглянул за окно, за которым стоял, как в сказке, с теремами своими воздушными, с облаками поодаль, сентябрь.

Сощурился вкось на свет.

И стал, волнуясь, читать.

– Здравствуй, осень, – нотный грот, жёлтый дом моей печали! Умер я – иди свечами. Здравствуй, осень, новый гроб. Если гвозди есть у баб, пусть забьют, авось осияют. Перестать ронять губам то, что в вербах износили. Этот вечер мне не брат, если даже в дом не принял. Этот вечер мне не братья за узду седого ливня. Переставшие пленять перестраивают горе... Дайте синего коня на оранжевое поле! Дайте небо головы в изразцовые коленца. Дайте капельку повыть молодой осине сердца! Умер я. Сентябрь мой, ты возьми меня в обложку. Под восторженной землёй пусть горит моё окошко.

Губанов закончил читать – и опять посмотрел на меня.

Был услышанным я потрясён.

И тут же предчувствие страшное чего-то непоправимого, что непременно должно произойти с Губановым, резко сжало мне сердце.

Что это? Боже Ты мой!..

– Лёня! – сказал я ему. – Поразительные стихи.

– Тебе понравилось? Правда? – просиял, расцветая, Губанов.

– Очень понравилось. Правда. Настоящие это стихи. Долговечные. Чувствую это. Понимаю. И очень твои, – сказал ему я уверенно, поскольку так и считал.

– Всё я давным-давно, поверь, про себя знаю! – с горечью, с откровенностью, предельной и запредельной, вдруг вымолвил, словно выплеснул наболевшее что-то, Губанов. – Проживу я ровно, запомни, тридцать семь отпущенных мне лет. Умру в сентябре. Вот в этом стихотворении всё про это и сказано.

– Господь с тобой, Лёня! Ты что? – воскликнул я. – Что за страсти такие ты говоришь? Да живи ты ещё сто лет! Зачем на себя самого ты караешь? Так нельзя. С такими вещами не шутят!

– Эх! – махнул Губанов рукой, как стрелец, идущий на плаху. – Со мной всё давно уже ясно!.. Меня ты, не сомневайся, точно переживёшь. Вспомни когда-нибудь, в будущем, когда не будет меня, этот день в сентябре. Всё я знаю про себя наперёд, всё знаю...

Нелегко было мне, после всех этих Лёниных откровений, сохранять, пусть и внешне, вынужденно, с беспокойством в душе – спокойствие.

Долго мы с ним тогда говорили.
За окошко смотрели. Курили.
Вечерело. Кружилась листва.
И росло – продолжение родства.
С тем, что есть. С тем, что будет потом.
С тем, что дремлет во сне золотом.
С тем, что явью издревле зовётся.
С тем, что песней потом остаётся.
Песней – сказкой. Чья речь хороша.
Песней – былью. И песней – преданьем.
Песней – правью. И песней – страданьем.
Всем, с чем с детства сроднилась душа.

Он открылся мне искренне, весь.

Он пришёл ко мне – сам. Выходит, надо было ему прийти не куда-нибудь, а сюда.

Он сказал мне тогда важнейшие для него, сокровенные вещи. И рад был, что я его лучше других понимаю.

Он читал мне свои стихи – и они открылись мне тоже, сами, причём по-иному, нежели день назад.

Я понял, насколько, при всех оговорках, они органичны.

Понял я, что принимать их следует мне такими, какими они явились в мир, который, при всей неразберихе своей, смешанной с красотой, как и поэзия, в нём живущая, был и есть.

Всё, что необходимо, стихи эти сами скажут за себя, скажут, раньше ли, позже ли, но обязательно скажут.

И это его, пронзительное, сквозь время ко всем обращённое:

– Государь! Не вели казнить! Вели слово молвить!..

И голос его, взволнованный.

И взгляд его, грустный, горестный.

И ясный свет в сентябре...

И, хотя в шестьдесят четвёртом даже до роковых тридцати семи лет жизни, на которые он сознательно закодировал сам себя, времени, для всего, что нужно человеку в молодости, казалось ещё так много, его мне уже сейчас, не медля, хотелось спасти.

Обречённость свою, в сознание намертво, прочно вошедшую, врезающуюся в сердце, проникшую в душу, в кровь медленным ядом впитавшуюся, точно груз, непомерно тяжёлый, от которого не отделаться просто так, ничего не выйдет, потому и тащи, терпи, надрывайся, брат, не пытайся даже в мыслях освободиться от навязанной, кем – неведомо, и когда – неизвестно, жертвенной и мучительной этой ноши, от вериги этой чудовищной, он с собою всегда носил.

В свои восемнадцать – знал о себе он самое страшное.

И всё-таки он – жил.

И – живущий – писал стихи.

Может, всё ещё обойдётся?
Может, к лучшему всё изменится?
Может, Бог его всё-таки милует?
Что сказать? Не нужны здесь слова.

В этот день сентябрьский, с пронзающим ткань романтики прежней, с кружевом из наивности, как игла, диковатым, пока что, но явным, даже больше того, неизбежным ощущением грядущей драмы и трагедии, вслед за ней, началась моя дружба с Губановым.

Впереди была – осень. И всё, что ждало меня в ней.
Впереди была – молодость. Кто мне вернёт её ныне?
Впереди было – всё. Только лучшее. Как у России.
Впереди были – годы, где речи пришлось выживать.

* * *

Стихи Арсения Александровича Тарковского давно и по-настоящему я любил.

Был Тарковский мне и по-человечески дорог. В середине шестидесятых, в период нашумевшего и гонимого нашего СМОГа, он решительно, очень смело поддержал меня. Он способствовал моему восстановлению в университет. Никогда не любивший общаться с писательским начальством, предпочитавший жить замкнуто и независимо, поодаль от всей этой пишущей не только стихи и прозу, но и доносы, и жалобы, продажной и грязной публики, он тем не менее в нужный момент, для того чтобы помочь попавшему в беду молодому поэту, забыл о своей брезгливости по отношению к официальной писательской публике и о своих принципах, пересилил себя, проявил характер, нажал на какие-то там нужные рычаги, задействовал кое-каких порядочных людей, поговорил, с кем полагалось, – и, благодаря этим хлопотам, а также и хлопотам других, тоже принимавших в этой истории участие, людей, – да той же Лидии Борисовны Либединой, по рождению – графини, но ещё и вдовы советского классика, что давало ей возможность независимо и смело себя вести, хотя, впрочем, и своего характера у неё хватало, да и всегда внимательна бывала она к людям, – был я восстановлен в МГУ.

Чуть позже, после этих событий, окончившихся победой, Тарковский, известный затворник, сознательно согласился «работать с молодыми» – так это тогда называлось.

Наш знаменитый СМОГ взорвал изнутри всю московскую литературную жизнь. Так просто, без наказания кому полагается, без бдительного надзора над всеми, ни власти, ни кагебешники оставить всё это уже не могли. С молодыми надо было что-то делать, иначе – иначе мало ли чего можно от них еще ожидать? И так на Западе сколько о них пишут и говорят. Вся молодежь тянется к этим смогистам. Значит, прежде всего надо взять всю пишущую молодёжь под свой контроль. Для этого срочно учредили разные литературные секции при Союзе писателей, непосредственно для молодых. Постановили – сделали. Но не назначать ведь руководить этими секциями кондовых своих литературных функционеров. Да к ним и на пушечный выстрел никто из молодёжи не подойдет! Нужны – серьёзные, уважаемые молодёжью люди. Для такого дела даже известные своей принципиальностью и определённым

ной позицией по отношению к режиму поэты годятся. А что? К ним и пойдут. Ну вот например – к Тарковскому. Предложило ему писательское начальство вести одну из секций. Тарковский взял да и согласился. И пишущая молодежь к нему не просто пришла – валом повалила. И плевать всем было на контроль и надзор. Поэзия – вот что было прежде всего и выше всего.

Арсений Александрович очень высоко ценил мои стихи. Это было – его, собственное, мнение. Это было – его суждение. Так он считал. Так и говорил.

Ещё тогда, в шестидесятых, мне самые разные люди, с разных сторон, имеющие хоть какое-то отношение к литературе, сами пишущие или просто любители, всегда присутствующие на поэтических сборищах, то по отдельности, то порой и сразу в несколько голосов, говорили – со значением, с придыханием, с закатыванием кверху глаз и прочими, подчёркивающими, видимо, по их понятиям, передаваемыми ими слова ужимками, гримасами и речевыми эффектами, всё твердили, твердили, кто – полушёпотом, кто – нарочито громко, чтобы все вокруг слышали, – что вот, мол, Арсений Александрович Тарковский уж так ко мне серьёзно относится, уж так обо мне хорошо всегда говорит, что это прямо сверхсобытие, да и только.

Всем известно было, что Тарковский, человек вообще сдержанный в проявлении своих эмоций, да к тому же и чрезвычайно скупой на похвалы, если не сказать больше, так вот просто, для красного словца, говорить, а тем паче хвалить кого-нибудь, никогда и ни за что не станет. Значит, есть, действительно есть что-то этакое в этом Алейникове, если Тарковский и тот расщедрился вдруг, перешёл даже на всякие там высокие слова.

Надо заметить, что Тарковский, даже если ему очень нравилось что-то, чьи-нибудь стихи, допустим, не имел обыкновения говорить об этом в глаза. Не знаю, что им руководило. Быть может, усталость и горечь собственной судьбы сказывались. А может, и некоторая ревность иногда присутствовала. Не мне судить. При всём при том был он человеком исключительно благородным, к тому же и смелым, решительным, и, если уж надо было, говорил и в открытую собеседнику всё, что о нём думает, плохое ли, хорошее ли.

Те слова, которые я сам когда-то, глаза в глаза, услышал от Арсения Александровича, дороги мне и поныне, да и всегда будут очень дороги.

Ещё в первую встречу, зимой шестьдесят пятого, наверное в декабре уже, когда, промёрзнув по дороге в своём демисезонном старом пальто, пришёл я к нему, в писательский дом неподалёку от метро «Аэропорт», и позвонил, и он открыл мне дверь, улыбаясь и протягивая мне навстречу свою крепкую, сухую руку, и мы прошли в его кабинет, и были там вдвоём, и говорили, о многом тогда говорили, потому что интересовало его абсолютно всё, и оказалось, что я, можно сказать, его земляк, потому что сам он родом из Кировограда, бывшего Елисаветграда, а я вырос в Кривом Роге, и это совсем рядом, и оба мы люди степные, чувствуем и понимаем наши степи, их великое пространство, и что-то есть всё же схожее в наших судьбах, вот и он совсем молоденьким приехал в Москву, и бывало здесь ему тяжело, а родина, степная родина, родина души, поддерживала, спасала его всегда, и мы, люди степей, люди Русской Степи, протянувшейся от Дуная до Заволжья, несколько иные, нежели эти, городские, особенно московские, люди лесных широт, которым неведомы подлинные просторы, и хорошо,

что я пришёл к нему, на него повеяло молодостью, а то, что у меня всякие неувязки в жизни – это пустяки, это всё утрясётся, это ещё не трагедия, выход есть, и он сам непременно поучаствует, поможет, – и некоторым другим, заведомо хорошим, людям, из числа его знакомых, из тех, кто имеют вес или влияние в писательской среде, скажет, и они подсобят, и всё обойдётся, всё будет хорошо, главное – писать, писать стихи, жить поэзией, – и я читал ему, и он слушал, сидя за своим письменным столом, вначале откинувшись назад, на спинку стула, а потом внезапно весь подавшись вперед, и скорбное, резное, прекрасное лицо его преобразилось, ранее бледное – порозовело, заиграло огнём, и глаза, печальные, усталые, раскрылись, и в них заиграл, засверкал этот молодой, живучий огонь, и он был весь – ринувшийся навстречу звучанию моих стихов слух, весь был – зрение, острое, пронзительно-точное, и действительно глаза его были как «два незримых алмазных копыя», и копыя эти были ещё и световыми лучами, а стихи мои звучали, и Тарковский, человек пожилой, тогда ему было под шестьдесят, молодел у меня на глазах, и степная порода звенела в нём тайной струной, и какая-то столь идущая ему, столь естественная стать проявилась вдруг во всей фигуре его, ранее несколько сутулящейся, как бы вжатой внутрь, он распрямился, распрямились, расширились плечи, расправилась, задышала свободней широкая грудь воина, и руки, его сухие, крепкие кисти, оказались едва ли не крыльями, как-то запели, ожили, чувствуя ритм, и голову он закинул высоко, будто смотрел там, где-то в степях наших, в чистое небо, и слышал, не здесь, от меня, а там, в вышине, мелодию, которая растрогала его и которой он поверил, – и потом я услышал впервые те слова от него, что запомнил надолго, что с тех пор со мною всегда, – о присутствии тайны в стихах моих, и о том, что в них свет ощутим в каждом звуке, и ещё, о другом, откровенно, впрямую, всерьёз, не скрывая ни радости, ни изумленья, ни грусти – ну хотя бы о том, что судьба моя не из простых, что придётся мне впредь натерпеться, и выжить, и встать из безумия общего, став наконец-то собою – и сказать, всё сказать, там, в грядущем, к чему был я призван, поскольку весь дар мой – от Бога.

Долго можно говорить об этом человеке.

Свою любовь к его стихам, которая началась ещё в шестьдесят втором году, в Кривом Роге, когда я, шестнадцатилетний парень, уже всю жизнь живущий поэзией и не мыслящий себя без неё, прочитал его книгу «Перед снегом», я оберегал от всяческих вторжений извне, от тогдашнего, разнузданного божественного отношения некоторых моих знакомых к подлинной классике, я твердил его строгие, горькие, просветлённые стихи в годы скитаний, я читаю и перечитываю их и теперь, потому что без них – нельзя.

Тарковский происходил из древнего, царского рода кумыкских шамхалов. Старейшины дагестанского селения Тарки приходили к нему на поклон, когда в тридцатых годах он побывал там с группой переводчиков, – и это насмерть перепугало начальство, – и писательскую группу немедленно возвратили в Москву. В Тарках находятся родовые могилы предков поэта. Кровь кумыков, называвшихся ранее половцами, народом, родственным казакам, – а возможно, когда-то это был единый народ, и только позже религии и изменившийся язык разъединили их, – текла в жилах поэта, и это была степная кровь, и, наряду с другими, позднейшими, тоже струившимися в его жилах, придавала она особый строй и особый характер его поэзии.

Наверное, как рыбак рыбака видит издалека, так и степняк степняка видит издалека.

То родственное, что я ощущаю в поэзии Тарковского, то кровное, самое главное, определяющее – совершенно всё, дающее тон всему творчеству – и поведению человека в жизни, то самое глубокое, сокровенное, что уловить может только близкая душа, – судя по всему, сразу почуял и принял в свою душу он и в моих стихах. Та, важнейшая, духовная связь, её несомненное наличие, её воздействие, её свечение – судя по всему, решили всё в его отношении ко мне.

Я стеснялся его лишний раз беспокоить. Мне и в голову не приходило напрашиваться к нему в гости – или, чего доброго, просить его, как это повсюду делали другие, помочь мне с публикацией моих стихов, да и просто – обращаться за помощью. Боже упаси! Нет, он был для меня – вот таким, каков он есть, самим собою, Тарковским, и этого для меня было достаточно. Изредка мы виделись. И все эти встречи я прекрасно помню. Он, как я теперь понимаю, тоже, ещё в былые годы, оценил и внутренне одобрил такое моё, независимое, поведение. О моём серьёзнейшем отношении к его поэзии он не только догадывался, но и прекрасно знал. Постарались ему доложить об этом, и даже преуспели в этом, – те, другие, из литературной и окололитературной шатии-братии, которых хлебом не корми, а дай лишний раз передать кому-то, что именно и когда кто-то о нём сказал. Вот уж действительно – публика! Ну, Бог им судья.

Тарковский некоторое время находился если не в гуще литературной жизни, то, во всяком случае, в гуще тех самых молодых, и не очень молодых, пишущих стихи людей, для которых были созданы специальные, возглавляемые известными мастерами, секции. Для этих секций выделили помещения в ЦДЛ – Центральном Доме литераторов, или гадюшнике, как все мы его называли. Вначале был объявлен жесточайший конкурс. Молодые пииты боролись за место под солнцем. Они пускались во все тяжкие, шли на какие-то непонятные сделки с кем-то, интриговали, сплетничали, выслуживались – и лезли, лезли, лезли туда, поближе к литературе, к начальству, к нужным людям, к официозу, ибо там – им светит, там – глядишь, и печатать начнут, и книжка выйдет, и в Союз писателей примут, там – будущее для них. Они лезли – и пролезали. Было их как собак нерезаных.

Меня приняли сразу, в первую очередь, без всякого конкурса, как выдающееся молодое дарование, да ещё и смогиста, и при этом некоторые цедеэловские деятели весьма охотно именовали меня самородком. Ну, что скажешь? Побывал же я на этих самых секциях всего несколько раз, через силу, потому что уж больно характерной публика там была. От неё так и разило угодливой толпой. Некоторые способные ребяташки там всё же занимались, но уж очень мало их было, да и затёрли их потом, довольно скоро, на ходу набирающиеся ума-разума для официального своего существования, нахальные, беспринципные горлопаны и пронырливые тихони. Грустное было зрелище. Я, как увидел это, сразу всё понял. Нет, это не для меня.

Но к Тарковскому – чтобы его самого увидеть – пришёл.

Помню, схватили меня прямо в коридоре эти самые окололитературные нахалы, под белы ручки потащили, ввели в комнату, где все они кучковались, а там – Арсений Александрович. Ну, это совсем другое дело. С меня сразу всё раздражение слетело. Я буквально ожил.

Поэт. Сидит – один, посреди комнаты, возле стола, на каком-то нелепом, скрипучем стуле. Палка в руках. Негнувшаяся нога, вернее – протез, который всегда его смущал, заставлял даже страдать. Другая нога, в тяжёлом ботинке, крепко стоит на полу, упирается в пол, всю тяжесть тела в него вдавливая. Руки. Сухие, жилистые, степные. Прямая спина. Стать. Голову то наклоняет немного вперёд, словно набычившись, то легко и молодо откидывает назад, отчего косое крыло зачёсанных вправо, сидящих, но ещё не полностью седых, прямых волос ложится на высокий, нет, очень высокий, открытый чистый лоб, а потом ещё движение головы – и крыло возвращается обратно. Фигура – соединение птицы и всадника. Изломанные, густые, говорящие о породе, брови. Мешки под глазами. Морщины, складки – на ясном лице. Глаза – вовнутрь глядящие, обладающие не только внешним, но и внутренним зрением. Иначе таких стихов не было бы. Губы, сжатые плотно, сухие. Упрямый подбородок. Изваянная из музыки, из мысли, точёная, очень пропорциональная по отношению к торсу, очень характерная голова. Состояние: грусть.

А вокруг – каре: с четырёх сторон, окружая, взирая, переглядываясь, шушукаясь, пофыркивая, похрюкивая, помалкивая, со своими портфелями, папками со стихами, со своими проблемами, с написанным на лбу у каждого желанием: печататься! хочу печататься! во что бы то ни стало! любой ценой! – разномастное, разнокалиберное кодро оглоедов, шушера в основном, за редчайшим исключением, «будущее советской литературы».

Втащили меня. Отпустили. Уселись по местам, ждут чего-то. Я – тоже в центре комнаты. Стою. Молчу. На меня смотрят – все оглоеды, скопом. Тоже молчат.

Передо мной – только Тарковский. Видит меня. Светлеет. Опять вижу: происходит в нём преображение. Всего его существа. Вдохновение в нём, закипающий в жилах огонь. Молодеет. Свежеет. Состояние: страсть.

Глаза навстречу мне вспыхивают. Руку мне протягивает. Улыбается – своей улыбкой, таких больше не припомню. Пожимает мне руку, привстав. Смотрит на меня в упор: степняк степняка...

И – крылатый жест сильной, взлетающей кистью. И – глуховатый голос. Искренние слова:

– Здравствуйте, Володя! Рад вас видеть.

Я, тоже искренне:

– Здравствуйте, Арсений Александрович! И я рад видеть вас.

И – сразу, без паузы, в новом порыве, взлёт кисти-крыла:

– Почитайте стихи!

Я, без обиняков, тоже – сразу:

– Вам, Арсений Александрович?

Он – глаза, брови, руки, губы:

– Да!

Надо читать.

Стою посередине комнаты, напротив него. Читаю. Читаю – и забываю об окружающих нас оглоедах, и опять словно заново пишу, сызнава переживаю стихи свои, закрыв глаза, голову закинув, – именно так меня Артур Владимирович Фонвизин в конце мая шестьдесят пятого года и написал, сделал эту акварель свою, первую после перерыва, после сложнейшей глазной операции, вернувшей ему зрение, и сказал: «Вот, Володя, я написал вас – поэтом!» – читаю – как пою, читаю – как ле-

таю, нахожусь, чувствую это, в состоянии транса, вижу то, что читаю – внутренним зрением, слышу – голос, это мой голос, он меня и ведёт, он и звучит, читаю – и, приоткрывая глаза, вижу: Тарковский слушает, и не только слушает, он – всё слышит, слышит – видит, слышит – понимает, ему это – дано, он чувствует – связь, он – на моих частотах, на моей волне, он – единственный здесь, кто – слышит, кто – понимает, а остальные – нет их, остальных, есть – он, Тарковский, и я перед ним – читаю. Пою. Песнь мою он слышит – вот что замечательно. Читаю – не помню уж, сколько времени. Заканчиваю. В комнате – тишина. Потом – гул. Их – не слышу, не вижу. Смотрю на Тарковского. Глаза. Всё ясно. Жизнь и песнь.

Для литературных оглоедов был я в те годы одновременно и притягательной фигурой, и белой вороной. Белой вороной – потому что никогда не смешивался с ними, не якшался, наоборот, сторонился, брезговал, был другом своих друзей, был всегда самим собой, всюду – сам по себе. Притягательной фигурой был я для них оттого, что молодая слава тащилась за мною сама, где бы я ни был, где бы ни появлялся на людях. Слава эта оттягивала мне плечи, как разбухший от влаги, изрядно вымокший под проливным дождём плащ. Но она – была, её наличие было – несомненным, вот это и притягивало ко мне всяких любопытствующих субъектов, группами и поврозь.

Помню, как они, в тех же шестидесятых, предварительно посмаковав эту новость в своих рядах, по очереди, один за другим, этак с подъёмом, с пафосом, преподнося это как сенсацию номер один, торопясь преподнести это, как на блюдечке, мне докладывали:

– Арсений Александрович Тарковский давно уже всем говорит, что у Володи Алейникова в стихах – каждая строчка гениальная!

Ну, коли так, то – знал, что говорил.

* * *

...Вот она пришла, Наташа Горбаневская.

Сама пришла. Стоит передо мной.

Чудесная! Почему? Потому что – чудесная.

Маленькая волшебница. Из Андерсена ли? Не знаю.

Маленькая разбойница – чуть-чуть. Вообще-то – птица.

Воробышек, чуть нахохлившийся. Городская, отчасти домашняя, но прежде всего – независимая, доверчивая, но смелая, – нет, отчаянно-храбрая птица.

А может быть, голубица? Почему над нею – зарницы? Почему не страшны ей границы? И тем более, и особенно – все запреты, любого толка. И – любого рода темницы.

Вольная птица. Гордая. Очень самостоятельная.

Слушает всех – внимательно. Делает всё – по-своему.

Птица, которой не спится. Что-то должно случиться? На месте ей не сидится. Всё ей куда-то летится. Куда? Видно, знает – куда. В небо, прежде всего. К свету, что есть над землёю.

Птица. Действительно, птица. То она где-то таится, то она – к людям стремится. И ничего не боится. И никого. Такою, зная, рождена. Такая, зная, у неё планида. Беды? Грехи? Обиды? Быт? – Воспарит: Ирида! Восточка от Боттичелли. Флора. Душа. Весна.

Чудесно маленькая – обнять, пригреть, уберечь от нелепостей жизни так и хочется.

Чудесно хрупкая – сохранить её, спрятать подальше от горя, дышать на неё, согреть её хочется.

Чудесно крепкая – сама правота, сама достоверность, сама выживаемость.

Волевая. Живая. Вопреки – доле. Вопреки – боли.

Воля. Сплошная воля. В нашей – земной – юдоли.

Много ли съедено соли? Сознательно? Поневоле?

Более чем достаточно. Хватит на всех. С избытком.

В новой ли видится роли? Скажем, истицы? Жрицы? Вестницы – из заграницы?

Нет. Вот взлетят ресницы, зашелестят страницы...

Слушать? Читать? Молиться? Чтить? – Вместе с нею взвиться вверх – и легко проститься с тягостью лет? Прибиться к стае? Нет, вновь – сродниться с песнью, и вновь – спастись.

Всё, что в ней есть от птицы, – в слове желает сбыться. Значит, с пути – не сбиться. И своего добиться. К свету – сквозь мглу – пробиться. Значит, всему случиться, что, несомненно, – свыше. Что же, судьба? Судьба.

Птица. Женщина-птица. Славная, надо сказать.

Молодая московская дама. Умница. И волшебница. Маленькая. Но – с характером. С гонором. Вся – достоинство. Вся – оттуда, из воинства, небесного. Вся – из таинства. Из празднества. Разве – для вас?

Лёгкая, как наездница. Скрамница – и прелестница. Маленькая разбойница? Где он, её Пегас?

В прежние годы – странница. Даже, отчасти, – скиталица. Милая современница. Воительница. Печальница. Верная, встарь, соратница. Даже, порой, наперсница. Знаю, что – духовидица. Так ли? Скажи, затворница!

Так. И от века – данница имени. И заложница – славы своей. И – прав своих: доля, свобода, речь.

Слов своих всех – добытчица. Снов своих всех – раздатчица. Яви своей – питомица. Луч. Обещанье встреч.

Прочь от неё, мучения! Всё в ней – пути значение. Вот она в облачении: Ангел. В деснице – меч.

Ночи ли к ней – с вопросами? Дни ли за ней – с ответами? Всё бы ей – вкривь, откосами, с этими, впрямь отпетыми. Всё бы ей – в одиночестве, в страшном своём отечестве, в грозном своём пророчестве. Время – стряхнёт ли с плеч?

Зима шестьдесят пятого – шестьдесят шестого. Зима – на грани периода нового, памятного весья.

Что за месяц? Декабрь? Январь? А может быть, и февраль? Какой же – из этих трёх?

Да это уже и неважно.

Важно – что было холодно. Снежно. Была – зима.

Выхожу из метро – и в мороз. Неминуемо, сразу – в холод. Снег. Иду в нём, куда-то – вбок, вкривь и наискось. Но – иду. И туда, куда надо. Адрес – на клочке бумаги. Зигзаги по скользящему льду. Шаги вдоль сугробов. Дома, деревья – как во сне. Вечереет. Ветер, мне вдогонку, из-за угла. Обгоняет меня, толкает в спину, крутится, точно штопор, завихряется, хорохорится, нарывается на отпор у стены, отлетает в сторону и тушует, затихает. Я иду по Новопесчаной. Наконец-то – нужный мне дом.

Холодный подъезд. Пустынная лестница. Вот и квартира тридцать четыре. Звоню.

Открывается дверь. На пороге, вся в порыве, отчасти птичьим и отчасти детским, – Наташа Горбаневская:

– Здравствуй, Володя!

Маленькая фигурка. Кругленькая головка.

Завитки и кудряшки мягких, своевольных, тёмных волос.

Очки. За очками – глаза, для кого-то – цепкие, острые, пронизательные, для меня же – совершенно детские, чистые, со зрачками – слегка звенящими колокольцами зимними ломкими, отзывающимися на звук, загорающимися мгновенно, расширяющимися, цветущими на лице молодом, сияющими – от звучащего слова, от взгляда, за которым – раздается речь.

Наташа одета просто, по-домашнему, так ей удобнее и привычнее, так ей спокойнее: в большом и широком свитере, до колен почти, в чёрных колготках, в шаркающих, скользящих по твёрдому, чистому полу, тёплых, разношенных тапочках.

Вид у неё – домашний. Но у неё – гости.

Володя Бродянский – из Питера. Друг добрый – мой и Наташин, с нею нас и познакомивший. Приехал в Москву, и – к Наташе.

Рома Тименчик – из Риги. Филолог. Знаток поэзии. Так все о нём говорили. И – тоже сюда, к Наташе.

Вот и я к ней пришёл. Звала.

Говорили. Курили. Много. «Приму». «Шипку». «Солнце». И – «Яву», иногда. Считалось, что это – дорогие, для всех, сигареты.

Зажигалок – не было. Спички – то и дело чиркали. Вспышки краткосрочного, быстрого пламени разгорались в наших руках.

Мы прикуривали. Сквозь дым – высветлялись лица. Глаза, молодые совсем, сияли вдохновением и волшебством.

В квартире было тепло. Так тепло, что мне вспомнилось лето. Хотя повсюду за окнами в мире была – зима.

Пили кофе. Вкусный. Наташа самолично его готовила. Аромат над чашкой вставал зыбким, лёгким восточным божком.

Было всем нам уютно здесь, всех не то чтобы разморило – но уж очень нам не хотелось, никому, потом, когда вечер этот славный закончится всё-таки, выбираться отсюда – в мороз.

А поэтому все мы, здесь, в этой тёплой квартире, собравшиеся, по возможности, как получалось, продлевали время, растягивали, получалось – что замедляли.

То ли молодость так вот сказывалась, золотая, крылатая, певчая, и не чья-нибудь, а моя, то ли что-то ещё, но я ощущал физически, помню, что у всех нас времени вдосталь – и сегодня, и завтра, и там, впереди, в грядущем, которое было слишком далёким от нас, чтоб его попытаться представить, чтоб увидеть его воочию, чтоб узнать, что нас ждёт вдалеке, в отдалении, в глубине бесконечной, непостижимой, в неизбежной, зовущей, манящей высоте, среди созвездий ночных, – времени было, казалось мне, сколько угодно, с избытком, вот оно, как его много, хватает с лихвой на всех, – и от этого мне и запомнилась та, бывая, замедленность некая, та приятная неторопливость, та размеренность миролюбивая, что приметами были явными столь далёкого зимнего вечера.

С Наташей мы уже были хорошо знакомы – и даже, можно сказать, дружны.

Поскольку она звала, я просто её навестил.

Мне нравилось с ней общаться, нравилось разговаривать.

Я чувствовал в ней тогда самое важное, главное, – цельность её натуры, твёрдость характера, значимость её присутствия в мире – для меня, понимал её подлинность, взаправдашность, честность, серьёзность, знал: приязнь обоюдная наша – совсем не случайна.

В ту пору Наташа читала стихи мои. Очень внимательно. Дотошно. Сосредоточенно. Изучала их, так точнее.

На столе у неё лежала самиздатовская моя, недавняя, небывалая, по тем временам, на шумевшая в Москве, и уже знаменитая книга стихов. Наташа перелистывала страницы, что-то спрашивала у меня.

Подошёл Тименчик, взглянул, наобум, на страницу с текстом, попытался этак затейливо, с пируэтами, филологически, обыграв какую-то строчку, показавшуюся ему то ли смутной, то ли туманной, то ли странной совсем, пошутить.

Наташе тогда показалось, что хочет он просто съязвить.

И она достаточно вежливо, но решительно, твёрдо, сразу же, в тот же миг, его осадила.

Она эта делать – умела.

Рома слегка опешил, потом смутился, потом стал сумбурно оправдываться.

Но урок получил он вовремя. И подобных выходов больше себе он не позволял.

А Володя Бродянский, довольный, как-то очень по-детски счастливый – оттого, что именно он, – пусть недавно, да всё ведь к лучшему, всё сложилось так хорошо, – познакомил меня с Наташей Горбаневской, а мы с ней сразу же, и надолго, видать, подружились, – весь в сиянии своего обаяния, вдохновенный, говорил нам в тот зимний вечер много добрых и светлых слов.

Из Наташиной тёплой квартиры, с неохотой, да что уж поделаешь, мне пришлось выбираться в холод и потом добираться туда, где было в ту пору сложную у меня, хорошо знакомого с чередой бездомниц, временное, но и то ведь своё, пристанище.

Помню, что, когда я собрался уходить, попрощался со всеми и уже одевался в прихожей, Наташа всё продолжала, провожая меня, говорить мне о том, как она в стихи мои вчитывается внимательно, входит в мой, такой для неё радостный мир, в котором столько она открывает новизны, и света, и музыки, и возможностей речи нашей.

Через несколько дней в квартире, где я обитал тогда, на улице Годовикова, бывшей Калибровской, тихой, расположенной в стороне от проспекта Мира, от шума городского, раздался громкий телефонный, призывный звонок.

Я поднял трубку:

– Алло!

Оказалось, звонила Наташа Горбаневская. Волновалась. Это слышно было по голосу. Он звенел, чуть дрожа, как струна.

– Володя! – сказала Наташа, – послушай меня. Нет, лучше меня внимательно выслушай. Это важно сейчас для меня. Очень важно. Ты понимаешь?

Я ответил ей:

– Говори!

– Володя! – сказала Наташа торжественно и серьёзно, – до сих пор я считала, что есть в наше время, у нас в России, только один поэт – Иосиф Бродский. Так – было. А теперь я считаю, что есть в России у нас два поэта – Владимир Алейников, да, ты и Иосиф Бродский. Вот это я и хотела тебе сегодня сказать. Ты запомни это, пожалуйста. Это моё мнение. И моё убеждение твёрдое. Я стихи твои прочитала – и тогда-то всё поняла. Всё так ясно вдруг поняла – и какие это стихи, и кто ты такой, для меня и для всех остальных людей.

Я смутился. Такое услышать, да ещё – неожиданно, внезапно, да ещё – от самой Наташи Горбаневской, которая редко, даже скупно, хвалила кого-то из поэтов – и вообще чрезвычайно была строга в оценках своих и суждениях, – очень многое для меня в те далёкие годы значило.

Что-то я отвечал ей. Что? Бормотал что-нибудь, пожалуй.

Наташа снова, сознательно, отчётливо подчеркнула, насколько важно ей было всё это мне – чтобы знал и помнил её слова – сегодня, прямо сейчас, без всяких там околичностей, откровенно и прямо сказать.

Мнение непреложное и решительное своё сформулировала она предельно чётко и ясно.

Высказала его – прямо, без обиняков.

Оставалась она при нём, ещё более в нём укрепляясь, и потом, в течение всех славных лет нашей светлой дружбы.

Для меня, столько лет и зим, сквозь пространство и время, сквозь всё, что бывало, стихи Наташи Горбаневской – часть моей жизни.

И особенно – шестидесятые, молодые, крылатые годы.

Стихи всегда – это надо помнить всем, знать об этом, – похожи на создавшего их человека, на поэта, творца, их автора.

И особенно – если это, вот что важно, стихи настоящие, если автор их – настоящий, что большая редкость, поэт.

Стихи Горбаневской были поразительно просто похожи, всем своим особенным обликом, существующим и отдельно от реальности грустной, от быта, и в самой сердцевине яви, и трагической, и прекрасной, как две капли воды, на неё.

...Вспоминаю, как мы с Наташей Горбаневской ходили в Рождественский монастырь, тогда еще запущенный, захламлённый, заселённый коммунальными жителями, многолюдной, пёстрой слободкой там уютившимися по комнатам – бывшим кельям, с пустым, заснежённым, бестолковым двором, со стенами, на которых сидели голуби и вороны, с чёрными окнами, – ясным, белым, просторным днём.

– Вот моя любимая церковь! – сказала Наташа.

Светлый, строгий, скромный, благородно сдержанный в очертаниях своих, всем обликом своим – дышащий, звучащий, тихо поющий храм был перед нами.

Я знал его давно. Сам порой приходил к нему.

Шестнадцатый век. Свеча на снегу. Свет – вопреки тьме. Звук – вопреки немоте. Знак – для призванных. Голос – навсегда, сквозь время. Душа – в окружении наваждений. Дух извечный. Небесный дом – на земле. Храм – укром. Храм – сейчас – на потом.

Как тиха, и светла, и спокойна была здесь, бок о бок со мною стоя рядом с храмом, Наташа!

Возвышенно-строга. Торжественно-радостна. Внешне.

Внутри – я видел – сиянье плескалось и разрасталось, рвалось – вот сюда, наружу, поближе к дневному свету и храму, сюда, где молча стояли мы и смотрели на чудо – вот здесь, пред нами, весной, посреди Москвы.

В памяти осталось:

Наташа, знающая дорогу к храму,

Наташа – пришедшая к храму.

Пусть храм и закрыт ещё – всё равно он потом воскреснет.

В памяти осталось:

Наташа, готовая войти в храм,

Наташа – ждущая этого дня.

Маленькая, лёгонькая, в каком-то пальтеце, относительно тёплом, в шапочке, из-под которой выбивались непокорные её кудряшки, в сапожках на стройных, кажущихся при хождении порхающими, ножках, в тёплых пушистых варежках, согревающих её детские ладошки, стояла она здесь, во дворе упразднённого советской властью монастыря, как на службе в храме.

Стояла – исполненная веры.

Знала: придёт время – откроются двери храма.

Всё об этом в ней говорило.

И особенно – глаза.

Глаза её были светлы, влажны и прекрасны.

И я как-то сразу понял и принял всю силу её убеждённости в выборе своего пути, всю крепость её правоты человеческой, всю стойкость её души, ранимой, да всё же не зря наделённой в юдоли крылами, чтоб сквозь мглу воспарять и летать, вместе с песней своей, над землёй, чтобы вместе с весной стоять ясным днём перед Божиим Храмом.

* * *

Где бы ни приходилось мне работать, всегда оказывался я там случайно и везде был белой вороной.

Вот и в редакцию газеты Главмосавтотранса «За доблестный труд» затащил меня в семидесятом Дима Савицкий.

Он публиковал там свои рассказы, написанные вроде бы и в духе отечественной прозы шестидесятых, но и несколько по-иному, в свойственной ему, жестковатой и определённой манере, без излишних сантиментов, с изрядной дозой иронии и непременно подтекстом, с двойным смыслом, где за внешним наглядным пластом проглядывал пласт потаённый, и так полагалось писать, так принято было тогда, и читали тогда между строк, отыскивая сокровенное, спрятанное виртуозно от цензуры и лишних глаз, и радовались открытиям, как будто бы клад нашли, и это было, конечно, созвучно былой эпохе, и рассказы её выражали так и этак, уж как получалось, и выражали по-своему, по-савицки, а не по-советски, то есть был в них фирменный знак, – и только изредка ощущалось в них ненавязчивое, косвенное воздействие некоторых западных прозаиков, – но как же без этого было тогда?

Дима был хорошим журналистом.

Он чуть ли не силком привёл меня однажды в благоволившую к нему редакцию.

И мне там, совершенно неожиданно для меня, с моей-то давней, устойчивой и осознанной нелюбовью к любого рода присутственным местам, даже понравилось.

Не сама редакция – то есть, помещение, обстановка, атмосфера и всё подобное, не сама работа газетная, но другое. Люди понравились.

Толя Кричевский, ответственный секретарь, познакомившись со мной и разговорившись, тут же показался мне совершенно своим, и я как-то сразу поверил ему, и он это почувствовал тоже, и буквально через полчаса, в упор взглянув на меня живейшими, умными, чуть усталыми, с ироническим узким прищуром, с искоркой шалой защитного юмора, но и с огнём доброты и тепла, глазами человека бывалого, опытного, напрямую мне предложил:

– Иди работать к нам!

И уговорил.

Всё равно мне в ту пору надо было искать работу, хоть какую-нибудь, – а то, не приведи Господь, при моём-то шатком положении не сыграли бы на этом, не зачислили бы в тунеядцы, – тогда власти широко этим пользовались для усмирения некоторых особо им не угодных сограждан.

Я согласился.

Считался я литсотрудником, и, хотя и являлся таковым, но считался на словах, то есть неофициально, по договорённости с начальством, – а вот официально, на бумаге, с записью в трудовой книжке, оформили меня почему-то гонщиком, на одной из московских многочисленных автобаз.

Гонщик – это, насколько я помню, вовсе не тот, кто участвует в автомобильных гонках, борется за первое место, проигрывает или одерживает победу, то есть спортсмен, профессионал, ас, герой спортивных передач и статей, кумир болельщиков и экзальтированных дам, звезда, человек-легенда, почти сказочный персонаж, – но совсем наоборот – обычный, ничем не примечательный, хотя и тоже, конечно, в своей области профессионал, числящийся в штате автохозяйства, получающий довольно скромную зарплату, измотанный постоянным, утомительным сидением за баранкой, с учётом отнимающих последнее здоровье непростых условий бесперебойной езды по нашим родным дорогам, современник мой скромный, трудяга, рядовой советский шофёр, всего-то навсего перегоняющий с места на место машины. Кажется, так.

Стал я работать, стал помаленьку привыкать к новой для себя обстановке.

Сотрудники редакции относились к нам с Савицким с явной, нескрываемой симпатией.

Они прекрасно знали, что я поэт, молодой, но давно знаменитый. А то, что не числился я в литераторах официальных, лишний раз говорило им, что поэт я – из настоящих.

Знали они об истории со СМОГом, с его расцветом и разгромом, на шумевшей в шестидесятых так, что некий музыкальный гул, оставшийся после неё, тянулся за мной каким-то бесконечным шлейфом в прежние годы и сопровождает меня вот уже почти сорок лет, а сама история, судя по всему, вообще никогда не закончится. И всячески высказывали своё одобрение, демонстрировали своё расположение ко мне.

Я же, смущаясь, норовил ничем особо среди них не выделяться.

Да и острастка срабатывала. Мало ли что!

В буфете огромного здания Главмосавтотранса на Бутырском валу, в стороне от проезжей дороги, за несчастными деревьями, здания малопривлекательного для меня, где, как выяснилось, находилась не только редакция, но и расположенные на всех его этажах солидные кабинеты начальников разных рангов, приёмные, всевозможные службы, канцелярии, бухгалтерии, а также помещения, назначение которых невозможно было, казалось мне так, никому для себя уяснить, постоянно, к великой радости всех мужиков, продавалось бутылочное, слегка охлаждённое, очень вкусное чешское пиво, редкость по тем временам.

Обедал я в тамошней столовой. И из единственного рубля, полагавшегося мне на обед, всегда выкраивал на пару бутылок пива, и как раз хватало, поскольку стоимость напитка определялась без посуды – или, как её на советский манер называли, без стеклотары. Оставшаяся считанная мелочь шла на полтарелки жидкого супа, гарнир из картофельного пюре с капустой, который раздатчицы съестного, по доброте душевной, наглядевшись на мою экономию с едой, иногда увеличивали вдвое, и хлеб. Так, день за днём, и питался. Пользы в таком обеде не было никакой. Калории были – в пиве.

Я писал для газеты, смиряя себя, сердясь, через силу, набело, понимая, что делаю вовсе не то, что вообще не моё это дело, и не тем я здесь занимаюсь, производственные очерки, содержание которых тут же забывал, и всякую коротенькую ерунду, вроде подписей под фотографиями. Потом стал разнообразить жанры. Но и в этом разнообразии радости не находил ровным счётом никакой. Только нарастало внутри вначале раздражение, а потом и огорчение от бесполезности и ненужности моих занятий. Да ещё болезненно остро ощущал я, как уходит и уходит, неделя за неделей, выброшенное неизвестно во имя чего, драгоценное время.

Я ездил по московским, разбросанным по всему огромному мегаполису, автобазам и таксопаркам, общался там с людьми, старательно вникал в вопросы производства – и ничегошеньки в них так и не понимал.

Мне выдали удостоверение. Там указано было, что я – сотрудник газеты. Предъявив его, я мог ездить на городском транспорте бесплатно. Это было тогда очень даже кстати.

Но это ещё не всё. По своему удостоверению я мог садиться без очереди в такси, а при надобности – даже ехать бесплатно в такси. Шофёры-таксисты, все поголовно, и новички, и бывалые асы-ветераны, меня побаивались: я сочинял про них фельетоны.

Главный редактор, дама властная, по фамилии Таршис, лишь изредка выходящая к нам из своего кабинета и неведомо какие думы там думавшая, но своё дело – чтобы ни-ни, чтобы всё шло как надо, по директивам, согласно линии партии, без всяких там осечек и накладок, хорошо знавшая, читала все материалы сама, внимательнейшим образом, чтобы никакой крамолы не пропустить, и тексты свирепо сокращала, вымарывая, по её разумению, всё лишнее, то есть более-менее самостоятельное, живое, и оставляя только необходимое, то есть разрешённое, без последствий, казённое.

Однажды она презрела сущую мелочь: букву. Героическую труженицу одной из автобаз, некую Кузину, я в своём очерке назвал по ошибке Пузиной. Так и напечатали.

Когда газета с моим очерком вышла, героиня его позвонила в редакцию и деликатно, без обид, без истерик, без всякого крика, вежливо,

просто, спокойно, как и подобает человеку воспитанному, без комплексов, без гордыни, уточнила собственную фамилию.

Наша главная дама-редакторша закатила мне форменный скандал. Она была всегда в модной, светленькой одежде, с кольцами на холёных, узких руках, с нежной, розовато-белёсой кожей лица. А тут от ярости побагровела, налилась венозной кровью и превратилась в рыжеволосую фурию.

Но Пузина-Кузина, женщина прямая и благородная, меня защитила и сказала во всеуслышание, что вообще-то, если честно, и если не считать недоразумения с перепутанной начальной буквы в её фамилии, то как литературный опус, интересный, живой, с достоинствами несомненными, словом – удачный, мой очерк ей очень даже понравился. То есть, по существу, меня защитила.

На том дело и закончилось.

Мы всей редакцией порою, словно спохватившись, вдруг задумывались о том, как сделать нашу, достаточно большую, по сравнению с прочими многотиражками, вполне солидную, известную в столице, регулярно, как по часам, выходящую, пусть на восемьдесят процентов и по-советски кондовую, это все хорошо понимали, и тут никуда уж не денешься – официальный печатный орган, цензура, контроль, ответственность за каждый текст и так далее, но на двадцать скромных процентов – живую, отличавшуюся от остальных, а потому и с удовольствием, на отечественном безрыбье, читаемую трудящимися, и, следовательно, чем-то всё-таки выделяющуюся на общем унылом фоне, достоинства некоторыми обладавшую газету, – любым способом, даже в обход канонов, запретов и жёстких правил, – хотя бы на йоту, на толику самую малую, но так, чтобы это порадовало и нас, и читателей наших, – посвободнее, поинтереснее.

Периодически её украшали рассказы, а иногда и своеобразные, с прихотливым, вполне сознательным, от ума большей частью идущим, хоть и чувства в них было немало, переплетением повествовательной, медитативной, иронической и лирической линий, тогдашние стихи Савицкого.

Был однажды случай, когда напечатали чёрноуморные тексты Вагрича Бахчаняна, – и ничего, сошло, никто не заметил сути, претензий особых не было, равно как и нагоняев, и скандала, чего опасались, как ни странно, не получилось. Напечатали – ну и ладно. Прочитали. И всё сошло.

Кое-что ещё проходило на газетные полосы, маскируясь, бочком, проскальзывало, – этак дуриком, на авось.

Это были, конечно, победы. Пусть и скромные, но – реальные.

Это стоило многих нервов. И считалось – заслугами, подвигами.

Это было, конечно, дерзостью. Но игра ведь стоила свеч.

Но этого мало, пробившегося сквозь мглу, прорвавшегося в печать, пусть и радовало оно, пусть и гордость за подвиги, как на войне, у иных вызывало, всё же, положа руку на сердце, и с учётом того, что все мы, при каждом подходящем случае, только появлялась возможность сказать о насущном, о наболевшем, не сговариваясь, в один голос, усердно ратовали за улучшение уровня издания, – было явно недостаточно.

Ну что бы ещё такое придумать?

Я предложил напечатать в газете повесть Андрея Битова «Колесо». К автотранспорту она отношение имела. Само название напрямую о необходимости части машины говорило. Куда же, действительно, без колеса? Вспоминались тут же и гоголевские мужики из «Мёртвых душ», с их рассуждениями – доедет или не доедет? К тому же, вещь была компактной и вполне подходила для нашего периодического издания.

Идея вызвала у народа нешуточный интерес.

Я позвонил Битову:

– Здравствуй, Андрей!

– Володя, ты? – раздался в трубке слегка осипший голос.

– Я.

– Здравствуй! Рад тебя слышать.

– У меня к тебе дело есть.

– Какое там дело ещё? Давай, приезжай. Прямо сейчас. Голова у меня побаливает, со вчерашнего. Тяжеловато. Приезжай. Посидим, побеседуем. Ну, и я подлечусь немного... Ты откуда звонишь?

– Из редакции.

– Из какой ещё редакции?

– Из редакции газеты.

– И что за газета?

– «За доблестный труд».

– Ну и название! Что ты там делаешь?

– Тружусь.

– В каком это смысле?

– Я работаю здесь.

– Ты, поэт, смогист, – и работаешь?

– Да.

– В советской газете?

– Вот именно.

– Ну и ну!

– Представь, и я так считаю.

– А что за дело?

– Серьёзное.

– А конкретнее?

– Понимаешь, надо взять у тебя интервью.

– Что? Говори яснее.

– Надо взять у тебя интервью.

– И кто его будет брать?

– Я буду брать.

– Ну, дожили! Алейников будет брать у Битова интервью!

– Да, именно так.

– А когда?

– Хоть сейчас.

– Тогда приезжай.

И я приехал к Андрею.

Он встретил меня, разбухший, похмельный, без очков, близоруко щурящийся, но старавшийся выглядеть бодро и держаться как можно твёрже, с неизменно прямой спиной, с кофемолкой привычной в руках.

– Сейчас будем пить кофе! – объявил, улыбаясь, Битов.

– Можно и кофе! – сказал я, проходя в квартиру.

– А потом будем пить вино!

– Можно и вина выпить.

– А потом говорить будем.

– Хорошо. Я согласен на всё.
Я сказал ему сразу – про «Колесо».

Он ответил:

– Да, я подумаю.

Мы устроились за столом, на котором, как и всегда у Андрея, почти ничего съестного не было. Так, чёрствая булка, печенье, остаток сыра.

Зато кофе было предостаточно – и Андрей со всегдашним удовольствием засыпал тёмно-коричневые пахучие зёрна в длинную и узкую металлическую, поблёскивавшую серебряным отливом кофемолку, его любимую, и включал её, и размалывал зёрна, и образовавшийся порошок засыпал во вместительную джезву с деревянной рукояткой, и ставил джезву на огонь, и варил кофе, и разливал дымящийся напиток в чашечки. Словом, это был традиционный его ритуал.

И мы пили с ним свежий, вкусный, крепкий кофе.

И Андрей уже кивал на стоявший в углу пяток семисотграммовых бутылок с белым сухим вином.

И пришёл после кофе черёд сухого вина.

И Андрей поправил здоровье.

И мы с ним – поговорили.

Он, не уставая изумляться тому, что видит меня в роли интервьюера, хотя, как я заметил, было это ему, безусловно, приятно, закурил и принялся отвечать на мои вопросы.

Он ответил на все мои вопросы о своей жизни и литературной судьбе. Причём делал это с удовольствием, охотно, умеючи, обстоятельно и без всякого сумбура, толково. Говорил как по-писаному. Он вообще любил и умел говорить. А тут он вспоминал некоторые моменты своей биографии, соединял их с прозой своей, проводил параллели с тем-то и с тем-то, перекидывал мостики сразу во все времена, по спирали, по ассоциации, возвращался к тому, с чего начал, продолжал, развивал свою мысль, парадоксами сыпал, шутил, говорил серьёзные вещи – и стал постепенно, в процессе говорения своего, снова самим собою, и, похоже, действительно подлечился, и вином, и речами своими, и был интересен мне, как и всегда, и слушал его я внимательно, с интересом и с удовольствием, и как-то по-новому он раскрыться теперь сумел.

Всё, что сказал мне Битов, было вполне в его духе. То есть – оригинальным, свежим. Бери да печатай.

Всё это – я записал. Наскоро. Для себя.

Надо мне было из всех этих записей торопливых сделать потом интервью.

Я поблагодарил Андрея.

И спросил:

– А как же с публикацией?

– Какой? – не понял Андрей.

– Публикацией повести «Колесо».

– В газете «За доблестный труд».

– А что?

– Да так, ничего.

– И всё же?

– Пусть публикуют.

– Но где же мне взять её?

– Так... – Андрей поразмыслил немного. Потом наконец сказал: – Повесть возьми у Инги.

– Поеду.

- Прямо сейчас?
 - Конечно.
 - А что за спешка?
 - Вовсе не спешка. Так надо.
 - Ну, как знаешь. Тогда поезжай.
 - Еду.
 - А может, выпьем?
 - Нет, спасибо. Ты выпей сам.
 - Я-то выпью.
 - Ну вот и выпей.
 - Ты не хочешь?
 - Нет, не хочу.
 - Ну, как знаешь.
 - Держись. Поправляйся.
 - Постараюсь.
 - Всего хорошего.
 - Инге там привет передай.
 - Передам.
 - Скажи, пусть приедет.
 - Хорошо.
 - Ну, пока?
 - До свидания.
- И я, попрощавшись с Битовым, поехал к Инге Петкевич.

Инга, жена Андрея, училась тогда в Москве – то ли на Высших литературных, то ли на Высших сценарных курсах. Пожалуй, на сценарных. Потому что охотно всем рассказывала о просмотренных там кинофильмах – таких, которые сроду прочим не покажут. В том числе, с хрипотцою в голосе, только среди приятелей, – и об эротических, существование которых для всех вообще казалось фантастическим. Ну а вся мировая классика – уж это само собой, всё было там пересмотрено. Показывали им и все новинки. Студентам – или слушателям, ежели так правильнее, – высших курсов полагалось на зубок знать всё, что могло им потом пригодиться, в дальнейшей, предполагаемой их работе, когда, закончив обучение, примутся они создавать собственные сценарии.

Жила Инга в общежитии Литинститута.

Находилось оно не то чтобы совсем уж далеко, на окраине где-нибудь, – нет, вовсе и не на окраине, и однако же на отшибе, остороно от знакомых мне районов, и всё-таки далековато, конечно, так мне тогда показалось, и ехал я слишком уж долго, за Останкино куда-то, и это мне порядком надоело. Сейчас я и адреса даже приблизительно не скажу, хотя зрительно – до сих пор отчётливо помню, где оно, это здание.

Я приехал туда. Открыл входную дверь. Прошёл по коридору в указанном обитателями общаги направлении. Увидел дверь нужной мне комнаты. Постучал.

Инга, рыжегривая красавица, открыла мне.

Была она спросонок. И всё ворчала – на всё на свете, так, для порядка.

Глаза её смотрели на мир вроде бы и сердито, но мелькала в них иногда и шальная, смешливая искорка.

Лицо её было заспанным, бледным, пухлым.

Надутые совсем по-детски, не накрашенные, капризно изогнутые губки забавно подёргивались и оттопыривались, и создавалось впечатление, будто прямо сейчас пожелаала что-то необычное сказать, но пе-

редумала, вот и всё, и возьмёт да ничего и не скажет, а вы уж все как хотите, так и ведите себя, и что хотите, то и думайте, потому что ей всё равно.

По плечам её, наскоро прикрытым старым халатиком, буйной россыпью разметалась целая галактика рыжих волос.

Инга выслушала меня внимательно. И некоторое время, сузив свои магнетические глаза, размышляла.

Потом она порылась где-то поблизости, в бумажных и книжных завалах, извлекла из укромного закутка машинописную перепечатку битовского «Колеса» и протянула её мне.

Текст оказался получерновым, густо, от руки, правленным Андреевой рукой.

– Ничего, разберутся! – спокойно сказала Инга. – Перепечатают. Делов-то!

И громко заржала. Это у неё смех был такой. Фирменный. Неповторимый. Нечто вроде одобрения.

Инга была не только яркой личностью, что само по себе замечательно и уже вызывает интерес и симпатию, но ещё и очень талантливой писательницей.

А я как раз недавно прочитал её чудесную книжку для детей «Мы с Костиком». И поэтому, не удержавшись, тут же, напрямую, сказал ей, как мне эта книжка понравилась.

Инга сверкнула своими светлыми, – то ли зелёными, то ли голубыми, то ли изжелта-карими, трудно их цвет передать, потому что всегда они были неизменно горячими, огненными, то с бушующим в них пламенем, то с весёлой, лукавой искоркой, то с таинственным, странным мерцанием где-то там, на самом их дне, – ставшими тут же горячими, жаркими, пробуждающимися глазами, встряхнула волосами – и опять заржала.

– Надо повидаться, Володя! – сказала она, закуривая. – Хочу стихи твои новые послушать. Можно?

– Конечно, можно, – сказал я. – Приезжай.

– Вот-вот. Приезжай, – проворчала Инга. – Помнишь, как ты приехал к нам в Токсово и читал стихи?

– Помню, конечно, – ответил я.

– Хорошо тогда было! – вздохнула Инга.

В коридоре, за прикрытой не слишком плотно дверью, вдруг раздался какой-то жуткий грохот, вслед за грохотом – глухой шум падающего тела, а потом – чей-то крик отчаянный, а за криком – тихие стоны.

Я тревожно оглянулся – и вопросительно взглянул на Ингу, являвшую собою, к моему немалому, признаться, удивлению, редкий пример образцовой выдержки и полнейшей невозмутимости.

– Не обращай внимания! – спокойно сказала Инга. – Пьют, не просяхая. Все здесь пьют. поголовно. Вот, – показала она почему-то на кровать, – Коля Рубцов, например. Трое суток провалялся у меня под кроватью. И всё пил. С утра мается, охает, тянет мне снизу рубли свои мятые, поганые: «Инга, умоляю! Инга, спаси! Сбегай за бутылкой. Сил нет терпеть больше. Выручи. Принеси опохмелиться!..» Выспаться спокойно не давал. Ну, слушаешь его, слушаешь – и лопаешься терпению. Плюнешь, встанешь. Принесёшь ему бутылку. Он заглотит немного – и опять отрубается. Храпит на полу, под кроватью. Алкоголик, что поделаешь! Еле выдержала я. Гнать его – жалко. Ну куда он потащится? Наконец, сам ушёл. А поэт он – хороший, да? Ты как считаешь?

– Да брось ты! – отмахнулся я. – Третий сорт. Ну, десяток стихотворений наберётся. Мне как-то всё равно, есть он или нет его. Пусть живёт.

– Да, пожалуй, – согласилась Инга. – Все нервы мне вытрепал. Алкаш хренов. Но стихи у него – есть, есть трогательные. Такие, знаешь, русские, в есенинском ключе. Деревня, матушка, поля, берёзки. Пусть живёт!

Говорить было вроде особо уже и не о чем.

Да к тому же надо было Инге умыться, в порядок себя приводить. И то сказать – трое суток Рубцов её мучил!

Мы договорились как-нибудь на днях повидаться.

И я повёз повесть Битова в редакцию.

Увидев рукопись, Толя Кричевский оживился:

– Можно будет давать с продолжением, из номера в номер!

Но главный редактор, дама самовольная, любящая делать всё поперёк, руководствуясь только ей одной ясными принципами, вначале довольно рассеянно полистала до крайности затрудняющий чтение, испещрённый обильнейшими, в несколько слоёв, исправлениями и наминавшими головоломные математические формулы, бессчётными вставками, текст битовской повести, потом о чём-то призадумалась, куда-то позвонила, с кем-то, видимо, посоветовалась, после чего вышла к нам с истрёпанной рукописью в руке с видом более чем решительным, отчего всем сразу стало ясно, что на сей раз номер не пройдёт, – и категорически воспротивилась публикации «Колеса».

Заодно, само собой, автоматически отпала надобность и в публикации моего интервью с Битовым.

Ну, коли так, то и ладно. Ничего не попишешь. Начальство – против. Давит оно на корню наши инициативы.

Повздыхали мы все, пороптали – на судьбу и нашу редакторшу, – но потом примирились с обеими и довольно скоро успокоились.

Отдал я рукопись «Колеса» на прочтение Кричевскому. Так она, правленная Битовым, и осталась у него.

Нам же, для обновления газеты, следовало по возможности скорее, а лучше бы незамедлительно, – чтобы как в сказке, прямо сейчас, это вдруг прояснилось, – придумать что-нибудь другое.

И меня осенило.

Я предложил периодически публиковать на последней полосе произведения для детей. По воскресеньям, например.

Среди сонма столичных моих знакомых было немалое число интересных, славных людей, по возрасту своему гораздо старше меня, с одной стороны – известнейших представителей неофициальной литературы, и поэтому неиздаваемых, с другой же стороны литераторов широко издаваемых и тоже известных, профессионально и хорошо пишущих именно для детей. Игорь Сергеевич Холин, Генрих Сапгир, Гена Цыферов, Ян Сатуновский, Овсей Овсеевич Дриз...

Небось, все они откликнутся на призыв, поймут ситуацию правильно – и с удовольствием, надо полагать, согласятся дать нам свои стихи и сказки – для публикаций в нашей газете.

Идея моя всем нашим редакционным людям очень понравилась. По душе пришлась. Или, как говорится, в жилу. Видно, я поневоле в самую точку попал.

Сотрудники газеты сразу же оживились, оторвались от пишущих машинок, вскочили с мест, закурили, все разом заговорили.

- Для детей – это здорово!
- Надо, братцы, думать о детях!
- Надо помнить о детях, товарищи!
- Надо детям нашим помочь!

В общем, промелькнул во всём своём блеске и заставил меня в очередной раз восхититься и улыбнуться прекрасно известный ценителям одесского сочного юмора мотив из романа Ильфа и Петрова.

Но пришло это сразу же в голову почему-то лишь мне одному.

Сотрудникам было не до юмористических ассоциаций.

В своём едином порыве были они все, как один, совершенно искренними.

Лица их посветлели, помолодели, расплылись в добрых улыбках.

И потеплели глаза их, усталые, натруженные, болевшие от сочинения, правок и вычиток газетных материалов.

И смягчились их измотанные монотонной тягомотиной и ежедневной нервотрёпкой, но всё же не очерстевшие вконец, не ледяные, вовсе не каменные, а вполне людские, отзывчивые, с человечностью, миг проявившейся, гулко бьющиеся сердца.

Все они горячо поддерживали новую мою идею.

Даже главная редакторша, для порядка вначале слегка поломавшись, пошуршав своими лёгкими, воздушными одеждами, сквозь которые в меру эротично просвечивало золотисто-кремовое, ухоженное, благоухающее заграничными дорогими духами, свежее тело дамы в балзаковском возрасте, совершив белыми ручками в золотых браслетах и кольцах загадочные манипуляции, с прижиманием ладоней ко лбу, что символизировало задумчивость, с постукиванием пальчиками по краю стола, что выражало настроенность на боевой лад, неожиданно для всех тоже милостиво улыбнулась и мою идею одобрила:

– Вот это как раз то, что надо!

Получено «добро» – надо действовать. И немедленно. Только так. Волынить, затягивать с действиями в подобных случаях, крайне редких в советское время, с его бесчисленными запретами, ограничениями, с вечной оглядкой и вьёвшейся в мысли опаской, категорически нельзя. Следует сразу же хватать ситуацию за хвост и крепко её держать, а не то, чего доброго, может она и вырваться, и сбежать неизвестно куда, то есть – просто перемениться. И вовсе не в лучшую сторону. Такое случается редко. Вернее, такого почти не бывает. Вот в худшую сторону – да, это всегда пожалуйста. Этого сколько угодно. Примеров полно. За ними и ходить-то далеко не надо. И лучше, от греха подальше, об этом пока что не думать. Лучше – немедленно, желательно – прямо сейчас, ничего не откладывая на потом, что-то предпринять. Всё это мы хорошо понимали. И на вещи смотрели трезво. И действовать были готовы. Все. Так считалось. Но лучше бы всё-таки – действовал автор идеи. Так оно как-то спокойнее – для остальных. Ведь мало ли что может произойти? И лучше – подстраховаться. Обо всём этом – я догадывался, по чутью, как всегда, заранее. Всё это я – что делать! – более чем понимал. Ничего не попишешь – привычно сваливать всё на кого-то. В данном случае – на меня. Ну и пусть. Разберусь, поди, сам. Но с кого начать?

И тут меня вновь осенило.

Я сказал Диме Савицкому:

– Давай напечатаем Лимонова. Я серьёзно говорю. Сам посуди – живёт человек в Москве на полулегальном положении. Шитьём брюк подрабатывает. Стихи пишет – но их не печатают, и не будут печатать, сам понимаешь. Но мы Лимонова – напечатаем. И мы будем – первыми, кто его напечатает.

– Интересно! – Дима заинтересованно слушал меня. – Говори!

– Я уверен, – продолжил я свои рассуждения, – что Эдик сумеет писать стихи для детей. Дар у него такой. Нечто детское в нём есть, игровое, согласись. Наверняка он никогда для детей не писал. Но наверняка же и сумеет это сделать. Вот ты представь: пишет Эдик эти стихи, и приносит их нам. А мы публикуем их в газете. И вскоре вся Москва читает напечатанные лимоновские стихи. Я уверен, что он хорошо напишет их.

– Давай звонить Эду! – загорелся Савицкий.

Я позвонил Лимонову. Вкратце объяснил ему, что от него требуется.

Эдик секунду помедлил. Потом решительно сказал:

– Идёт! Сажусь писать.

Нам оставалось – только ждать.

Лимонов времени зря не терял. Не откладывая дела в долгий ящик, он сразу же сел за работу. И на удивление быстро с заданием справился.

За один присест, набело, написал он ровно столько стихотворений для детей, чтобы заполнить полосу. Строк триста, наверное. И на следующий день принёс перепечатанные им на чешской машинке «Консул» тексты.

Называлось это – стихи для детей.

Мне они понравились. В них было то лимоновское, полунаивное, полуребяческое, полуабсурдное, полужитейское, что являлось отличительной чертой тогдашних его писаний.

Кроме того, стихи получились задорные, весёлые, игровые, с прибаутками, с восклицаниями, с междометиями, со скачкой на деревянной лошадке неведомо куда – и с прочим лёгким бредом, который придавал текстам Эдика странное обаяние.

Кричевский прочитал стихи и вначале хмыкнул, а потом крикнул, а после этого присвистнул и улыбнулся.

– Годится! – сказал он. – Пойдёт в номер.

Савицкий прочитал стихи и восхитился:

– Ну, Эд! Выдал ты тексты!

Пышноволосяй, круглолицый, в очках, в хорошо сшитых им же брюках с аккуратно отглаженной стрелкой, вроде бы скромный, но с бесом в ребре, Эдик Лимонов сидел в редакции и радовался жизни, радовался некоторым изменениям в писательской своей судьбе:

– Надо же! Меня, Лимонова, – печатать собираются! В Харькове узнают – не поверят. А всё так и есть. Вот я, Лимонов, сижу в советской редакции. И вижу, что меня хотят издавать. Ну не чудеса ли это? Глядишь, стану печатающимся поэтом. И моя супруга, Анька, Анна Мойсеевна Рубинштейн, уже не будет называть меня «молодым негодяем»! Надо выпить за такое дело!

– Пить будем потом! – сказал навидавшийся в жизни всякого, начиная с армейской службы и продолжая выразительным перечнем его работ, исключительно с целью заработать на хлеб насущный, из которых одну всего-навсего вспоминал он порою с симпатией – работу осветителем в знаменитом театре «Современник», да и там приходилось ему отрываться от дела частенько, чтобы прямо с репетиции сбежать в ма-

газин за очередной бутылкой водки для Олега Ефремова, – остальные же были так себе, пребыванием бог знает где, тратой времени, часто бессмысленной, включая, хоть это и не работа, а учёба, и Литинститут, где он зачем-то учился, но чему – он и сам не знал, да и заработки в газете были крохами, так, перебиться, – и на том спасибо, конечно, – да хотелось бы всё-таки большего, но чего впереди ожидать, как не именно крох, здесь, в совдепии, где подумаешь поневоле, не махнуть ли, послав подальше неуступчивое отечество, с ностальгией всей, за кордон, – сказал, как отрезал решительно в любой ситуации трезво и в корень глядевший на вещи, бородой сурово тряхнув, строгий ментор Дима Савицкий. – Вот когда выйдут твои стихи, когда увидим мы, что они напечатаны, – тогда и выпьем!

– И то верно! – согласился Лимонов. – Подождём, что из этой затеи получится.

И лимоновские стихи для детей – вышли в свет!

В следующее же воскресенье.

Целая полоса была для них отведена.

Кажется, Дима сочинил ещё и небольшую врезку – о том, кто такой Лимонов.

И рисунки, заставочки весёлые, в стиле иллюстраций к детским книжкам, были на полосе.

Одним словом – событие.

В понедельник в редакцию пришёл радостный Лимонов. Мы вручили ему столько газет, сколько унесёт, – груды. Эдик прикинул, сколько дотащит, – и потребовал ещё – на подарки знакомым.

Дали ему штук сто газет и на подарки.

Обременённый тюком с газетами, Эдик Лимонов, отныне автор самой крупной в Москве многотиражки, издаваемой большим тиражом и даже продающейся в газетных киосках, вышел из редакции на Бутырский вал.

Это была первая его публикация.

Самая первая. И самая неожиданная.

И, конечно, было ему всё это очень приятно.

Перво-наперво он незамедлительно отправил номер газеты со своими стихами родителям, в Харьков. Пусть старики знают, что непутёвый сын их уже печатается!

Потом ходил по Москве с заполненной газетами сумкой – и как бы между прочим дарил, экземпляр за экземпляром, украшенную его стихами газету многочисленным своим знакомым.

И, кто его знает, – может быть, именно тогда зародилась в его изобретательном, с сумасшедшинкой, с любовью к риску, творческом мозгу идея когда-нибудь издавать собственную газету?

Что и воплотилось позже – в «Лимонку».

Национальный герой был в ту пору на гребне своей популярности.

Его везде привечали.

Всем, никому не отказывая, шил он отличные брюки – и все ему охотно за них платили, поскольку шил он брюки со вкусом.

Всем, куда только его ни звали, читал он свои стихи. Его акции поднимались: человек издаётся!..

Художник Миша Гробман, считавший почему-то, что это именно он открыл Лимонова, ходил по гостям, держа всегда наготове газету с лимоновской публикацией, – и прямо с порога начинал читать оторопевшим людям задорные, чёрным по белому напечатанные, занимающие

целую полосу, Эдиковы тексты, заводные, с явным, хоть и несколько харьковского, провинциального толка, но всё же французи́стым, авангардным, очевидным дадаизмом.

Жена Лимонова, Аня Рубинштейн, очень полная, с невероятно красивой головкой, приходя куда-нибудь и попивая кофеёк, а заодно жуя предложенный хозяевами бутерброд, а потом, незаметно как-то, и ещё один, и ещё, поскольку поесть она любила, скромно поднимала на присутствующих сияющие глаза и с гордостью говорила:

— Эд уже печатается!..

В общем, поспособствовал я укреплению лимоновской известности в Белокаменной и за её пределами.

Но как же мне было не поддерживать друга?

Как было хоть в чём-то ему реально не помочь?

Всё я делал, как и всегда, искренне, от души, с самыми добрыми намерениями.

Довольно быстро мне надоело ходить на службу, ездить по всяким автохозяйствам, а потом, сидя за громоздкой машинкой, прямо набело писать невесть что.

Не для меня была эта контора.

Хоть и люди здесь, можно сказать, хорошие, почти наши, почти свои, но — не для меня это, нет, не для меня.

И я ушёл из редакции.

Савицкий, небольшой, энергичный, спортивный, с ассирийской сизо-смоляной бородой, помимо прозы, явно под воздействием исходящих от моих стихов импульсов, — да и не только, наверное, от моих, потому что везде тогда читались стихи, везде перепечатывались стихи, — начал, всё интенсивнее, писать и свои стихи.

Каждый новый цикл он тащил ко мне и дарил с дружеской надписью.

Циклы эти появлялись на свет с завидной регулярностью.

До сих пор у меня чудом сохранились некоторые его самодельные книжицы.

Он любил и хорошо знал джаз.

Любовь к джазу нас ещё теснее сблизила.

В его тринадцатиметровой комнате, расположенной в глубине коммунальной квартиры на четвёртом этаже ничем не примечательного дома в Лиховом переулке, частенько слушал я отменные записи.

Дима угощал меня антрекотами, по одному антрекоту на брата, и заваренным им по собственному рецепту, действительно вкусным чаем.

Иной раз мы с ним скидывались и покупали бутылочку «Каберне», которую и распивали не спеша, под свинговые вибрации эллингтоновского оркестра или под золотое соло трубы Луи Армстронга.

Фортепьянные проигрыши Дюка плавно зависали и покачивались в зыбком, волокнистом дыму выкуренных нами сигарет.

Армстронговский тон был тёплым, даже горячим, как врывающийся в Димину комнату из-за полуотдёргнутой шторы солнечный луч, был густым и медвяным, звук был острее бритвы и сразу же устремлялся в атаку, напористость и энергия великого джазмена не знали границ, пассажи являлись вдруг, словно из ничего, сами по себе, вспыхивали и сменялись другими, ещё более колоритными, и четырёхтактовые музыкальные фразы возникали, вытекали одна из другой, и в самом построении игры была та вернейшая взаимосвязь, которая, несомненно, была

фирменным знаком, отличительной чертой этого джазового гения, – и только вздрагивало вдруг оконное, давно не мытое, тускловатое стекло, чтобы лёгкой звёздочкой отразился в нём пронизавший пространство всей комнаты, устремившийся дальше, в заоконную даль, будоражащий, звонкий, ликующий звук, – да покачивал головою, улыбаясь чему-то, Савицкий, да крутилась пластинка, да гудела недалёким Садовым кольцом за стеною Москва...

Димин сосед по коммуналке закалялся под холодным душем, намереваясь стать «моржом».

Дима тут же напечатал в газете рассказ о нём, чем вызвал прилив дружбы.

Сосед начал всерьёз «моржевать», увлёкся, а потом увлёкся и сочинением прозы, которую Савицкий обрабатывал и печатал всё в той же газете «За доблестный труд».

Так в Москве стало одним прозаиком больше.

Дима жаждал знакомств с людьми богемы, – в особенности с известными тогда, или знаменитыми даже, и тем самым ему, человеку пишущему, ещё более интересными людьми, с которыми, при его несколько вкрадчивом, отчасти рассчитанном, сделанном, но и достаточно броском, лучезарно-компанейском обаянии, он довольно легко находил общий язык, быстро налаживал отношения, неглубокие, впрочем, без подлинных дружб, но зато для него приятные и в известном смысле полезные, – и зачастил ко мне.

У меня всегда можно было кого-нибудь да встретить.

Потом я дал ему адрес Марии Николаевны Изергиной, выдающейся женщины, живущей в Коктебеле, подруги Марии Степановны Волошиной и очень многих достойных людей, – и Дима переместился туда, там и обрёл новое дыхание как писатель.

Более известен был там годами – как всегда, неизменно, в любом настроении, в любое время дня, в любую погоду, находящийся в самой лучшей, образцовой спортивной форме, по-настоящему классный теннисист, обыгрывавший на корте всех без исключения обитателей дома творчества.

...Савицкий уехал на Запад, сорок лет прожил в Париже, а недавно он умер, но старые коктебельцы по сей день вспоминают его – верного рыцаря Марии Николаевны и теннисного короля.

* * *

Вспоминаю, как навестили меня в одном доме, в семьдесят первом году, сразу трое моих друзей-приятелей – Игорь Холин, Генрих Сапгир и Эдик Лимонов.

Они прикатили ко мне с целым мешком симпатичных, маленьких бутылок пива – «Рижского», вроде, – пожалуй, оно продавалось в те годы в таких вот бутылочках, – трудно мне, человеку, давно уж непьющему, взять да так вот всё сразу и вспомнить – и название пива, и прочие, выпивонных баталий, детали и подробности, – это вспомнят могикане богемы пьющие, к ним за справками и обращайтесь, для меня это всё – в былом.

Гости мои загрузили бутылками ванну, заполненную холодной водой, сразу ставшую похожей на склад стеклотары. Они доставали оттуда бутылки – непрерывно, одну за другой, открывали их, пиво пенилось, они наливали его в стаканы – и пили, пили, пили.

Это называлось – проведать друга.

Или даже – поддержать друга.

Во всяком случае, Холин с Сапгиром приехали, чтобы именно поддержать меня – морально поддержать, уж так, как умеют, как принято, с некоторым количеством питья, в данном случае – совсем лёгкого, почти символического, но зато уж имевшегося в изобилии, пей – не хочу.

Лимонов же – приехал ко мне, как вскоре я понял, за компанию с Холиным и Сапгиром, вроде бы – тоже навестить друга, в предыдущие годы сделавшего для него немало добра, но на самом-то деле – с иной целью.

Лимонов был прекрасно одет.

Шикарный светлый костюм великолепно сидел на нём. Под горлом, выделяясь на ослепительно белой рубашке, трепыхался пышненький, пёстренький галстук-бабочка. Пышными, будто бы взбитыми, были и длинные, ухоженные, кудреватые волосы Эдиковы.

На ногах у него сияли новые, дорогие, старательно начищенные туфли.

Эдик лихо открывал блещущие тёмным стеклом, вытянутыми конусами сужающиеся кверху бутылки с пивом, сдувал пену, попивал янтарного цвета напитков – и всем своим видом, всем поведением своим словно говорил мне, одному мне, специально, нарочно, показывал, демонстрировал, – вот, мол, какой он нынче, смотри, Володя, какой он ухоженный, благополучный, довольный жизнью, судьбой, сделавшей новый виток и придавшей всему его существованию новый, только ещё начинающий раскрываться, но, несомненно, прекрасный смысл.

Эдик не забыл подчеркнуть, что теперь он всегда при деньгах, с нескрываемой радостью поведал мне, что он везде нарасхват, всё в гостях, у иностранцев, в посольствах, и везде его на ура принимают, и всем он читает стихи, по его словам, всех поголовно восхищающие и приводящие в трепет, – вон даже Костаки, послушав его, воскликнул: «Наконец-то я слышу настоящие стихи!» – так что игра его стоит свеч, он на коне, популярность его всё растёт, перспективы впереди – самые радужные, и жизнь вообще хорошая штука, если подходить к ней не абы как, а с должной практичностью, дабы выжать из неё всё возможное.

Примерно к этому сводились его речи.

Всем своим поведением показывал он мне, что, вот, мол, смотри, да все смотрите, он – удачник, он в выигрыше, он начинает урывать своё, а ему много надо всего, много, и это ещё только начало, он ещё разгуляется, войдёт во вкус, он ещё покажет себя, станет национальным героем, – а я – ну что я? – что я – для него, Эдика, – я-то, со своими сложностями в жизни, с абсолютно другой судьбой, уже полубездомничающий, мающийся, часто – смятенный? – каждому своё, видать, каждому своё, – и главным, наиважнейшим во всём этом было: вот, видишь, – это он теперь вырвался вперёд, это он обходит соперников, это он, Эдик, благополучен и популярен в народе.

– Бог с тобой, Эдик! – спокойно сказал я ему. – Действительно, каждому своё. Живи как знаешь, как умеешь, как уж она, эта твоя, новая, светская, широкая, праздничная жизнь у тебя складывается. На свою жизнь мне нечего жаловаться. Она сложится так, как суждено. Я – в своём движении к свету нахожусь. Только и всего. Понимай как

хочешь. Для меня сейчас важно – именно это движение. Остальное – потом.

Но Лимонову хотелось выговориться.

Вначале он с таинственным видом, отозвав меня в сторонку, понизив голос и поглядывая по сторонам, чтобы не услышали другие, рассказал мне, что недавно его вызывали в органы. На Лубянку, понятное дело. На беседу. И так уж приняли, так уж душевно беседовали, что дальше некуда. Вежливые люди. Воспитанные. Внимательные. Образованные. Совершенно всё обо всех они знают. Ну и что с того, что они – кагэбэшники? Говорить-то с ними приятно. Интересно даже. Полезно. Встретили они Эдика ну прямо как старого знакомого. С уважением относились. С симпатией. Предлагали сотрудничать с ними. Говорили, что вот, мол, ваш, Эдуард Вениаминович, земляк, харьковчанин, Брусиловский, художник известный, давно уж, старательно, столько уж лет, в охотку, можно сказать, сотрудничает с ними, с органами, и с несомненной пользой для себя, заметьте, поскольку, имея от него регулярную информацию о том, что происходит в интересующих чекистов кругах, благодарный комитет госбезопасности преспокойно закрывает глаза на его деятельность иного рода, мало общего имеющую с рисованием, антиквариат ли это, или ещё что, и даёт человеку жить, так, как ему хочется. Так почему же и вам, имея перед глазами пример вашего земляка, не сотрудничать с органами? – как-то слишком уж бойко и весело рассказывал мне Лимонов, – ну почему не сотрудничать, если это сулит немалые выгоды, упрощает жизнь, даёт вам некоторые преимущества перед вашими знакомыми, да и вообще, как вы понимаете, всё ведь это не просто так, всё это – для блага родины, для защиты её интересов, и всегда чекисты – на страже, и вам, Эдуард Вениаминович, такому известному нынче поэту, но человеку, с положением, прямо скажем, не очень-то устойчивым, даже шатким, которое нам никакого труда не составит вдруг усложнить, не пойти на сотрудничество с нами, для вашего же спокойствия житейского, но и во имя интересов родины, разумеется, и это прежде всего, но и собственная ваша жизнь как угодно сложиться может, и вы это понимаете, а мы многое можем, многое, и помочь вам сумеем, и направить на верный путь, и – поддерживать всегда, если понадобится, – так что вы уж подумайте, хорошенько подумайте о нашем предложении, не случайно мы вызвали вас, именно вас, и не просто так именно с вами об этом сейчас говорим, всё это очень серьёзно, а вы уж решайте.

Вот что, уже не тараща, а щуря глаза из-под стёкол очков, рассказывал мне полушёпотом Эдик Лимонов.

Зачем? Думаю, так было надо.

Кому? Известно, кому.

Не случайно ведь он сказал, что сотрудничать, ему лично, с органами безопасности, всё-таки интересно.

Не случайно ведь эти же самые, не чужие отнюдь, не придуманные, не взятые с потолка, но его, и только его, лимоновские, слова – увидел я напечатанными, буква к букве, чёрным по белому, в интервью журналисту бойкому постперестроечных лет, внуку вроде бы какого-то героя революции, с венгерскими корнями, некоему Феликсу Медведеву, в книжке жареных, согласно выраженью лет посыпавшихся градом, не иначе, на читательские головы, скандальных и сенсационных

публикаций, интервью медведевских, гремевших на просторах родины чудесной, перед тем, как, обретя свободу, потеряла родина лицо, вслед за чем куда-то задевался, видимо, игру свою сыгравший, или проигравшийся, возможно, всякое бывает, сам игрок, то есть, сам азартный журналист, – увидел я эти слова лет этак через двадцать после его, лимоновского, давнего монолога, может быть – откровенного, может быть – не совсем, с двойным ли значением, с подвохом ли, с расчётом ли трезвым, по пьянке ли, – тогда, в стороне от компании приятелей, втайне, за пивом.

Как относиться к этому?

Наивное восклицание!

Вопрос на засыпку, что ли?

Загадка? Шарада? Кроссворд?

Информация к размышлению, по лаконично-чекистской, конкретной, скрижальной формуле творца незабвенного Штирлица, писателя и бизнесмена-издателя, Юлиана Семёнова, подсобившего свалившему в поисках славы в чужие края Лимонову, будущему политику, партийцу и скандалисту, вернуться в родные пределы то ли на тёмной лошадке, то ли на белом коне, чтоб здесь, на выгодной почве, сызнова развернуться, батькой Махно разгуляться, да что там, намного круче, по национал-большевистски, с лозунгами и знамёнами, с понтом пройти по стране, мнить себя на безрыбье национальным героем, воображать себя если не идеалом, так образцом для зелёной, сбитой им с толку, в стаю собранной молодёжи, да иногда, для дела, книги свои писать, напрочь забыв процитировать, всем, себя же, любимого, свои же слова, написанные им в молодости когда-то: «Молчите, проклятые книжищи!..»

Да так вот и относиться.

Он сказал это – с целью, с умыслом.

Ну а я – навсегда запомнил.

Было ль, не было ли – мне-то что?

Сам за всё пусть и отвечает.

Перед кем? Перед Богом, понятно.

И, конечно же, перед людьми.

Выслушал я Лимонова – по возможности невозмутимо.

Ну а что оставалось делать?

Волю вдруг проявил. Сдержался. Не сказал ничего ему.

Смысла не было никакого, после всех его, неприятных, так их можно было бы, видимо, для приличия, обозначить, или, что намного точнее, по Булгакову, нехороших, органичных для тех же органов, что Лимонова привечали, потому и по-иезуитски, что рифмуется с «по-чекистски», для сознания просто чудовищных, заковыристых откровений, хоть о чём-нибудь с ним говорить.

Но ему хотелось выговориться. Он, будто его прорвало, говорил и говорил.

И мне приходилось его слушать. Приходилось.

Может, душу он надумал облегчить, всё сказав, как древние считали?

Он расстался со своей, недавней, харьковской женой, Аней Рубинштейн. Это был для него – пройденный этап.

Он завёл себе новую жену – Елену. Манекенщицу, писавшую стихи. Бывшую супругу художника Щапова. Светскую даму, считавшую-

юся почему-то красавицей. Даму с большим самомнением, с ворохом разных претензий, и требований, и замашек. Прямо из сладкой жизни, той самой, московской, о которой, с участием Брусиловского и Щапова, был залихватский, с фотографиями, репортаж в заграничном журнале. Прямо из роскоши. Прямо из сказки. Он – упивался этой своей победой.

Он поведал мне, как происходило завоевание Елены.

Лимонов, заранее договорившись о задуманной им акции с приятелем-врачом из больницы Склифосовского, долго ждал Елену у двери её квартиры.

Было поздно. Елены всё не было.

Наконец она появилась – но не одна, а в сопровождении некоего популярного актёра, фамилию которого, из соображений тактичности, я называть не желаю.

Она появилась – и прежде всего удивилась: присутствию Эдика на лестничной клетке.

Пожав плечами, она открыла дверь. Пригласила провожатого своего, а с ним и Эдика, в квартиру.

Там Лимонов сразу же объяснился с ней.

Он потребовал взаимности – и сейчас же, вот здесь, да, прямо сейчас, не откладывая дела в долгий ящик.

Он желал незамедлительно жениться на Елене.

Он видел её и только её в роли своей супруги. Подумать только, с ума сойти, какая пара! Да вместе, вдвоём, они горы свернут! Жениться! Быть вместе! Рядом! Сочетаться браком! Венчаться! Он так решил. Так и будет.

Худая, намазанная, разрисованная, как японская кукла, в роскошном платье, разумеется, вся увешанная драгоценностями, ну прямо неземная – и всё-таки такая близкая, почти доступная, вполне реальная, тронь рукой – вот она, здесь, Елена стояла посреди комнаты и недоумённо его слушала.

Эдик – требовал, Эдик – взывал, Эдик – вёл речь на повышенных тонах.

Ничего на Елену не действовало. Как стояла себе, вся разряженная, выкатив круглые птичьи глазки, так и стояла. Слушала – но не внимала призывам. Заклинания все лимоновские – как об стенку горохом. Непробиваемая мадам. А может быть, просто неживая? Кукла просто? Манекен? Почему она равнодушна к объяснению пылкому в беспредельной любви?

Тогда Лимонов эффектно выхватил из кармана припасённый нож – возможно, согласно детской присказке «вышел ёжик из тумана, вынул ножик из кармана: буду резать, буду бить – с кем ты хочешь подружить?» – прицелился, размахнулся, по-разбойничьи, лихо, – и с маху всадил одним ударом всё сразу разрешающее острое лезвие прямо в живот Елениной кошке.

Брызнула кровь. Натуральная. Красная.

Кошка завертелась юлой, заорала, сникла, рухнула на пол.

Раскрашенная Елена всплеснула худыми руками, завизжала, заголосила.

Актёр-ухажёр не знал, что и делать. На всякий случай, бочком, тишком, стал он помаленьку подбираться к входной двери.

И тут Лимонов с размаху полоснул себя ножом по руке, по венам.

Кровища хлынула таким обильным ручьём, что это могло впечатлить даже каменное изваяние.

Бедный актёр в ужасе бежал – и отныне навсегда скрылся из Эдикова поля зрения.

Крови становилось всё больше. Было её почему-то так много, что, казалось, вскоре, уже совсем скоро, зальёт она всю квартиру, а потом просочится вниз, к соседям, а потом и сквозь этажи, и вырвется, плещась и рокоча, из подъезда, на улицу, и хлынет из всех окон и дверей дома, и расплеснётся по асфальту, по тротуарам, потечёт по проезжей части улицы, и мчащиеся машины примутся месить её своими колёсами, и завязнут в ней, и начнут из неё выбирать, и бешено вращаясь, окровавленные их колёса раскатятся по всей Москве.

Так могло померещиться бедной Елене.

Кровь лимоновская и не думала убывать.

Елена металась по квартире, бросалась то к двери, то к окнам, вопила, заламывала руки.

Любящий, бледный, истекающий кровью Лимонов стоял, глядя Елене прямо в глаза.

Наконец она догадалась вызвать скорую помощь. Мгновенно приехала машина, в которой находился бывший в сговоре с Эдиком приятель-врач. Помню, что была у него грузинская фамилия, да забыл какая.

Лимонова увезли в больницу Склифосовского – и там быстро спасли.

Потрясение всем увиденным и пережитым было у Елены настолько велико, что она, буквально на следующий день, согласилась стать женой Лимонова.

Только этого он и ждал. Он своего – добился.

Выслушал я этот рассказ без особого восторга.

– Зачем же ты кошку зарезал? – спросил я Эдика.

– Для дела, – спокойно ответил он. – Так всё получилось намного эффективнее!..

И я понял: он уже ни перед чем не остановится.

Когда-то он хотел стать вторым батшкой Махно.

Потом – национальным героем.

Теперь – наверняка – он захочет покорить весь мир.

И ещё, чего доброго, – а скорее всего, так оно и будет, – возьмёт да и уедет на Запад, любым способом, – покорять мир. Время вскоре показало, что так всё и случилось.

Но кошку – даже для дела, даже для достижения пущего эффекта, даже для того, чтобы покорить сердце Елены, мнящейся ему, человеку с воображением, с фантазией, может быть, и прекрасной, и даже прекрасной, – зарезал он зря.

– У кошки четыре ноги и один длинный хвост. Ты трогать её не мог за её малый рост! – не напрасно ведь пела когда-то в ресторане советским киношникам, выпив изрядно и преисполнившись любви к братьям нашим меньшим, особенно к кошке, олицетворявшей, наверное, самую нежность, доверчивость, кротость, а может, и душу ранимую, – подруга моя боевая, актриса Таня Гаврилова.

Пела Таня – взывая к людям. Пела – к совести их взывая.

Но её не услышали люди в ресторане. Что им до кошки! Пела Таня – куда-то в пространство. Пела Таня – сквозь время. Пела, защищая душу живую.

Но её не слышал Лимонов.

Никого – никогда – нигде – он не слышал. Вовсе не слушал. Пропускал призывы и плачи, как привык он, – мимо ушей.

Не трожь душу живую!

Не моги трогать кошку, Лимонов!

Но именно с этой зарезанной кошки вся грядущая лимоновская одиссея и началась.

Каждому – своё.

– Всякому городу нрав и права; всяка имеет свой ум голова; всякому сердцу своя есть любовь, всякому горлу свой есть вкус каков, а мне одна только в свете дума, а мне одно только не идет с ума, – так сказал когда-то Григорий Сковорода.

Какая же это дума?

– А мне одна только в свете дума, как бы умерти мне не без ума.

Вот оно, стержневое мышление русское!

– Смерте страшна, замашная косо! Ты не щадиш и царских волос, ты не глядиш, где мужик, а где царь, – всё жереш так, как солону пожар. Кто ж на ея плюет острую сталь? Тот, чия совесть, как чистый хрусталь...

Днём с огнём чистоты этой вскоре не найшутся по земле...

Окончание в следующем номере.

Стихи по кругу

Вадим СТЕПАНЦОВ

Москва

Принцесса и казак

Императрица Елизавета по Петергофской идет аллее,
Из желтой тыквы вослед карету карлица с карлом везут за нею,
Наказан карлик за то, что карлу в отместку карле он обокрал:
Она у карла кларнет украла, а он у карлы украл коралл.

В карете-тыкве сидит левретка, а на запятках стоит болонка,
Крысюк ученый – как кучер важный, над ними свита смеется звонко,
Пажи и фрейлины, лейб-кампанцы, гоф-егермейстер красивей всех –
Царицу будет он тискать в танце, а после танцев свершит с ней грех.

Грех уж привычный, но снова бурный. Императрица и
бывший певчий
Не растеряли в гульбе мишурной ни чувств, ни пыла,
ни радость встречи,
Она принцессой была опальной, он – украинец, простой казак.
В Английском парке, в беседке дальней Амур венчал их,
случилось так.

Он пах степями родной Украйны, а не болотом и репой с луком,
И табачищем, как те, кто тайно ее сердечным учил наукам,
Не конским потом и затхлой пудрой, как немец-перец, болван-прусак.
Сколь Мать-Природа бывает мудрой! Амур венчал их,
случилось так.

Неутомимый в делах любовных, гоф-егермейстер поодаль свиты
Идет, не чванясь, легко и ровно, парик напудрен, усы подвиты,
И ходят слухи, что жезл Приапов у фаворита тверд, как гранит.
Левретка крысу толкает лапой, болонка лает и семенит.

Нескромны фрейлин живые взгляды, и кавалеров завистлив шепот,
У дам все сферы прут из нарядов, на юных лицах лукавый опыт.
Ах, он уже генерал-поручик! Его поздравят сегодня все.
Вот это счастье! Вот это случай! На бал придет он во всей красе.

Но тут болонка вцепилась в карла, который прутик поднял с дорожки,
И с визгом карлица побежала, и замелькали кривые ножки,
И заметался крысюк ученый, жгутом привязан за облучок.
И за царицей кружок придворный смеялся звонко, куда мог.

Они от смеха чуть не рыдали, кто с чистым сердцем, а кто натужно,
Пока левретку освобождали, покуда карла качали дружно,
Лишь хмуро пыхнул гоф-егермейстер в холеный черный
хохляцкий ус.
«Алёша, милый, чего не весел?» – раздался голос. –
«Смеюсь, смеюсь!»

Царица мигом на нем повисла. «Што, друг сердешный,
аль не забавно?» –
«Забавно, лельо, забавно, Лизхен. Повеселилось кумпанство славно.
Я вдруг собаком себя почуял, шо с будки в гарбуз попал вот так.
Позволь, царица, к тебе прильну я, ведь я не хуже, чем тот собак!» –

«Олекса, дурень! Дурак ты, Лёха! Ну вознеслась я, а кем мы были?
Забыл ты, что ль, как мне было плохо, когда при тетке меня гнобили?
Ты был свободней меня стократно, а мне всё снился
Сибирский тракт.
Вот так, целую! Целуй обратно. Целуй же, сокол, целуй, дурак!»

Балтийский ветер подул с залива, сбивая пряди, лаская лица.
Пастух принцессу лобзал игриво, верней, придворный
кружил царицу.
Что предначертано? Что случайно? Грешно судьбы и любви бояться.
Их сельский поп обвенчает тайно. Наверно, сказки
должны сбываться.

Умерла игрушка

Умерла смешная старая игрушка,
Очень много знала, вот и умерла,
Потерялась в роще, пела ей кукушка,
Годики считала – да не помогла.

Дети не любили старую игрушку,
И тайком от мамы в рощу унесли.
Хоть напоминала чуточку Петрушку,
Но глаза порою резали и жгли.

А ещё умела та игрушка рифмой
Сочинять советы, баснями поддеть.
«Хорошо, малята? Нравится вам стих мой?
Ну-ка, слушать папу с мамой, не галдеть!»

Взрослые смеялись, взрослые любили
Старую игрушку дедовских времён.
Ну а дети к взрослым плакаться ходили:
«Хватит нам нотаций, нам противен он.

Этот старый пупс нас думать заставляет,
Заставляет книги разные читать,
Но старьё с моралью нас не вдохновляет,
Мы хотим в айфонах время коротать!

Мы почти что звёзды, мы хотим кривляться,
Петь и шлепать попки под игривый смех,
Тортами кидаться и в грязи валяться,
Только с этим деток в мире ждёт успех!»

Лунной ночью в роще куколку-поэта
Кирпичом разбили – и в болото шлёп!
И сказали взрослым, мол, собачка это,
Разозлил болонку старый остолоп.

Вячеслав БАРАНОВ

Нижний Новгород

* * *

Несколько раз
мне стелили постель на столе,
на том жутком столе,
за которым убили Распутина.
Утром, с хозяйской собакой,
я выходил к Неве
на ноздрястый лед
за чугунные прутья.
И четко видел,
как в зрачке полыньи
колыхалась звезда,
шевелилась во мраке
озорным огоньком,
мурашками вдоль спины,
и это чувство
передавалось собаке.
Словно, что-то цеплялось
за морок земной
под тяжестью
шерсти свалявшейся,
воя и лая.
Кусками льда,
детально вещественным сном
откалываясь,
из реальности ускользая.

* * *

Это клинопись птичья, вороньи лапки,
можно полюбопытствовать, прочесть нельзя,
из углов тянет плесенью, отходами быта
венозной кровью, харкотой Флинта,
и свет из окна до того ярок,
что невольно наворачивается слеза.
Время завтракать, медсестра добра,

не застегивая нижнюю пуговицу халата,
и гаремная сладость по мышцам бедра
переходит в щербет, хруст шоколада.
Ничего особенного, просто сила жизни
пробивает стены, асфальт, гипс
посмертной маски, переломанной ноги,
что не мешает войти в Стикс,
взявшись за пуговицу, только свисни.
Впрочем, что я, в придонный ил
погружается Атлантида и часть Египта,
птицы, крича, улетают в Салим,
вослед за Мельхиседековой свитой,
гниет среди мхов отработанный Ноев ковчег.
Виртуозно легки пальцы хирурга,
сверкает на солнце его инструмент,
сестра милосердия, выбрав момент,
взбивает подушки, готовя казенный ночлег,
в птичий пух погружая белые руки.

* * *

Никаких молочных рек
и кисельных берегов,
с тишиной накоротке
тает тень от облаков,
след божественных ступней
от земных ведет границ
в вышину, где свет сильнее
по пунктиру белых птиц,
а внизу в тени куста
просто жизнь наискосок
дрожью каждого листа
колотящая в висок.

Наталья РОЗЕНБЕРГ

Нижний Новгород

* * *

За чертой живого смысла
колокольчики растут,
мы обходим всю поляну
за четырнадцать минут,
мама в пёстром сарафане
держит за руку меня,
и аукается рядом
уцелевшая родня,
холоднющая водица
из колодца, звон ведра,
заусенец на мизинце
задирается с утра,

и вода по желобочкам
деревянными льётся вниз,
потому что малым детям
полагается сюрприз...

* * *

Моя мама воевала,
гимнастёрку надевала
и семнадцати годочков
ехала на фронт
как придётся – поездами,
лошадьми... Моей маме
очень повезёт.
В каждом фильме с эшелонами,
по дороге разбомблёнными,
она рядышком стоит,
рыжеватая на вид.
На площадке посторонняя,
закрывается ладонями,
не желает про войну.
Ничего я не пойму.
Подопечная массовки
сумку тискает неловко
обгоревшую с боков.
На военных мужиков
полагаюсь, безусловно,
симпатичных поголовно,
молодых и стариков.
Каждый заслонить готов
мою маму на перроне,
пусть её война не тронет –
возвратится в отчий дом,
где мы будем жить втроём
на житейском перегоне.
Здесь её и похороним
горе, выдержав с трудом.
Кто тогда, такой похожий
с маминой, в веснушках, кожей
теребит густую прядь?
Ты на ящики присядь,
всё доснимут нынче ночью,
чтоб увидели воочию
в кадре выверенном точно,
дети рыженькую мать.

* * *

Простая желтая акация,
зачем ты мучаешь меня,
воспоминания храня
в пучине канувшего дня,
в котором солнце кувывается

в ладонях лампочкой живой,
играя мячиком, травой,
качая ливень световой,
пока над детской головой
густые тучи собираются.
Верёвка полная белья
трепещет парусом рубашек,
в песке зарытые стекляшки,
в надёжной ямке, без промашки
секрет сокровища таят,
и мамин отстранённый взгляд
я помню остро, до мурашек.

* * *

Как можно позже выключаю свет.
Но это ничему не помогает.
Стремительно, без яростного лая
одним движением заученным, в ответ
пес возвращается и замирает рядом
живой, со мной обмениваясь взглядом,
поскольку днём придерживаться надо
законов бытия, а ночью нет.

Николай ПЧЕЛИН

Богородск

В Нижнем Новгороде

Нижний! Сидим на лавочке мы с тобой у Откоса,
Руки, как будто реки две, что в одну слились.
Рябь облаков и волны, блеск предосенних плесов,
Близость Оки и Волги, глубь, оком и высь.
Что у нас за плечами? Облачный Лобачевский,
Непостижимо мудрый, милый для нас истфил,
Славный старославянский, Паоло и Франческа,
Пушкиным озаренье через грехневский пыл!
Как бы нам не скатиться вниз по наклонной с горки,
Как бы соединиться сердцем с твоей судьбой,
Нижний с названием горьким, Горький с базаром нижним,
С Мызой, Покровской кровной, ярмаркой и Скобой!
Дымка из труб заводов и светлячки теплоходов,
Волны волшебной Волги через слиянье рек,
Непостижимость тайны. Воды текут, как воды.
Мигов соединение в лету из века в век.
Город творец и воин, мининский щит России,
Ядерный щит России, непобедимо рей!
Нижний, пробывший горьким, духом высокий Нижний,
Пусть тебя освящают свечи монастырей!
Сила святых истоков вылилась в пол-России,
Светоч любви и веры, щедрость земных даров

Поясом Богородицы веси страны освятили,
Вечный над ней сияет чистый святой Покров!
Всех перерестроек встряски, бомбы и переделки.
Сормово отбомбили, били в автозавод.
Все пережив на свете, Нижний восстал над мелким.
Нам указывает Стрелка выход из всех невзгод!

Дивеево

Дивом веет от Дивеева –
Свет разлит от этих мест
Средь источников, что веером
Пораскинулись окрест.

Солнце с небом хороводится
И сияет в куполах.
Облако как Богородица,
Что с младенцем на руках.

По канавке, беспечальные,
Мы пройдем тропой судьбы.
Где-то рядом отпечаточки
Серафимовой стопы.

Край мой, Родина, Россия,
Где сердечность горяча.
Здесь горит неугасимая
Светозарная свеча.

Здесь, пронизан вечной верою,
Ты молитвами дыши.
Дивом веет от Дивеева,
Чистотой святой души!

Татьяна СТАФЕЕВА

Чкаловск

* * *

Растаял город в молочной дымке,
Как сахар в чае.
Размыты грани, словно на снимке
Дефект случайный.

И мир привычный уже не тот –
Чужой и странный.
Покров таинственный создает
Вуаль тумана.

Уже замедлило время ход,
Уснув беспечно,

И верно равенство: шаг вперед –
Шаг в бесконечность.

Среди спустившихся облаков,
Густых и вязких,
Жду воплощения детских снов –
Начала сказки.

Инна ПАРАХИНА

с. Благодатное, Ставропольский край

Счастье

Я так долго искала счастье,
Я искала его везде.
Бился пульс на моём запястье,
Но держала я пульс в узде.

Мне казалось, что счастье в людях,
В их открытых, больших сердцах.
Подавала себя на блюде
И того же ждала. В мечтах.

Я искала его в работе:
Бизнес-планы. Шорт-лист. И чек.
Как лягушка в густом болоте,
Но и там выпадает снег.

Я искала его в природе:
Любовалась. Закат. Рассвет.
Гармонично вписалась вроде...
Но и там его тоже нет.

Я смирилась с судьбой. Отчасти.
Оказавшись на самом дне.
Я искала в любви и в страсти,
Только счастье
жило
во мне.

Публицистика

Михаил ЧИЖОВ

Родился в 1946 году в Горьком. Окончил политехнический институт.

Член Союза писателей России. Автор нескольких сборников прозы и публицистики. Биографическое исследование «Константин Леонтьев» получило «Серебряного Витязя» на VII Международном Славянском литературном форуме «Золотой Витязь» 2016 года и вошло в шорт-лист Бунинской премии. Дважды лауреат премии «Болдинская осень», неоднократный обладатель премии Нижнего Новгорода.

Ранее — инженер-электрохимик в крупном химическом объединении, действительный государственный советник Нижегородской области I класса. Живет в Нижнем Новгороде.

РОССИЯ КАК ДИКТАТУРА СОВЕСТИ

На стыке двух дат: 130-летия со дня рождения И. Солоневича и 30-летия разрушения СССР

В течение одиннадцати веков строилось здание «диктатуры совести».

Иван Солоневич о России

Трудно, если не сказать невозможно, отыскать на земле однозначного человека. Всегда «на всякого мудреца найдётся довольно простоты», а простак порой может принять мудрое решение. Неоднозначность Ивана Солоневича поистине вопиющая. Судя по глубине мысли в строке, приведённой в эпитафии, Солоневич любил Россию, но только монархическую. Ненавидел большевиков, называя их «зловещими людьми», но написал первое пособие по борьбе самбо (самооборона без оружия) для чекистов, от которых страдал всю жизнь. Имперец по убеждениям, издавал в Болгарии популярную среди послереволюционных русских эмигрантов газету «Голос России», но не видел (не хотел видеть) успехов СССР в создании «красной империи». Высказывал дельные советы по политическому устройству России, но одновременно (вольно или невольно) толкал гитлеровцев к походу на СССР, утверждая в своей книге о ГУЛАГе («Россия в концлагере»), что при первых же их успехах немцев на фронте русский мужик поднимет на вилы большевистских комиссаров. Монархисты поныне называют Солоневича великим мыслителем, «Последним рыцарем Империи» (таково название доку-

ментального фильма от 2017 г.), а сторонники социалистической идеи кроют его словами «жлоб», «халтурщик», «клеветник», «сволочь».

Истину всегда надо искать посередине, но, понятное дело, не надо этого делать в короткой статье. Я ограничусь основными вехами его биографии и разбором взглядов Солоневича (они мне видятся актуальными и по сей день) на крах императорской России в феврале 1917 года и на проблемы российской демократии.

1

Иван Лукьянович Солоневич родился 1 ноября 1891 года в местечке Цехановец Бельского уезда Гродненской губернии. Мать – Юлия Ярушевич, дочь православного священника. Отец – сельский учитель, судьба которого неизвестным образом пересеклась с гродненским губернатором (1902–1903 гг.) Петром Аркадьевичем Столыпиным. Самый знаменитый реформатор России выдвинул Лукьяна Михайловича на пост редактора газеты «Гродненские губернские ведомости», а потом газеты «Северо-западная жизнь» и помогал ему деньгами для издания. У Ивана было еще два брата – Всеволод (погиб в армии Врангеля в 1920-м), Борис и сестра.

Иван учился в Гродненской гимназии и активно занимался гиревым спортом и борьбой в польской секции «Сокол». С 1911 года писал заметки на спортивную тему в газете отца. Годом позже экстерном сдал экзамены во 2-й гимназии города Вильно (Вильнюс) и получил аттестат зрелости. Осенью 1913 года Иван Солоневич поступил на юридический факультет Петербургского университета. Его сокурсником был поэт Николай Гумилёв. Учебу в университете он совмещал с работой секретаря редакции отцовской газеты и занятиями спортом. В 1914 году стал вице-чемпионом России по тяжёлой атлетике, в которую входила и вольная борьба. Познакомился с Иваном Поддубным, а также приобрёл обширные связи в спортивном мире. В этом же году Солоневич женился на полковничьей дочери Тамаре Воскресенской, преподавательнице французского языка и начинающей журналистке. 15 октября 1915 года у Солоневичей родился сын Юрий.

Благодаря связям устроился после закрытия газеты «Северо-западная жизнь» в 1915 году репортёром в знаменитую Петроградскую газету «Новое время», редактором которой был не менее знаменитый Борис Алексеевич Суворин. Тот, движимый патриотизмом, служил в это время простым телефонистом в действующей армии. Вернувшись в Петроград после февральской революции и увидев, как от февраля к октябрю Россия катится в пропасть, дал задание Солоневичу собирать данные о положении в столице. Сохранилась фотография от 1916 года, на которой в составе редакции (около 50 человек) находится и Солоневич. Активный участник и свидетель февральских событий, Солоневич позднее изложил личное видение (достаточно взвешенное) о тех событиях в статьях «Великая фальшивка Февраля», «Ещё о Феврале», «Трагедия царской семьи», «Миф о Николае II», «Цареубийцы», «За тенью Распутина».

Проучившись в университете шесть семестров, Солоневич был отчислен за невнесение платы (50 рублей). Кстати сказать, и Николаю Гумилёву не привелось доучиться в университете. В действующую армию Солоневича не взяли из-за сильной близорукости, однако в начале августа 1916 года Иван Солоневич был призван и зачислен ратником

2-го разряда в запасной батальон Кексгольмского полка. На фронт его не взяли, и Солоневич с разрешения начальства организовал спортивные занятия для учебной команды и спортивные развлечения для остальных солдат. Солоневич писал: «Это был маршевый батальон в составе что-то около трёх тысяч человек. <...> Обстановка, в которой жили эти три тысячи, была, я бы сказал, нарочито убийственной: казармы были переполнены – нары в три этажа. Делать было совершенно нечего... Людей кормили на убой – такого борща, как в Кексгольмском полку, я кажется, никогда не едал. <...> Людей почти не выпускали из казарм». Солоневич считал, и не без оснований, что вот этот «резерв» царской армии, спровоцированный бездельем, и послужил одним из детонаторов февральского взрыва в Петрограде. В полку Солоневич был занят с 6 до 10 часов утра, что позволяло ему выполнять задания редакции газеты «Новое время».

После Октябрьской революции и Суворин, и Солоневич, и десятки других журналистов бежали из Петрограда на юг, в Белую армию. Иван с женой и братом Борисом по большевистской формулировке тоже стали «лишними людьми» и оказались в Киеве. Там Солоневич, выполняя агентурные задания Белой армии, доставал секретные сведения, часто менял места жительства, работал в газете «Вечерние огни». Встречался с большевиком Дмитрием Мануильским, проводившим переговоры с гетманским правительством Украины. Солоневич якобы сказал, что большевизм обречён по причине отсутствия доверия и сочувствия. На что Мануильский ответил: «Да на какого же нам чёрта сочувствие масс? Нам нужен аппарат власти. И он у нас будет. А сочувствие масс? В конечном счёте – наплевать нам на сочувствие масс». По словам Солоневича, этот взгляд на взаимоотношения власти и народа имел большое значение для формирования его негативного отношения к большевикам. Впоследствии Солоневич, ставший изгнанником из целого ряда государств, убедился, что характер власти везде таков, а именно: принуждение, принуждение и ещё раз принуждение. Однако признаваться в этом открыто не хотел, критикуя только советскую действительность.

Перед наступлением красных на Киев уехал один, без семьи, в Одессу, где сотрудничал с местной газетой «Сын Отечества». Пытался перевезти жену и сына, чтобы вместе с белыми уехать за границу, но неожиданно заразился сыпным тифом и оказался в больнице. После выписки из неё в Одессе были уже красные, приехала с сыном и жена, которой посчастливилось устроиться переводчицей на Одесскую радиостанцию. Сам же Иван занялся рыбной ловлей и сблизился с антисоветской группой, но ненадолго. Всех Солоневичей (отца, жену и пятилетнего сына) по доносу арестовали одесские чекисты. Через три месяца их отпустили: им якобы помог некий юный чекист, которому как-то Солоневич оказал небольшую услугу.

Освободившись из тюрьмы, Иван Лукьянович с семьёй переехали в маленький городок Ананьев вблизи Одессы. Вскоре туда приехал и брат Борис, вместе они организовали бродячий цирк, в котором боролись и «баловались» тяжестями. Одно время вместе с ними гастролировал и Иван Поддубный.

В 1921–1925 годах Иван заведовал Первым одесским спортклубом, был спортивным инструктором в Одесском продовольственном губернском комитете и инспектором Одесского совета физкультуры. Говоря сегодняшним языком, стал чиновником, функционером от спорта.

В 1924 году он начал печататься в советской ведомственной прессе – «Красном спорте» и «Вестнике физической культуры». Осенью 1925 года Солоневич, пользуясь связями в спортивной среде, избирается председателем тяжелоатлетической секции научно-технического комитета Высшего совета физкультуры и перебрался в Москву. Через год в столицу приехала с сыном и жена, которая получила место переводчицы в Комиссии внешних сношений при ВЦСПС. В 1928 году Иван Солоневич подготовил пособие «Гиревой спорт» для ВЦСПС, а также книгу «Самооборона и нападение без оружия» для НКВД РСФСР, которую чекисты сразу же засекретили. В предисловии этой книги сказано: «По простоте своего изложения, конкретности материала книга “Самооборона и нападение без оружия” т. Солоневича доступна пониманию рядового милицейского работника и УгРо, и поставленная в ней проблема, на основе проработки в школе милиции, т. Солоневичем более или менее удачно разрешена». После побега из СССР имя Солоневича предали забвению и вычеркнули из списка родоначальников самбо.

Из сказанного очевидно, что карьера Ивана Солоненко складывалась на редкость удачно: живи, как говорится, и радуйся. Из книги «Россия в концлагере»: «В 1933 году в Москве можно было купить всё – тем, у кого были деньги. У меня деньги были».

При полной лояльности к социалистической идее и беззаветном труде Солоневич при своих способностях и связях мог бы достичь высоких должностей и всесоюзного признания, о котором, видимо, мечтал. Однако червячок неприязни к советской действительности, в которой виделись одни лишь недостатки, разъедал сознание. Хотелось в капиталистический «рай», такой, что был в России до 1917 года. Особенно «фига в кармане» потяжелела после того, как сорвалась в 1929 году заграничная поездка и работа заведующим клубом советского торгпредства в Великобритании. Назначению помешал дипломатический скандал, разгоревшийся между СССР и Британской империей из-за того, что некоторые сотрудники советской торговой компании АРКОС (советская хозяйственная организация в Англии) были уличены в шпионаже. Не состоялась и заграничная командировка Солоневича за спортивным инвентарем – чекисты отказали в выдаче разрешения на выезд без объяснения причин..

С маниакальной последовательностью и тщательностью, заслуживающих лучшего применения, Иван Солоневич стал готовиться к побегу в вожделенную Европу, обдумывая каждый шаг. Жена была опытной переводчицей – в 1928–1931 годах жила и работала в советском торгпредстве в Берлине. Вернувшись в СССР, она по инициативе Ивана оформила в 1932 году развод с ним, а потом заключила фиктивный брак с немецким гражданином и уехала в Германию. Это было первым шагом в долгоиграющем плане Солоневича – обеспечить жене безопасное жильё в Европе. Иван привлекает брата Бориса, тоже спортсмена и знающего человека, его жену, подругу жены с редкой фамилией Пржиалговская и её любовника. В сентябре 1932 года они пытаются пересечь границу с Финляндией в Карелии. Расчёты, казалось, были верными, но начались проливные, затяжные дожди, они сбились с дороги, да к тому же Иван серьёзно простудился. Пришлось вернуться несолоно хлебавши. Назначенный на май 1933 года очередной побег отменили из-за приступа аппендицита у сына Юрия. Казалось бы, Господь Бог предупреждает о бесплодности, но упрямство всегда сильнее голоса разума и провидения.

Ивану Солоневичу надо отдать должное: он верно понимал значимость и влияние русской культуры на все малые и большие народы Российской империи. В концлагере он встречался и беседовал со многими зэка. Одну из встреч он описывает в скандальной книге «Россия в концлагере». «Профессор Бутько, как и очень многие из самостийных малых сих, был твёрдо убеждён в том, что Украину разорили, а его выслали в концлагерь не большевики, а кацапы. На эту тему мы с ним как-то спорили, и я сказал ему, что я прежде всего никак не кацап, а стопроцентный белорус, что я очень рад, что меня учили русскому языку, а не белорусской мове, что Пушкина не заменяли Янкой Купалой и просторов Империи – уездным патриотизмом с сеймом у Вильни, або у Минску, и что, в результате всего этого, я не вырос таким олухом Царя Небесного, как хотя бы тот же профессор Бутько. Не люблю я, грешным человеком, всех этих культур местечкового масштаба, всех этих попыток разодрать общерусскую культуру – какая она ни на есть – в клочки всяких кисло-капустянских сепаратизмов».

Третья попытка побега состоялась в сентябре 1933 года. На этот раз с Пржиялговской напросился в группу беглецов очередной её любовник, который оказался сексотом (секретным осведомителем) ЧК. Всех беглецов повязали в поезде Москва – Мурманск и доставили в Ленинград, где судили за организацию контрреволюционного общества, подготовку побега за границу. Ивану и брату Борису дали восемь лет лагерей, сыну Юрию – три года. В Подпорожском лагере (Карелия) «Беломор-Балтийского комбината» (ББК) им предстояло отбывать наказание. Эти подробности побегов стали известны после того, как в 1991 году, в период правления в КГБ либерала Вадима Бакатина, удалось изъять и изучить объёмное дело Ивана Солоневича одному из московских литераторов. В девяностые годы поднимали на щит антисоветчиков любых мастей, тем более умевших держать перо в руке и предсказавших неминуемое падение СССР. Эти пророки служили своего рода идеологическим фундаментом под события перестройки и лихих 90-х...

Ивана с сыном и Бориса Солоневичей переводили из одного лагеря в другой, затем, наконец, Иван возглавил лагерное общество «Динамо» в ББК, а Борис пристроился на Соловках доктором. Вот как вспоминал Иван Солоневич о том периоде: «Впоследствии я убедился в том, что в “Динамо” ББК ОГПУ среди заваленных трупами болот, девятнадцатых кварталов и беспризорных колоний, можно было действительно вести, так сказать, курортный образ жизни» («Россия в концлагере»).

Между тем *ide fix* побега постоянно занимала мысли Ивана. Он, чтобы досконально разведать местность и маршрут побега, придумал способ одурачить руководство лагеря. Иван Солоневич предложил провести межлагерную спартакиаду по многим видам спорта, включая лёгкую и тяжёлую атлетику, борьбу, бокс, гимнастику. Начальство клюнуло на эту приманку, ибо она сулила всеоюзную известность и несла явный пропагандистский характер. Жизнь заключённого Солоневича стала совсем прекрасной, или, по его определению, курортной. «Лето 1934 года мы провели в условиях, поистине неправдоподобных. Мы были безусловно сыты. Я не делал почти ничего, Юра не делал решительно ничего... Мы играли в теннис, иногда и с Радецким, купались, забирали кипы книг, выходили на берег озера, укладывались на солнышке и читали целыми днями. Это было курортное житьё, о каком московский инженер и мечтать не может». Обращает на себя внимание такой факт:

это случилось через полгода после ареста, то есть Солоневич мог хорошо устраиваться в любой обстановке.

«На другой же день я получил пропуск, предоставлявший мне право свободного передвижения на территории всего медгоровского отделения, т. е. верст пятидесяти по меридиану и верст десять к западу и в любое время дня и ночи. Это было великое приобретение», – признаётся Солоневич, впоследствии без зазрения совести отождествлявший немецкие концлагеря с советскими.

Реализованные хитрости дали ему возможность разведывать маршрут побега и запастись продовольствием. Спартакиада была назначена на 15 августа 1934 года, а 28 июля 42-летний Иван и его 18-летний сын Юрий бежали из лагеря и через 16 дней перешли границу с Финляндией.

Начались скитания по капиталистическому раю, гораздо более трагичные и, можно сказать, беспросветные, чем в Советской России. Власти Финляндии тут же стали подозревать в них русских шпионов. Они попали под наблюдение финской контрразведки, эмигрантского Русского общевойскового союза (РОВС) и агентуры НКВД. Последняя всячески способствовала раздуванию слухов о Солоневичах как о шпионах. Борис тоже удачно убежал из СЛОНа (Соловецкий лагерь особого назначения), что ещё более убедило эмигрантов в том, что они советские шпионы. Зимой 1934–1935 гг. Иван в Хельсинки стал писать книгу «Россия в концлагере», а Борис составлял аналитические записки о СССР для РОВСа, в руководстве которого оказался агент НКВД (генерал Н.В. Скоблин). Он и информировал Москву о всех передвижениях и планах Солоневичей.

С января 1935 года книга Ивана Солоневича «Россия в концлагере» стала публиковаться по частям в газете «Последние новости». Книга принесла ему известность и авторитет как «специалисту» по советским лагерям. Он выступал с лекциями, готовил статьи и очерки для финских журналов «Иллюстрированная Россия» и «Современные записки». Однако Солоневичи понимали, что для более активной антибольшевистской деятельности им надо перебраться в Западную Европу, но все их попытки блокировались агентурой ЧК. Резидентура НКВД разослала подложные письма в гестапо и немецкому консулу в Москве, что Солоневичи их агенты. Гестапо начала проверку. Единственное, что им удалось, это получить в 1936 году визы в Болгарию.

В Софии Иван Солоневич сразу занялся организацией издания своей газеты «Голос России», первый номер которой вышел 18 июня 1936 года. Благодаря контакту с бароном Меллер-Закомельским, игравшим значительную роль в русских фашистских организациях зарубежья и начальником отдела пропаганды Российского национал-социалистического движения (РНД), тираж газеты достаточно быстро увеличился с 2000 экз. до 10 тыс. Почувствовав уверенность и поддержку, Иван Солоневич создал свою организацию из состава кружков (распространителей) «Голоса России» под названием «Российское народно-имперское (штабс-капитанское) движение», имевшее планы возвращения в Россию и организацию контрреволюции. Солоневич в программе описывал своё движение так: «Движение имперское, национальное, православное и глубочайшим образом народно-демократическое. Движение монархическое, ибо в монархии мы видим скрепление и закрепление Империи, Нации, Православия и народных интересов. Движение антисемитское по существу, а не по истерике, ибо еврейство было и будет

врагом Империи, и Нации, и Православия, и народа...» Между тем он закончил написание книги «Россия в концлагере» и издал её тремя тиражами на средства НТС (Народно-трудового союза) и на свои собственные. Деньги он зарабатывал с продажи книг и чтением лекций в Югославии, в которой жил Борис Суворин, помогавший ему. В банке Цюриха он открыл даже свой счёт и оформил доверенность на одну из своих почитательниц.

Между тем советская агентура согласно плану НКВД усиленно компрометировала Солоневичей в РОВСе, который ввёл за ними наружное наблюдение. Боевики РОВСа даже организовали акцию с по ликвидации Солоневичей, которая была раскрыта и предотвращена болгарской полицией. Тогда за дело взялись советские агенты. Они подготовили бомбу для семьи Ивана Солоневича (Борис уже проживал в Бельгии) под видом посылки с книгами. Они надеялись, что посылку будет открывать Иван, но это сделал секретарь редакции. В результате взрыва он и Тамара Солоневич погибли. Юрий и сам Иван остались целёхоньки. Покушение на Солоневичей убедило гестапо, что они не агенты НКВД, и Ивану и сыну разрешили въезд в фашистскую Германию, что они и сделали 9 марта 1938 года.

Книга «Россия в концлагере» принесла Ивану Солоневичу широкую известность не только в фашистской Германии, но и во всём мире, особенно в эмигрантских кругах. Первый раз её издали на немецком языке в Эссене в мае 1937 года под названием «Потерянные: хроника неизвестных страданий». Фашистские бонзы высоко оценили труд Солоневича, даже Гитлер ознакомился с этой книгой. Особенно восторгался ею шеф нацистской пропаганды Йозеф Геббельс. В его дневнике, найденном после победы СССР, можно прочитать. 14.10.37. С ужасом читаю вторую часть «Потерянных» Солоневича. Да в России просто кромешный ад. Стереть с лица земли. Пусть исчезнет. 22.10.37. Читаю «Потерянных» дальше. Ужасно, ужасно, ужасно! Мы должны защитить Европу от этой чумы. И это ведь не безобидные «ужасы», овладевшие Геббельсом. Книга Солоневича убедила фашистское руководство, что после их вступления на советскую территорию народ поднимется на борьбу с коммунистами. Книга эта послужила своеобразным запалом для нападения Германии на СССР. И, конечно же, в пропагандистских целях нацистские власти разрешили Солоневичу выступать с лекциями и докладами.

Нацисты спланировали эмигрантские ряды под свои знамёна: в мае 1938 года в Берлине был образован профашистский Российский национальный фронт (РНФ). В этот фронт вошло и «штабс-капитанское движение» Солоневича. Объединение было чисто формальным, так сказать, для галочки: никакими действиями оно не отметилось. В это время Солоневич стал работать над второй книгой «Белая империя», получившей при завершении название «Народная монархия» и ставшая главным трудом его жизни.

С началом Советско-финской войны Солоневича для ведения антисоветской пропаганды пригласили в Финляндию. Этой «командировкой» Солоневич остался недоволен: слишком быстро Советы расправились с финнами. Потому-то он активизировал свои контакты с Геббельсом, который в дневнике оставил такую запись от 7.06.41: «Солоневич предлагает свое сотрудничество. В настоящее время не могу его использовать, но вскоре, определенно, это будет возможно». Действительно, после оккупации Белоруссии фашисты нашли применение

Солоневичу. Ему предложили должность в оккупационной администрации¹ в Минске. Видимо, чувствуя, чьё мясо кошка съела, Иван Солоневич отказался, и подозрения к нему в гестапо вспыхнули с новой силой. В октябре 1941 года его пригласили в гестапо и приказали покинуть Берлин и поселиться в Померании, выбрав любой город. Наряду с этим Солоневичу запретили заниматься политической деятельностью, в том числе и журналистикой, то есть издавать газеты.

Солоневич поселился в деревне Альт-Драгайм вблизи городка Темпельбург, где регулярно отмечался в полицейском участке. Он даже посватался к своей учительнице, молодой вдове, у которой брал уроки немецкого языка. Вдова с благосклонностью приняла предложение. Несколько раз Солоневич выезжал в Берлин, где встречался с руководством РОА (Российской освободительной армии), но Власов и его сподвижники ему не понравились.

В январе 1945 года Солоневичу с сыном и молодой женой вновь пришлось бежать, теперь уж от наступающей Красной армии. Ему это было не в новинку, впрочем, он сам выбрал себе судьбу. Понятное дело, они остановились в американской зоне оккупации – в деревеньке возле Гамбурга. Иван и Юрий работали поденщиками на окрестных фермах. Голод, постоянная нужда и угроза выдачи в СССР заставляли его упорно искать новое место жительства, далёкое от послевоенной, голодной Европы. С большим трудом ему удалось получить визу в Аргентину, и 29 июля 1948 года он с семьёй сына прибыл в Буэнос-Айрес.

Обосноваться на первых порах ему помогли бывшие белогвардейцы, эмигрировавшие в Южную Америку: выделили комнату, помогли приступить к изданию газеты «Наша страна», первый номер которой вышел уже 18 сентября 1948 года. И, хотя политическая обстановка в Аргентине Солоневичу не нравилась, он участвовал в создании организации «Государево служилое земство». Ведущую роль в этом объединении играли члены Российского имперского союза. Однако существование «Земства» оказалась непродолжительным, и 26 февраля 1950 года оно было распущено.

На страницах своей газеты Солоневич постоянно атаковал РОВС, НТС и другие эмигрантские организации. Видимо, понял, с кем имеет дело. Тогда эмиграция сплотилась против Солоневича и распространила слухи о сотрудничестве публициста с советскими спецслужбами. Кроме этого, в аргентинскую контрразведку посыпались доносы от ряда недругов Солоневича. В июле 1950 года ему предписали в трехдневный срок покинуть Аргентину, и Солоневич выехал в Уругвай.

У Солоневича объявился новый попечитель – американский бизнесмен с русскими корнями В.С. Макаров, именно он оплатил расходы

¹ Гитлер и Геббельс читали только «Россию в концлагере» (о Соловецком лагере), однако другие тексты Солоневича не читали. В то время основной его труд «Народная монархия» еще не был написан. У Солоневича были надежды на то, что нацисты выступят освободителями русского народа от коммунизма. А у Геббельса имелись беспочвенные иллюзии о возможности использования Солоневича в войне против русских. Как известно, нацисты считали русских низшей расой и собирались оставить в живых не более 30 миллионов русских, только неграмотных и на подсобных рабских работах. С началом войны иллюзии развеялись. И Солоневич написал письмо Гитлеру с предупреждением-прогнозом, что война против России и русского народа кончится поражением Германии. Это предупреждение вытекало из его статей. После этого Солоневич был выслан из Берлина под надзор гестапо с запрещением писать и издаваться. (Прим. ред.)

по переезду и устройству в Монтевидео, а потом в городе Атлантиде, на берегу Атлантического океана. Солоневич с его помощью надеялся получить визы в США, но... многочисленные скитания не способствовали здоровью даже у спортсмена. У Солоневича была анемия и рак желудка, после операции он скончался в госпитале Монтевидео 24 апреля 1953 года.

Тяжёлый характер – трудная судьба. Думается, что именно характер первичен в этой извечной дилемме. Вот эпизод из лагерной, сравнительно лёгкой для Солоневичей жизни, честно переданный в книге «Россия в концлагере».

Юра передёрнул плечами и снова уставился в печку.

– Можно было бы не покупать этой водки и купить Авдееву четыре кило хлеба.

– Можно было бы. Что же, спасут его эти четыре кило хлеба?

– А спасёт нас эта водка?

– Мы пока нуждаемся не в спасении, а в нервах. Мои нервы хоть на одну ночь отдохнут от лагеря.

Виден несомненный эгоцентризм Ивана Солоневича, от которого явно не по себе его сыну Юрию, да и мне тоже. Я уж не говорю о нездоровом пристрастии к спиртному.

Но вот как отзываясь о Солоневиче писатель Денис Драгунский. Да, да, тот самый Дениска, ставший главным героем книги «Денискины рассказы» его отца Виктора Юзефовича Драгунского. В статье «Джентльмен Гулага» он сравнивает книгу Солженицына «Архипелаг Гулаг» и «Россия в концлагере», а также личности авторов. По мнению Дениса Драгунского: «Солоневич это нечто прямо противоположное (имеется в виду Солженицын. – М.Ч.). Это холодный взгляд сильного и умного человека, которому изначально чужды все и всяческие страхи и иллюзии. Он прежде всего джентльмен. Он любит своего сына, своего брата, свою жену, которую загодя сумел отправить за границу. Любит свою несчастную Россию. Он любит их по-настоящему, потому что еще сильнее он любит честь, как тот самый рыцарь из классической английской поэзии».

И далее: «Выражаясь по-ученому, в основе советской технологии власти лежит институирование психологии маргиналов. Солоневич называет это проще и вместе с тем глубже – “ставка на сволочь”. Большевики освободили людей от “химеры, называемой совестью”, значительно раньше, чем это сделали нацисты. Большевики, пишет Солоневич, сделали ставку на человека с волчьими челюстями, бараньими мозгами и моралью инфузории... Реалистичность большевизма выразилась в том, что ставка на сволочь была поставлена прямо и бестрепетно». (Денис Драгунский, «Джентльмен в Гулаге», «Новое время», № 37, 1999 г.)

И где тут «джентльмен», если заранее познаться с реакцией Юрия на хлеб и водку?

Взглянем на Февральскую революцию со стороны. Вот что писал в воспоминаниях завзятый русофоб Уинстон Черчилль, и потому его мнение особенно ценно: «Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Её корабль пошёл ко дну, когда гавань была в виду.

<...> В людях талантливых и смелых; людях честолюбивых и гордых духом; отважных и властных – недостатка не было. Но никто не сумел ответить на те несколько простых вопросов, от которых зависела жизнь и слава России. Держа победу уже в руках, она пала на землю, заживо, как древле Ирод, пожираемая червями».

Да, были люди, честолюбивые, смелые и талантливые, но, как водится, не во власти. О царской элите, не имевшей политической воли, неспособной к действию, будет сказано ниже.

А вот признание французского эксперта Эдмона Тэрри в отчёте «Россия в 1914 году. Экономический обзор», что «...если Россия будет развиваться такими же темпами, как между 1900 и 1912 годами, то к середине XX века она будет доминировать в Европе как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении». Что ж, об этом говорили многие, но Западу сильная Россия не нужна, и её втянули, можно сказать, за уши в горнило Первой мировой войны. Война, как известно, детонатор для социально-политических взрывов. После этой войны пали три самые крупные империи того времени: Российская, Австро-Венгерская и Османская.

Считается, что свидетельства очевидцев и участников тех или иных знаменательных событий в истории человечества всегда более верны и интересны, чем взгляд со стороны. Хотя в народе есть наблюдение: «Врёт как очевидец». Можно с ним согласиться, ибо частенько очевидцы предвзято смотрят на великие события и не всегда их мнения обладают той достоверностью, какую может представить самый глубокий аналитик, спустя многие годы с опорой на новые открывшиеся факты.

Скажем прямо, в подавляющем большинстве взгляды Солоневича реалистичны и не расходятся с выводами объективных свидетельств прошлого и настоящего. Выше упомянуты статьи Солоневича о февральских событиях 1917 года в Петрограде. Оставим за скобками критическое мнение Солоневича об истории как науке. История – это «совершеннейшая дыра», «облитая враньём», – так он считает. «Именно по такому рецепту Пётр I был сделан Великим, Екатерина II – Великой, Павел I – безумцем, Николай I – Палкиным». В этом есть нечто справедливое.

Как истинный реалист Солоневич утверждает, что «в феврале 1917 года никакой революции в России не было вообще: был дворцовый заговор. Заговор был организован: а) земельной знатью, при участии или согласии некоторых членов Династии – тут главную роль сыграл Родзянко; б) денежной знатью – А. Гучков; в) военной знатью – генерал М. Алексеев». Кстати, такого же мнения придерживается современный исторический писатель Святослав Рыбас. Одна из его книг так и называется «Заговор верхов».

Назвав главные движущие силы заговора, Солоневич логично констатирует, что «правые» врут, что виновниками Февраля являются англичане, немцы, евреи и т. д. «Левые» вынуждены врать о том, что Февраль – это гнев народный, а не «манна небесная, неожиданно свалившаяся на них».

Далее в статье «Великая фальшивка Февраля» Солоневич разбирает почему движущим силам (помещикам, фабрикантам и генералам) Февраля был выгоден этот буржуазный заговор. Во-первых, дворянское землевладение показало свою полную непригодность, помещичьи поместья превратились, по сути, в дачи, а задолженность дворянских

земледельцев перед государством достигла астрономической суммы в три миллиарда рублей.

Во-вторых, чисто русские капиталисты-промышленники (А.И. Гучков – самый яркий их представитель) заявляли свои права на участие в управлении страной, но придворная клика и сам император Николай II им в этом отказывала. Монархист Солоневич сквозь зубы цедит: «Государь Император якобы сказал: “Ну, ещё и этот купчишка лезет”». При этом надо помнить, что «купчишка» Александр Гучков был председателем III Государственной думы (1910–1911), председателем Центрального военно-промышленного комитета (1915–1917). Эти презрительные слова Николая II произнесены при рассмотрении кандидатуры Гучкова на пост премьер-министра правительства России. Совершенно справедливо Алексей Суворин (отец Бориса Суворина) отметил в дневнике: «У нас нет правящих классов. Придворные – даже не аристократия, а что-то мелкое, какой-то сброд».

В-третьих, командный состав армии был, по вердикту Солоневича, «совершеннейшей катастрофой». Статистика подтверждает этот вывод. Доля кадровых офицеров к 1917 году составляла всего лишь 4%, остальные офицеры – прапорщики уже военного времени, выходцы из бывших мещан, интеллигентов, рабочих и крестьян. Гвардейские офицеры были почти полностью выбиты к Февралю. Солоневич рассматривает возможности русских генералов, начиная с поражения в Русско-японской войне, и констатирует, что в большинстве своём творческое и умственное состояние высшего командования осталось перед Первой мировой войной прежним. Особенно нелегально он отозвался о генерале Михаиле Алексееве, бывшем на момент февральского заговора начальником штаба верховного главнокомандующего (Николая II), а во время его отсутствия становился по факту главнокомандующим. М. Алексеев начинал ординарцем у генерала Михаила Скобелева во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. В годы Русско-японской войны был генерал-квартирмейстером 3-й Маньчжурской армии – интендант по-современному. Видимо, эти факты и послужили основой столь негативной оценки, данной ему Солоневичем. «Генерал М. Алексеев был типичным генералом не от инфантерии, не от кавалерии и не от артиллерии, а от бюрократии. Генерал-канцелярист». Хлёстко, но по-видимому, верно. Царь Алексееву полностью доверял, обедал с ним, но в конце февраля 1917 года Алексеев занимал соглашательскую (и вашим и нашим) позицию. Кстати, всячески восхваляя Николая II и понося Алексеева, Солоневич не признаёт неумения царя разбираться в людях. Императрица была «глубже» своего венценосного супруга и предупреждала того о двуличности Алексеева, но Николай отмахивался.

Есть множество народных поговорок, изречений касательно ответственности. Мне особенно по нраву такая туркменская мудрость: «Тот не мужчина, кто боится взять на себя ответственность». Хорош афоризм и от Уинстона Черчилля: «Цена величия – ответственность». Хорошо хоть Солоневич признаёт слабость, близость генералитета и придворной клики, но ведь их выбирает первое лицо! Царь их назначает или смиряется с их присутствием, не имея воли убрать непрофессионалов.

Солоневич иллюстрирует вышесказанное словами статс-секретаря его императорского величества Сергея Крыжановского (не путать с большевиком Глебом Кржижановским). «Основная язва нашего старого бюрократического строя – засилье на верхах власти старцев...

Расслабленный старец граф Сольский... печальной памяти бессильные старцы Горемыкин, Штюрмер, князь Голицын. Усталые телесно и духовно, люди эти жили далёким прошлым, не способные ни к какому творчеству и порыву, и едва ли не ко всему были равнодушны, кроме забот о сохранении своего положения и покоя». Как тут не вспомнить «пятилетку пышных похорон» в СССР и через пять лет его развал. По всей вероятности, «диктатуру совести», если вспомнить определение Солоневича, строил для себя народ, но никак не правящий слой, который находился вне действия этой диктатуры.

С констатацией Солоневича «Таким образом, все историки, и правые и левые, и большевистские, и иностранные, сходятся, по крайней мере в одном пункте: начало революции было положено справа, а никак не слева», нужно согласиться. Левый эсер Мстиславский высказался очень красочно: «Революция (имеется в виду Февральская. – М. Ч.) застала нас, тогдашних партийных людей, как евангельских неразумных дев, спящими».

Какие же коренные ошибки совершило гнилое военное и политическое руководство Российской империи, не считая преднамеренных? Ещё раз вспомним слова о России Уинстона Черчилля, резюмирующие конец 1916 года. «Долгие отступления окончились; снарядный голод побеждён; вооружение притекало широким потоком; более сильная, более многочисленная, лучше снабженная армия сторожила огромный фронт; тыловые сборные пункты были переполнены людьми».

О «переполненных сборных пунктах» было упомянуто выше, в частности о Кексгольмском полку, в котором служил, точнее подвизался, Солоневич. Его резюме таково: «Итак, концентрацией в столице тысяч двухсот всякого рода белобилетников и бытовой обстановкой, в которую эти белобилетники были поставлены, – в этой столице был создан пороховой погреб. <...> Было ли это демонстрацией “глупости” или подготовкой “измены” – каждый может решать по-своему, – но третьего объяснения нет. И вот при этом погребе, на этот раз уже автоматически, сам по себе, создался и “детонатор”: чухонское бабье Выборгской стороны».

Тут надо обратить внимание на национальность этого самого «бабья», что и это делает Солоневич. Он утверждает, что в 1897 году из ста жителей пригородов СПб 85 в качестве родного языка не называли русский. Конечно, это «бабье» понятия не имело ни о каком праве наций на самоопределение, но, как бы там ни было, такому «бабью» было наплевать на судьбу русских по принципу: чем хуже для великороссов, тем лучше для нас. Тем более что начались перебои с хлебом, а детишек кормить надо, учитывая, что семьи были в подавляющем большинстве многодетными. Морис Палеолог, французский посол в Петербурге, был очень наблюдательным человеком, да и должность обязывала, ибо выход России из войны грозил французам большими неприятностями. Он отмечал в донесениях, что из-за сильных морозов в январе и феврале на железнодорожных путях застряли 57 тыс. вагонов с мукой. Понятное дело, что хлебные перебои дискредитировали власть в народе.

Силой разогнать это «бабье» «маршевыми батальонами» не получалось, белобилетники стрелять в женщин отказывались, а надёжных царю войск вблизи столицы не было. Солоневич рассуждает, что и верной дивизии было бы избыточно. «Там, где “восстание” (именно так, в кавычках. – М. Ч.) наткнулось на какое-то сопротивление, оно таяло, как дым: на трубочном заводе поручик Гесса застрелил агитатора, и вся

толпа разбежалась, бросив и знамёна, и лозунги». И с этим можно, скорее всего, согласиться. Есть более свежий пример: события в Приднестровье в начале 90-х. Тогда генерал Лебедь несколькими выстрелами в воздух разогнал толпу протестующих.

Однако некому было отдать команду стрелять. Солоневич глухо признаётся: «...Государь Император допустил роковой недосмотр: поверил генералам Балку, Гурко, Хабалову. Именно этот роковой недосмотр и стал исходным пунктом Февральского дворцового переворота». Все они «растерялись». Военный министр Беляев не нашёл ничего более умного, как развести мосты на Неве, чтобы изолировать мятежные Петроградскую и Выборскую стороны. И это в морозном январе и феврале, когда на Неве был лед толщиной в сажень. Солоневич иронизирует, что по такому льду ходили не только люди, но и трамваи.

И опять нужно вспомнить самую новейшую историю, а именно путч 1991 года. Командир спецназа «Альфа» признавался позднее, что от председателя КГБ так и не поступил приказ арестовать на даче в подмосковном Архангельском Ельцина и всех его ближайших соратников в ночь с 18 на 19 августа. Это было бы сделано быстро и бесшумно. Ему можно верить, если вспомнить как та же «Альфа» взяла дворец Амина в Афганистане в декабре 1979 году. Вот что значит политическая воля. Или в недавнем интервью «Литературной газете» (№ 46 от 23.11.21) Руслан Хасбулатов вспоминал о роковой для СССР встрече в Беловежской пуще. «Кравчук, шутя, любил потом рассказывать, что они неслучайно собрались вблизи польской границы. А один высокопоставленный сотрудник КГБ СССР говорил, что всё ждал указаний Горбачёва арестовать участников встречи».

Все эти примеры доказывают лишний раз уже доказанное: прогнившие элиты, думающие только о собственной выгоде и покое, вольно или невольно предадут интересы народов, которыми руководят. Такого же мнения придерживается и Солоневич: «Однако при наличии здорового правящего и ведущего слоя ничего не вышло бы из заговора, ни из Февраля, ни из Октября». И ещё один верный вывод, применимый к причинам падения империй и отдельных государств, делает Солоневич. Когда люди, допущенные к власти, «...поставят интересы и психологию слоя и касты выше национальных интересов», тогда и случится измена и продажа всего и всех.

Одна из серий киноэпопеи епископа Тихона (Шевкунова) посвящена сплетням, погубившим дом Романовых. О сплетнях рассуждает и Солоневич. Прежде всего он приводит ключевые слова барона Н. Врангеля (отца главнокомандующего Белой армии в Крыму): «Между высшим обществом и народом образовалась пропасть, потеряна всякая связь». Даже самой короткой мыслишки не возникало у аристократов из высшего общества, чтобы как-то узнать чаяния народа, не говоря уж о налаживании обратной связи. Этот разрыв, эту пропасть хорошо иллюстрирует эпизод из романа Алексея Толстого «Хождение по мукам», когда солдатская масса (крестьяне-призывники) буквально затоптала мужа Кати Булавиной – Смоковникова, комиссара Временного правительства и видного, богатого адвоката.

Ко всему прочему аристократия не блистала высокими моральными качествами. «Правый» историк И. Якобий рисует такую картину самого «высшего» общества. «Помойными ямами были столичные салоны, от которых по словам Государыни, неслись такие отвратительные миазмы... Русский правящий класс и здесь оплевал самого себя, как сла-

боумный больной, умирающий на собственном гноище». Разумеется, высший «свет» знал об отношении к нему императрицы и в ответ клеймил её «немецкой шпионкой», руководившей своим супругом в пользу немцев. Мало того, тот же «свет» приписывал ей сексуальную связь с Григорием Распутиным, а тот якобы был «серым кардиналом» – советчиком Николая II, и все неудачи на фронте объяснялись этой связью. Солоневич верно подмечает, что «Смертный приговор Царской Семье был вынесен в “августейших салонах”, большевики только привели его в исполнение».

Во многом, по мнению Солоневича, виновата военная цензура и СМИ. «Цензура имеет технический смысл только тогда, когда она организована тотально, как у Гитлера или Сталина». Небольшое отступление – Солоневич был первым, кто уравнивал Сталина и Гитлера, кто «путал» социализм и национал-социализм. Эту его «версию» с охотой поддерживает Запад и российские отечественные либералы.

Половинчатость взаимоотношений между военной цензурой и СМИ достигала чудовищной бессмыслицы. Военная цензура запрещала освещать неудачи русской армии на фронтах. В ответ газеты оставляли на месте будущих репортажей белые полосы, потом и их запретили, тогда газеты начинали репортаж, а за первыми строчками следовали выцарапанные буквы. Например, «Вчера на Выборгской стороне...» и далее пустота. Что случилось и почему? И тут срабатывал принцип «запретный плод сладок». Ответ давали листовки и «агентство ОБС» (одна баба сказала), то есть обывательские слухи. Их поддерживали и распространяли агенты немецкой разведки.

Негативная пропаганда велась и с трибун Государственной думы. Достаточно вспомнить риторический вопрос кадета (конституционного демократа) П.Н. Милюкова, прозвучавший на заседании в ГД 1 ноября 1916 года: «Что это – глупость или измена?» В адрес многих царских чиновников с трибуны Государственной думы неслись обвинения в измене, германофильстве, тайных переговорах с немцами. Премьер-министры, тем более министры, менялись как перчатки. За 1915–1916 гг. в должности премьеров успели побывать четверо назначенцев Николая II, четыре военных министра, шесть (!) министров внутренних дел, четыре министра юстиции. Полноценной работы от них не приходилось ждать, и это в военное лихолетье! В министрах внутренних дел полгода побывал по настойчивой рекомендации императрицы (вмешивалась, вмешивалась она в дела супруга!) и нижегородский губернатор Алексей Хвостов. Он первый, кто пытался организовать убийство Григория Распутина, чем и подорвал расположение императрицы.

После ареста военного министра Сухомлинова с группой его подчинённых назначенный на его место старый генерал Шугаев тоже был обвинён в шпионаже. Он был крайне возмущён и говорил: «Я, может быть, и дурак, но я не изменник». Вот такие «дураки» и командовали в России того времени. Результат известен.

Итак, основные вехи Февральской революции.

9 января. В годовщину «Кровавого воскресенья» женщины, уставшие стоять в очередях за хлебом, впервые вышли на улицы с экономическими требованиями повышения зарплат, поставок хлеба. «Чухонское бабье», по определению Солоневича, часто выходило на улицы вплоть до марта.

Как бы ни отрицал Солоневич участие пролетариата в этой буржуазной революции, всё-таки именно рабочие Путиловского завода

18 февраля (даты по старому стилю) забастовали, требуя надбавки к зарплате. Зачинщиков уволили и закрыли ряд цехов. Тогда рабочие решили провести 23 февраля общегородскую забастовку, в которой участвовало около трети всех столичных рабочих, в том числе и женщин. Примечательно, что накануне (22 февраля) Николай II принял на себя обязанности верховного главнокомандующего и покинул Петроград, выехав в ставку, в Могилёв. Перед отъездом он приказывает ввести в столицу два конногвардейских полка, но командующий Петроградским военным округом генерал Хабалов не может найти для них места. Лозунги сменились на политические «Конец войне», «Долой самодержавие».

24 февраля начались беспорядки в Кронштадте. Самым жесточайшим образом – штыками – матросы 1 марта на Якорной площади казнят военного губернатора Кронштадта, адмирала Роберта Вирена. Вообще с 1 по 4 марта матросня (именно так, ибо это были не революционные матросы, а группа садистов) убила 120 флотских командиров, сотни были арестованы, а потом в основном расстреляны. Солоневич уверен, что в событиях в Кронштадте видна «незримая рука германского шпионажа».

25 февраля бастовало уже 215 тыс. рабочих (80% от всего числа). Началось братание солдат с рабочими.

27 февраля обнародован указ о роспуске Государственной думы. В Таврическом дворце создаётся Совет рабочих депутатов. В этот день была предпринята единственная попытка борьбы с революционными силами. Нашёлся единственный человек, сумевший организовать вооружённый отпор, – полковник Александр Кутепов. Он прибыл с фронта в третьей декаде февраля в трехнедельный отпуск. 27 февраля его вызвал генерал Хабалов и приказал сформировать и возглавить сводно-гвардейский отряд для «успокоения» масс. Сам же «растерявшийся» Хабалов сменил место дислокации, не предупредив Кутепова, которому без подкрепления, обещанного генералом, ничего не оставалось, как прекратить борьбу и вернуться на фронт. Обо всём этом подробно рассказано в книге серии ЖЗЛ «Генерал Кутепов» Святослава Рыбаса.

28 февраля – самороспуск царского правительства.

2 марта Николай II отрёкся от престола.

Царская империя приказала долго жить.

3

Особую симпатию вызывает к Солоневичу его любовь к России, к русским. Самым главным для России, считал он, является «...не вопрос о “форме правления”, “конституции”, “реакции”, “прогессе” и всяких таких вещах. Это есть вопрос о сущности России. О нашем с вами духовном “я”. <...> Нас главным образом интересуют человеческие отношения с людьми. И в общем, при всяких там подъёмах и спадах, человеческих отношений человека к человеку в России было больше, чем где бы то ни было».

В этих словах чувствуется особое глубинное знание человека, много пережившего и много где побывавшего. Человека, которому есть с чем сравнивать. Солоневич верно подмечает, что в России не было покорённых народов, не была она «тюрьмой народов», как утверждали большевики, ошибочно вводя «право наций на самоопределение». В царской России не было никаких этнических автономий, а были гу-

бернии с вольным проживанием в них многих этносов. Недаром в годы Первой мировой войны мусульманские имамы и другие иерархи призывали своих единоверцев доблестно сражаться за «матушку» Россию.

Солоневич верно отмечает, что «В этой “тюрьме народов” министрами были и поляки (граф Чарторыйский), и греки (Каподистрия), и армяне (Лорис-Меликов), и на бакинской нефти делали деньги порабощенные Манташевы и Гукасовы, а не поработители Ивановы и Петровы. <...> Вообще, если вы хотите сравнить быт тюрьмы и быт свободы, то сравните историю Финляндии с историей Ирландии». Кстати, в Санкт-Петербурге до сих пор стоит на Греческой площади замечательный памятник греку Каподистрия.

Особое восхищение вызывают у каждого патриота России такие вот глубокие мысли Солоневича. «Мы были самым бедным народом Европы, или, точнее, самыми бедными людьми Европы. И то же время мы были самыми сильными людьми мира и самым сильным народом истории. Мы были бедны потому, что нас раз в лет сто – жгли дотла, и мы были сильны потому – и только потому, что моральные соображения у нас всегда перевешивали всякие иные». В этом глубоко подмеченном величии русского народа и состоит сила диктатуры совести.

До сих пор являются актуальными и такие мысли Солоневича: «Совесть есть то, на чём строится государство. Без совести не помогут никакие законы и никакие уставы». Можно поставить десять восклицательных знаков. Даже при ретроспективном взгляде на историю России можно увидеть, что при совестливых, цельных натурах, коих во главе имела Россия, она успешно развивалась. Возможно, Николай II был совестливым человеком, но матушке России этого мало. Для того чтобы её не «сжигали каждые сто лет», власть должна быть сильной, бестрепетно отделяя врагов от друзей, на которых только и можно положиться. Перекидывая мостик между прошлым и настоящим России, вспоминается «свежее» решение газораспределительных организаций, которые в конце 2021 года выставили муниципалитетам счета на газ, подаваемый на Вечный огонь у могилы. При наличии таких бессовестных людей мне лично страшно за будущее России.

Особый пиетет вызывают мысли Солоневича о сосуществовании славянских народов: великороссов, малороссов и белорусов. Он признаётся, что есть люди, которых он не любит, некоторых он ненавидит, «но если я к кому бы то ни было питаю искреннее отвращение, так это к самостийникам». Он словно заглядывает в будущее, констатируя: «Украинский сепаратизм грозит бытию всей России, то есть и Великой России и Малороссии. Украинский сепаратизм, кроме того, вырос на целой серии сплошных подлогов. <...> Отделение Украины от Великой России означает гибель. И Великой России и Украины».

Можно отнестись это высказывание за пророческое предвидение Солоневича. Но можно предположить, что он лишь повторяет Бисмарка, сказавшего за сто лет до Солоневича так: «Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины... необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России». Далее Бисмарк делится механизмом по отрыву, предлагая взрастить предателей среди элиты Украины и с их помощью сформировать такое самосознание украинцев, что они будут ненавидеть всё русское. Кстати, совет отнositельно взращивания предателей был осуществлён и в России периода перестройки и последующего развала красной империи. Он-то и послужил причиной отделения Украины от России. Ладно бы только

украинцев, но и латышей, литовцев, эстонцев и далее по списку советских республик СССР. И ведь повторение мудрых мыслей великих исторических людей означает не только согласие с ними, но и применение, следование им, чтобы сэкономить время и не наступать на грабли всякий раз в процессе великих исторических разломов.

О великодержавной самостийности украинцев было упомянуто выше, когда Солоневич привёл мнение некоего украинского профессора Бутко. И поистине глубокими представляются рассуждения Солоневича, откуда есть взялась эта самостийность, переросшая, как и предсказывал Бисмарк, в ненависть ко всему русскому. Прочитаем у Солоневича: «Вся эта самостийность не есть ни убеждение, ни любовь к родному краю – это есть несколько особый комплекс неполноценности: довольно большие вожеления и весьма малая потенция – на рубль амбиции и на грош амуниции. <...> Первая решающая черта всякой самостийности есть её вопиющая бездарность. Всякий талант будет рваться к простору, а не к тесноте. <...> Всякая бездарность будет стремиться отгородить свою щель. И с ненавистью смотреть на всякий простор. <...> Понятие бездарности включает в себя как неотъемлемую часть понятие – также и тщеславие». Далее Солоневич оговаривается, что есть миллионы хороших, здравомыслящих людей, которым Бог не дал таланта. Ну, не дал, так тому и быть. Не всем быть талантливыми. Обычный человек скромен: работает, исправно служит в армии, защищая родину, создаёт семью, рождает детей, и всё это он делает без фанаберии.

Бездарность же, по словам Солоневича, прежде всего претенциозна. Она обвиняет весь мир, что тот не ценит её дарований, не несёт к её ногам цветы благодарности, и потому она ненавидит весь мир. Вспомним поляков с мечтой о Польше «от моря до моря», тех же украинцев, которые высасывают из пальца легенду о древних «украх», выкопавших Чёрное море. Вердикт Солоневича суров: «Бездарность автоматически связана с ненавистью». Но вот в полном соответствии с известной поговоркой «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами» профессиональные самостийники пробились-таки до мирового внимания к ним и известности.

Заслуживает внимания и такой вывод Солоневича: «Если бы в Первую и во Вторую мировую войну за нашей белорусской или малорусской спиной не стояла бы спина нашего старшего брата – “москаля”, мы бы погибли». И при этом Солоневич не верит в здравый смысл профессиональных самостийников. Они, пишет он, не будут слушать этого не потому, что это неправда, а потому, что это им невыгодно. (Статья «О сепаратных виселицах», 1949 год.)

Юрий Поляков в книге «Желание быть русским» приводит такой эпизод из своей жизни. После запрета на публикацию его повести «Сто дней до приказа» его пригласил ответственный работник ЦК ВЛКСМ с типичной украинской фамилией. «Мягко “гэкая”, он ласково попенял мне за чрезмерную остроту прозы – на том и расстались». Через несколько лет этого чиновника сделали главным редактором центрального молодёжного еженедельника. И как-то в конце 80-х, когда СССР, по словам Полякова, трещал по швам, они встретились за «рюмкой чая» и разговорились, обсуждая политическую ситуацию. И его как прорвало: «...передо мной сидел не крупный советский чиновник, озабоченный судьбой своей малой родины, а упёртый украинский националист, страдающий наследственной ненавистью к москалям». И в 1914 году он возмущался возвратом Крыма в русскую гавань. Вывод Поляков

делает такой: «Думаю, чрезмерное влияние в общесоюзных органах власти выходцев с Украины с их особым хуторским (моя хата с краю) менталитетом сыграло свою роль в крушении Советского Союза». Думается, что влияние выходцев с Украины на политику РФ до сих пор весьма и весьма значительно.

Этот яркий пример (и у каждого русского, так или иначе связанного с украинцами, найдутся свои подобные) говорит о провидческой способности Солоневича, знатока самостийников разного калибра и разлива с наследственной ненавистью. Она, по всей вероятности, начинается с Переяславской рады 1654 года, когда украинцы (казаки и сам гетман Богдан Хмельницкий) присягали русскому царю, а не русские – гетману. Косвенным подтверждением этому служит устав Кирилло-Мефодиевского братства в Киеве (1846–1847 гг.), ставящий своей целью создание славянской республики со столицей в Киеве и с особой ролью украинцев в руководстве. Украинцы, видите ли, отличаются особым свободолобием и демократизмом. Главными членами братства были историк Николай Костомаров (почитайте его историю, в которой он хулит русских царей, и многое поймёте), а также Тарас Шевченко с его призывами к братской войне: «Кайданы порвите / И ворожьей злою кровью / Землю напоите...» За эти призывы его и забили в солдаты. И до сих пор руководители Украины призывают к братоубийственной войне. Достаточно вспомнить слова главы МИДа Украины с угрозами устроить кацапам «крававую баню».

4

Читать Ивана Солоневича, если не обращать внимания на его злые и большей частью необоснованные нападки на Сталина и на социализм, полезно и интересно. В его текстах много тонких и умных наблюдений и обобщений. И даже он отдаёт должное Сталину, говоря: «Сталин является гениальным практиком марксистской теории. Предоставим глупцам изображать Сталина “кавказским ишаком” или мелким властолюбцем. Эта фигура безмерно более мрачная, чем все Лойолы, Робеспьеры и Наполеоны вместе взятые». Солоневич называет Сталина дьяволом и ликвидатором русского крестьянства, но, живя далеко за пределами СССР, он не знает всех тонкостей жизни колхозных крестьян. Я сообщу лишь одну. При Сталине машинно-тракторные станции (МТС) содержались на бюджетные средства, что безмерно облегчало финансовую нагрузку на колхозы. Хрущёв, придя к власти после смерти Сталина, передал МТС в ведение совхозам и колхозам, и те стали погибать, не находя средств на покупку тракторов и другой сельхозтехники, на её ремонт, на покупку горючего и на зарплату водителям и трактористам. Потому и начался массовый исход крестьянства в города, потому и пришлось в начале 60-х закупать хлеб в Канаде и США. Ну да ладно, не будем сбиваться на частности.

Солоневич спрашивает себя: так что же представляет собой демократия, что значит сам термин? И отвечает: «Оказывается, не значит почти ничего. Ответственное министерство? Так в САСШ его нет. Равенство перед законом? Так оно существует и в не демократиях. Со словные предрассудки? Оказывается, в демократической Англии они сильнее, чем было в гитлеровской Германии. “Народоправство”? Так “Народная правда” с сожалением констатирует, что этот идеал ещё никогда и нигде достигнут не был».

На упрёк, что Россия недемократичная страна, отвечает оригинально, что США, или, как он называет, САСШ, не воевавшие ни разу с иноземными завоевателями, могут себе позволить такую дорогую штуку, как демократия. Он добавляет, что если бы мы, русские, при демократии просили бы в какой-нибудь бюджетной комиссии ГД ассигнования на армию и флот или разрешение в той ГД на войну в случае нападения на Россию тевтонских орд, то «при такой системе мы погибли бы давным-давно».

И далее следует совершенно потрясающий своей глубиной и верностью вывод: «Там, где, как в России, народ веками и веками был вынужден с оружием в руках отстаивать не только национальное, но и индивидуальное бытие, он был вынужден строить свою государственность по военному образцу. Это не есть вопрос “рабства” и “деспотии”, это есть вопрос самосохранения». Как сейчас модно говорить: особый респект Солоневичу за такое объяснение и отпор хулителям России, что она страна «рабов». Попробовали бы они, «демократы», пожить в наших условиях, тогда бы и узнали, почему фунт лиха. Тем более, вопрошает Солоневич, кто ответит на вопрос, что вторжение немцев в 1941 году было последним в нашей истории? И главный вызов (модное слово) для России в XXI веке состоит не в недостатке новых технологий, не в «цифре», не в сверхзвуковых ракетах, а в переформатировании русского человека-коллективиста в индивидуалиста с психологией «своя рубашка ближе к телу».

Скорее всего, Солоневич был первым, кто письменно признался, что его тошнит от термина «демократия». Русских тоже стало тошнить от этого слова после лихих 90-х годов. Солоневич предлагает заменить его словом «человечность», и это предложение не может не вызвать уважение, так как всем, способным к анализу, стало ясно, что «демократия» вылилась в трансгуманизм, бездуховность и антихристианство во всём мире.

Демократия, говорит Солоневич, это «не борьба за власть народа, а за власть над народом».

И тут и не прибавить, и не убавить!

...8 декабря 2021-го было днем 30-тилетия Беловежского заговора, очередного и, вероятно, не последнего в истории русских империй.

Вехи памяти

Наталья РУСОВА

Родилась в 1948 году в Горьком. Окончила отделение структурной лингвистики Горьковского университета; ученица известного российского языковеда Б.Н. Головина. Работала в Нижегородском государственном университете, позже – в Нижегородском педагогическом университете им. К. Минина. Кандидат филологических и доктор педагогических наук, профессор. Педагогический стаж – 46 лет.

Автор 210 научных работ, среди которых 4 монографии, 20 учебных пособий для школьников и студентов по русскому языку и литературе, а также книг «Тайна лирического стихотворения. От Державина до Ходасевича», «Тайна лирического стихотворения. От Гиппиус до Бродского», «Кванты русской культуры. Культурологический комментарий поэтических текстов», «Тридцать третья буква на школьном уроке, или 33 стихотворения Иосифа Бродского» и других. Лауреат III Всероссийского конкурса произведений для детей и юношества «Алые паруса» в номинации «Познавательная литература», а также конкурсов «Гуманитарная книга» (2009, 2010, 2013, 2016) в номинации «Филология».

Живет в Нижнем Новгороде.

ТАРТУСКАЯ ЛЕГЕНДА

К 100-летию со дня рождения Юрия Лотмана

*И счастлив ты, что в Тарту ты живёшь,
Бог дал или не дал тебе таланта.
Когда вдруг встретишь Лотмана, поймёшь
Того, кто видел в Кенигсберге Канта.*

Леонид Столович

Когда я, выйдя после 46 лет преподавания на пенсию, раздавала ученикам и коллегам скопленную за полвека научную библиотеку, среди немногого, на что не поднялась рука, были все тома Юрия Михайловича Лотмана – кумира моей юности, постоянного спутника молодости и зрелости. Эти заметки – попытка очертить историю пожизненной любви.

К моему последнему школьному году (1966-му) в Горьком уже около пяти лет в рамках историко-филологического факультета университета функционировало отделение структурной лингвистики, пользовавшееся широкой и заманчивой популярностью. Подобных отделений

в СССР насчитывалось только пять: в Москве, Ленинграде, Киеве, Новосибирске и у нас. Если на первом месте в перечне моих школьных пристрастий всегда оставалась филология (то бишь русский язык и литература), то на втором неизменно оказывалась математика, с её прелестью и соблазном точного, последовательного, объективного знания. Выбор дальнейшего образования, таким образом, был предопределён. Кстати, среди 25 человек нашей группы лингвистов насчитывалось 17 золотых медалистов, и на истфиле мы слыли интеллектуальными аристократами.

Учиться было невероятно интересно. В учебной программе мирно соседствовали гуманитарные и математические дисциплины, тесно переплетаясь между собой на спецкурсах и спецсеминарах. По высшей математике мы сдали 9 экзаменов, причём среди них были не только математический анализ и высшая алгебра, но и такие экзотические по тому времени вещи, как теория множеств. Для тренировки в английском переводили работы Э. Сепира и Б. Уорфа, которым принадлежала знаменитая гипотеза лингвистической относительности, и Н. Хомского, с его классификацией формальных языков. Вчитывались в труды основоположника структурной лингвистики Ф. де Соссюра и нашего И.А. Бодуэна де Куртенэ, первым начавшего применять в языковедении математические модели. Кафедрой русского языка и общего языкознания заведовал профессор Б.Н. Головин – личность для Горьковского университета легендарная, ученик академика В.В. Виноградова, создатель нашего отделения и основатель двух научных направлений: вероятностно-статистического изучения стилей языка и речи и терминоведения. Преподавали у нас, и в большом количестве, научные сотрудники НИИ прикладной математики и кибернетики, а также доценты с недавно возникшего факультета ВМК (вычислительной математики и кибернетики).

В те годы многих из нас не оставляло страстное желание внести в изучение русского языка, художественного слова и вообще всех явлений вербальной культуры ту непротиворечивую и непогрешимую объективность, на которую можно было бы устойчиво опереться. Податливая, лукавая, а часто и беспринципная неоднозначность гуманитарной терминологии и методологии сначала настораживала, позднее раздражала и в итоге многими просто отвергалась. Поэтому таким блистающим соблазном стала рождающаяся на наших глазах семиотика, внедрение категорий знака, модели и информации в филологические штудии. В центре этого соблазна находился Юрий Михайлович Лотман.

Каждая страница «Трудов по знаковым системам», издававшихся в эстонском городке Тарту под его руководством и редакцией, звучала откровением. Лотмановские «Лекции по структуральной поэтике» не просто конспектировались, а зачастую полностью или частично переписывались. Его первые дошедшие до широкого читателя книги – «Структура художественного текста» и «Анализ поэтического текста» – раздобывались всеми правдами и неправдами, читались и перечитывались, годами не сходя с письменного стотла.

Почему? В 1960-е и 1970-е в стране господствовало советское (и не только советское) догматическое литературоведение, в центре внимания которого было так называемое «содержание» со своим второстепенным украшением – «формой». Лотман, вслед за своими блестящими предшественниками – Ю.Н. Тыняновым, Л.С. Выготским, Б.А. Лариним из ОПОЯЗа и другими – развивал и наглядно демон-

стрировал поэтику структурализма, подход к художественному произведению не как к набору изолированных частиц и фрагментов, но как к системному сочетанию разноуровневых элементов и значимых связей между ними, внутритекстовых и внетекстовых отношений. Юрий Михайлович впервые широко и убедительно вовлёл в филологические штудии общегуманитарный и общенаучный аппарат, его страницы пестрели терминами «структура», «система», «модель», «знак», «функция», «информация». В итоге открывалось, что художественный текст, как и любое явление культуры, невозможно описать однозначно, с одной позиции и одной точки зрения, что важна принципиальная открытость научного кругозора и многомодельность художественного и научного исследования.

Это было не просто интересно – это было захватывающе. В студенческие годы мы с ненасытным азартом выискивали и описывали всё новые и новые знаковые системы самых разнообразных типов и уровней. (Кстати, как анекдот вспоминается, что по одной из статей в тартуских сборниках я познакомилась с системой карточного гадания и с успехом демонстрировала её применение на всевозможных вечеринках и тусовках.) Страницы Лотмана учили свободе, вольной научной инициативе – и одновременно строгой доказательности. В довершение всего его анализ конкретных текстов и других художественных фактов был погружён в такой необозримый контекст русской и мировой культуры, овладеть и свободно пользоваться которым казалось просто непосильной задачей. Приобщиться к роскоши лотмановского кругозора и посейчас может каждый – достаточно найти в Интернете его «Беседы о русской культуре», исполненные глубокой мысли, логической мощи и страстной любви.

В нашей семье Пушкин был абсолютным божеством, и неудивительно, что огромный одноименный том Лотмана стал моим постоянным спутником. Особенно близкой оказалась мысль Юрия Михайловича о том, что все драматические и трагические перипетии пушкинской биографии, которые другого человека просто сломали бы, только обогащали и углубляли его личность и творчество, творчество «одухотворяющего окружающую жизнь гения». Комментарий Лотмана к «Евгению Онегину» в моих глазах гораздо глубже и интереснее набоковского; не устаю к нему обращаться, так же, как и к анализу отдельных стихотворений. Думаю, что пристрастие к лотмановской интегральной методике отразилось в моих последующих культурологических комментариях русской поэзии и прозы, не раз переиздававшихся и вошедших в обиход школьного и вузовского преподавания.

По крупицам копилась информация о жизни и судьбе основателя Тартуской семиотической школы. Интерес подогревался сходством биографий Юрия Михайловича и нашего шефа, как мы называли между собой обожаемого Бориса Николаевича Головина. Оба представители первого полностью советского поколения (Юрий Михайлович 1922-го, Борис Николаевич 1916 года рождения); оба в 1941-м ушли на фронт и вернулись вместе с Победой в 1945-м. Лотман был связистом, Головин – пулемётчиком. Головин окончил МГПИ им. Ленина перед самой войной, после возвращения с фронта занимался в аспирантуре у В.В. Виноградова и защитил кандидатскую диссертацию в 1949-м. Лотман учился в ЛГУ им. Жданова уже после войны, был учеником В.Я. Проппа и стал кандидатом наук в 1952-м. Оба – и Лотман, и Головин – отличались блестящим интеллектом и бешеным трудолюбием, оба имели

«отягчающие особенности» биографии, опасно осложняющие жизнь и карьеру в сталинские времена: Юрий Михайлович – еврей (развернувшаяся с конца сороковых «борьба с космополитизмом» печально актуализировала «пятую графу» анкеты, фиксирующую национальность); Борис Николаевич – сын сельского священника (неблагополучное, с точки зрения советского атеистического официоза, происхождение закрывало в тогдашнем обществе многие и многие двери и возможности). Оба после защиты диссертаций уехали в провинцию: Головин – в Вологду, откуда уже в годы хрущёвской оттепели перебрался в Горький, Лотман – в Тарту, маленький и незаметный эстонский городок. Оба сделали места своего пребывания своеобразными центрами тогдашней советской филологии.

В Тарту, однако, оказалось больше свободы. Видимо, провинциальный эстонский город посчитал учёного из России благонадёжным и идеологически проверенным. Именно в Тартуский университет переместился центр родившейся в Москве семиотической школы; в 1964-м в Тарту вышел первый выпуск легендарных «Трудов по знаковым системам».

Отличаясь классическим интеллигентским невниманием к бытовым удобствам и официальному престижу, Лотман – великолепный и демократичный педагог – быстро превратился в тартускую легенду. В его доме не было горячей воды, вместо центрального отопления трещали дрова в печке, а многочисленных посетителей встречал пёс Джерри. В стихотворной летописи Леонида Соловича (из которой взят эпиграф к этим заметкам) говорится:

Дом на Бурденко. Вот звонок у двери.
Легенда приглашает вас рукой,
Другой мешая в печке кочергой,
И лапу вам даёт на счастье Джерри.

Говоря о Лотмане, нельзя не вспомнить его жену – черноокую красавицу Зару Григорьевну Минц, великолепного знатока Блока и исследователя русского символизма. Интеллектуалка, под стать Лотману, она никогда не пользовалась косметикой и уж вовсе не озабочивалась качеством нарядов и украшений. Старший из трёх сыновей пишет об отношениях родителей: «Они не были ни серьёзными, ни строгими, они были страстными...» Её не стало в 1990 году, Лотману оставалось на этой земле ещё четыре года. Свою жизнь без неё он назвал эпилогом...

Борис Николаевич, несправедливо рано ушедший в мрачном 1984-м, всю жизнь с пристрастным интересом и нескрываемым уважением следил за деятельностью и трудами Юрия Михайловича – как мне кажется, по-хорошему завидуя ему. Шеф полностью отдавал Лотману должное. Это были люди одного замеса, личности одинаково высокого качества, люди долга, люди профессиональной чести, прирождённой педагогической харизмы. И кстати, оба отличались необычной галантностью и учтивостью по отношению к женщине...

Что из уроков и заветов Лотмана помнится мне сегодня?

- Пылкое утверждение экзистенциальной ценности культуры, её жизненной необходимости для разумного и этически оправданного существования. Причём культуры, воспринимаемой в единстве слова, искусства, материального и социального быта.

- Убеждение в том, что homo sapiens'а не было бы без способности к знакообразованию.

- Обоснование множественности знаковых систем и моделей, описывающих и объясняющих действительность, и базирующаяся на этой множественности свобода научного и философского мышления.

- Невероятно плодотворное расширение категории текста, формирование и совершенствование навыков вчитывания в него. Один из учеников Лотмана, В.П. Руднев, считает, что реальность можно интерпретировать как текст, написанный Богом, и человечество на протяжении всего своего существования разгадывает язык этого Текста.

- Отношение к своему ученику как к личности, стоящей рядом в научном поиске и в той же степени ответственной за его результаты.

- И наконец, нравственная независимость и та этическая цельность, которая позволяет реализовать себя по максимуму – даже в не особенно благополучное время и не в самом благоприятном месте.

Время? Время дано. Это не подлежит обсуждению.

Подлежишь обсуждению ты, разместившийся в нём...

(Н. Коржавин)

Павел БАСИНСКИЙ

Родился в 1961 году в городе Фролове Волгоградской области. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького.

Литературовед, критик, прозаик. Составитель сборников произведений Максима Горького, Леонида Андреева, Осипа Мандельштама, Михаила Кузмина; антологий «Деревенская проза», «Русская проза 1950–1980 гг.», «Проза второй половины XX века», «Русская лирика XIX века». Автор многих книг, в том числе «Лев Толстой: бегство из рая» (2010), «Страсти по Максиму» (2011), «Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой» (2013), «Лев в тени Льва» (2015), «Лев Толстой – свободный человек» (2016).

Лауреат премии «Большая книга» (2010), премии Правительства Российской Федерации в области культуры (2014), Государственной премии в области литературы и искусства (2018), премии имени А. И. Герцена (2020). Автор текста «Тотального диктанта» 2019 года. Живет в Москве.

АННА – ДОЧЬ ПУШКИНА¹

У Анны Карениной нет одного прототипа, как и почти у всех главных героев романа.

Единственный персонаж, у которого был один отчетливый прототип, – это Константин Левин, в которого Толстой вдохнул свою душу, свои мысли и сомнения, факты своей биографии: нелюбовь к городу, любовь к деревне, опыт ведения сельского хозяйства, сватовство к Софье Берс, венчание с ней в кремлевской церкви, рождение детей, ссоры и примирения, начало «духовного переворота».

А вот между Софьей Берс и Екатериной (Кити) Щербацкой уже нельзя ставить прямого знака равенства, как иногда делают. В жизни Толстого была другая Кिति – дочь его любимого поэта Ф.И. Тютчева Екатерина Тютчева, на которой Толстой едва не женился. Кстати, она так и не вышла замуж, служила фрейлиной при императрице Марии Александровне, супруге Александра II, а конец жизни провела в своем имении Варварино, где создала школу для крестьянских детей и построила ветеринарную лечебницу.

Правовед и историк Б.Н. Чичерин писал о ней, вспоминая дом ее тетки Дарьи Сушковой, где Катя жила в 50-е годы: «Кити Тютчева очень оживила салон Сушковых. Она была девушкой замечательного ума и образова-

¹ Глава из книги Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной», которая готовится к выходу в издательстве АСТ в «Редакции Елены Шубиной».

ния, у нее была приятная наружность, живые черные глаза; при твердом уме она была сдержанного характера, но не обладала тою женскою грацией, которая служит притягательною силою для мужчин. А так как требования ее естественно были высоки, то ей трудно было найти себе пару...»

Но вернемся к Анне Карениной.

Широко известно, что внешний образ Анны Карениной был подсказан Толстому обликом старшей дочери Пушкина Марии Александровны Гартунг. В черновых рукописях главная героиня однажды называется Пушкиной. Но очевидно, что в окончательном варианте такого быть не могло. Просто во время написания романа Толстой держал в голове образ этой красивой женщины, с которой познакомился в Туле в 1868 году на званом вечере в доме генерала Тулубьева.

Вот как вспоминала об этом сестра С.А. Толстой Т.А. Кузминская:

«Мы сидели за изящно убраннным чайным столом. Светский улей уже зажужжал... когда дверь из передней отворилась, и вошла незнакомая дама в черном кружевном платье. Ее легкая походка легко несла ее довольно полную, но прямую и изящную фигуру.

Меня познакомили с ней. Лев Николаевич еще сидел за столом. Я видела, как он пристально разглядывал ее.

– Кто это? – спросил он, подходя ко мне.

– М-ме Гартунг, дочь поэта Пушкина.

– Да-а, – протянул он, – теперь я понимаю... Ты посмотри, какие у нее арабские завитки на затылке. Удивительно породистые».

Сочетание эпитетов «арабские» и «породистые» невольно вызывает ассоциацию не только с поэтом Пушкиным, но и с арабской породой лошадей. Лошади играют в романе важную роль. В знаменитой сцене скачек, где Вронский ломает хребет Фру-Фру, есть прозрачный намек, что в этот момент он ломает и жизнь Анны. Ее реакция на падение Вронского, которую замечают все вокруг, в том числе и ее муж, приводят к тому, что по дороге домой в карете она признается ему, что она – любовница Вронского. С этого момента развал семьи неминуем. Это, как сказали бы сегодня, «точка невозврата». Анна не будет скрывать своей связи с Вронским ни от мужа, ни от света. По сути, она кладет голову на плаху.

Вообще сравнение женщины с лошадию было в духе Толстого. Так, он мог шутя сказать жене и свояченице: «Если бы вы были лошади, то на заводе дорого бы дали за такую пару; вы удивительно паристы, Соня и Таня». Но сестры на него не обижались. В XIX веке лошади ценились очень дорого, особенно скаковые. Они могли стоить несколько тысяч. Так что это был своего рода грубый, но комплимент.

На вечере у Тулубьева Толстой познакомился с Марией Гартунг и о чем-то говорил с ней за чайным столом. Софьи Андреевны на вечере не было – дети болели скарлатиной. Когда Толстой и его свояченица ехали домой, «им было весело». Кузминская полушутя сказала: «Ты знаешь, Соня непременно приревновала бы тебя к Гартунг». «А ты бы Сашу (муж Кузминской. – П. Б.) приревновала?» – спросил он. «Непременно», – ответила она.

Мария Александровна была не просто красавицей. Она сочетала в своей внешности черты матери и отца. Это придавало всему ее облику что-то особенное, выделявшее ее на фоне других светских красавиц. Ну и вообще дочь Пушкина не могла не заинтересовать Толстого, как в свое время заинтересовала его дочь Тютчева – Кити. Если бы Софья Андреевна с ее ревнивым характером присутствовала при разговоре ее мужа с Гартунг, которого никто не слышал, но все видели, это могло бы нанести ей душевную рану.

Однажды Толстой сказал жене: «Ты ревнуешь меня там, где для этого нет повода, и не замечаешь того, где стоило бы ревновать».

В 1868 году роман «Анна Каренина» еще даже не был задуман. В это время Толстой заканчивает «Войну и мир». К «Анне Карениной» он приступит спустя пять лет. Именно в этом романе ревность женщины играет важную роль. Кити Щербацкая дважды испытывает жгучую ревность. В начале романа, когда Вронский на балу «изменяет» ей с Анной, и в конце, когда ее муж Левин встречается с Карениной и тоже оказывается во власти ее чар. Он так очарован ею, что не может скрыть это от жены. У него сияют глаза. Происходит семейный скандал, который усугубляется еще и тем, что Левин встречается с Анной, когда на руках Кити маленький ребенок и она не может выезжать в свет. Толстой знакомится с Гартунг, когда «невыездной» была Софья Андреевна Толстая.

Старшая дочь Пушкина, по-видимому, произвела на Толстого сильное впечатление. Спустя пять лет он вспомнил ее внешность до мельчайших подробностей.

Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, а в черном, низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной крепкой шее была нитка жемчугу.

Черное платье... Полнота... Курчавые волосы... И наконец крошечные кисти... Правнучка Пушкина С.П. Вельяминова вспоминала о Марии Гартунг: «До глубокой старости она очень внимательно относилась к своей внешности: изящно одевалась, следила за красотой рук... Тетя Маша обладала какой-то торжественной красотой. У нее были звонкий, молодой голос, легкая походка, маленькие руки».

На маленьких руках и легкой походке Анны Толстой фокусирует внимание читателей в первой сцене встречи Вронского и Карениной в вагоне поезда.

Он пожал маленькую ему поданную руку... Она вышла быстрою походкой, так странно легко носившею ее довольно полное тело.

Сравните у Кузминской: «Ее легкая походка легко несла ее довольно полную, но прямую и изящную фигуру».

И еще жемчуг, и анютины глазки, которыми украсила себя Анна, отправляясь на бал... Мы не знаем подробностей туалета Гартунг в тот вечер, когда с ней познакомился Толстой. Но и жемчуг «на точеной крепкой шее», и анютины глазки в черных с завитками волосах мы видим на самом известном портрете Марии Александровны начала 60-х годов кисти И.К. Макарова, который хранится в Государственном музее Л.Н. Толстого в Москве. (Это был жемчуг, который передала ей мать – Наталья Николаевна Пушкина.) Таких случайных совпадений просто не бывает.

Мария Гартунг была первенцем Александра Сергеевича и Натальи Николаевны. Она родилась 19 мая 1832 года в Санкт-Петербурге на Фурштадтской улице в доме Алымовых, где Пушкины жили с мая по декабрь 1832 года. Ее крестными были дед Сергей Львович Пушкин, бабушка Наталья Ивановна Гончарова, прадед Афанасий Николаевич

Гончаров и тетка Н.Н. Пушкиной – Екатерина Ивановна Загряжская. Имя дочери Пушкины дали в честь покойной бабки поэта Марии Алексеевны Ганнибал.

Пушкин обожал свою старшую дочь. Из всех детей она больше всего была похожа на него, и это, видимо, было заметно сразу после ее рождения. Пушкин писал В.Ф. Вяземской: «...представьте себе, что жена моя имела неловкость разрешиться маленькой литографией с моей особы».

Во время отъездов в письмах жене он часто упоминал свою дочь: «Говорит ли Маша? Ходит ли? Что зубки?»; «Что моя беззубая Пушкина?»; «А Маша-то? что ее золотуха?»; «Помнит ли меня Маша, и нет ли у ней новых затей?»; «Прощай, душа; целую ручку у Марьи Александровны и прошу ее быть моею заступницею у тебя».

В письме теще Н.И. Гончаровой он шутил: «Маша просится на бал и говорит, что она танцевать уже выучилась у собачек. Видите, как у нас скоро спеют; того и гляди будет невеста».

В детстве Маша отличалась своенравным характером, участвовала в мальчишеских играх братьев, дралась с ними. Независимый характер Марии Александровны ее близкие отмечали и потом.

Отец погиб на дуэли, когда Маше было четыре года, но она помнила его и всю жизнь хранила светлую память о нем.

Ее собственная судьба поначалу складывалась счастливо. Она получила хорошее домашнее воспитание, окончила Екатерининский институт благородных девиц, затем, как и Кити Тютчева, служила фрейлиной при императрице Марии Александровне. В 1860 году вышла замуж за офицера лейб-гвардии конного полка Леонида Николаевича Гартунга. Л.Н. Гартунг дослужился до звания генерал-майора и должности управляющего императорскими конными заводами в Туле и Москве. В Тульской губернии в селе Прилепы у него было небольшое имение, куда чета Гартунгов отправилась сразу после венчания.

Семнадцать лет семейной жизни были в целом счастливыми. Они омрачались только тем, что у Гартунгов не было детей. Но в 1877 году случилась трагедия, о которой пишет в своих воспоминаниях, опубликованных в «Русском архиве» за 1895 год, князь Д.Д. Оболенский:

«В Москве жил некто Занфтлебен, по репутации ростовщик, имея детей, которым он почему-то не доброжелательствовал. Он, Занфтлебен, просил быть его душеприказчиком и подтянуть детей его при случае. Гартунг, человек добродушный, не подозревая никакого крючкотворства, очень поверхностно отнесся к делу и дал повод родне Занфтлебена подать на него донос, будто он злоупотребил своим положением, что у него как у душеприказчика пропали векселя, и будто он скрыл свой долг Занфтлебену».

Состоялся суд, который должен был вынести Гартунгу обвинительный приговор, но, когда судьи отправились на заключительное заседание, Гартунг застрелился прямо в здании суда из револьвера.

Событие это имело громкий резонанс. О нем писал Ф.М. Достоевский в «Дневнике писателя» за 1877 год: «Все русские газеты толковали недавно (и до сих пор толкуют) о самоубийстве генерала Гартунга, в Москве, во время заседания окружного суда, четверть часа спустя после прослушания им обвинительного над ним приговора присяжных». По словам писателя, когда судьи, объявив перерыв, удалились из зала суда, чтобы составить приговор, Гартунг, «выйдя в другую комнату... сел к столу и схватил обеими руками свою бедную голову; затем вдруг раздался выстрел: он умертвил себя принесенным с собою и заряженным заранее револьвером, ударом в сердце. На нем нашли тоже заранее

заготовленную записку, в которой он “клянется всемогущим богом”, что ничего в этом деле не похитил и врагов своих прощает».

Вся Москва считала, что Гартунг ни в чем не виноват и что в его смерти повинен не только Занфтлебен, но и прокурор, своим выступлением на суде убедивший присяжных вынести невинному обвинительный приговор. Особенно всех возмутило то, что сразу после суда прокурор поехал в театр. Д.Д. Оболенский писал: «Владелец дома, где жил прокурор, который благодаря страстной речи считался главным виновником гибели Гартунга, Н.П. Шипов, приказал ему немедленно выехать из своего дома на Лубянке, не желая иметь, как он выразился, у себя убийц».

Мария Александровна тоже не верила в виновность мужа. Она писала своей родственнице: «Я была с самого начала процесса убеждена в невинности в тех ужасах, в которых обвиняли моего мужа. Я прожила с ним 17 лет и знала все его недостатки; у него их было много, но он всегда был безупречной честности и с добрейшим сердцем. Умирая, он простил своих врагов, но я, я им не прощаю».

Об этом судебном процессе несомненно знал и Толстой, который был знаком с Гартунгом. Историю самоубийства во время суда он перенес в свою пьесу «Живой труп», где Федор Протасов кончает с собой таким же образом.

Дальнейшее расследование доказало полную невинность Гартунга. Но жизнь Марии Александровны была уже сломана. Она осталась без средств к существованию и обратилась к Александру II с просьбой о помощи. Лишь спустя несколько лет ей назначили пенсию в 200 рублей в год и только в 1899 году, к 100-летию со дня рождения Пушкина, размер пособия увеличили до 300 рублей.

Мария Александровна была вынуждена вести скитальческий образ жизни. Некоторое время она продолжала жить в их с мужем квартире на Поварской, 25, где сейчас находится Институт мировой литературы им. А.М. Горького. Затем уехала в имение Гартунга, потом вернулась в Москву и ютилась в скромных съемных квартирах на Кисловке, на Арбате... Некоторое время проживала у своего овдовевшего брата Александра Александровича, помогая ему воспитывать его детей.

Тем не менее до конца своих дней Мария Александровна сохраняла в себе аристократическую статью и была, как вспоминали о ней близкие, «всегда подтянутой, веселой, неунывающей».

Старшая из детей Пушкина, она пережила всех своих братьев и сестер и единственная застала революцию 1917 года.

В годы Гражданской войны она, как и многие, голодала. В 1918 году нарком просвещения А.В. Луначарскому удалось пробить ей пенсию в 2000 рублей, но первые деньги пришли, когда ее уже не стало, и они были потрачены на похороны. Она ушла из жизни 7 марта 1919 года и была похоронена на Донском кладбище.

В последние годы жизни Марию Александровну часто видели возле памятника Пушкину в Москве на Тверском бульваре. В 1880 году она присутствовала на его открытии. Теперь она часами просиживала возле него, размышляя о чем-то своем. Прохожим, глядевшим на эту старушку со старомодной вуалью на лице, и в голову не приходило, что перед ними – не только дочь Пушкина, но и прототип главной героини величайшего мирового романа о любви.

И это тоже *подлинная* история Анны Карениной.

Анастасия ВЕКОВА

Родилась в 1991 году в Самарской области. Окончила филологический факультет Самарского государственного университета, аспирантуру Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. Имеет опыт работы в СМИ и PR, в том числе – главным редактором газеты.

Автор около 30 научных статей по историческому словообразованию русского языка, прагмалингвистике, ономастике, проблемам изучения новгородских берестяных грамот, творчества Ф.М. Достоевского, а также почти 50 публицистических материалов.

Стихи, проза и критические статьи публиковались в журналах «Север», «Северо-Муйские огни», «Нижний Новгород», «Литературной газете» и других изданиях. Финалист и неоднократный лонг-листер литературного конкурса «Северная звезда» (2018, 2019) журнала «Север».

Живет в Самаре.

«ИНОГДА СНЯТСЯ СТРАННЫЕ СНЫ, НЕВОЗМОЖНЫЕ И НЕЕСТЕСТВЕННЫЕ...»

О литературоведческом и психоаналитическом прочтениях Ф.М. Достоевского на материале романов «Преступление и наказание» и «Идиот»

1. Психологическое и психоаналитическое в творчестве Ф.М. Достоевского

Отмеченной недавно двухсотлетие со дня рождения Ф.М. Достоевского стало отличным поводом снова обратить внимание на творчество великого автора. Казалось бы: о Достоевском написано так много – тем не менее каждый раз, перечитывая его романы, открываешь для себя что-то новое как в художественном, так и в научном аспектах.

Творчество Достоевского исследовано литературоведами достаточно широко (С.В. Белов, М.М. Бахтин, В.Е. Ветловская, Г.С. Померанц, Г.М. Фридлендер и др.), однако сочетание литературоведческого и психоаналитического подходов к изучению произведений – это для филологов все-таки скорее новшество, чем устоявшаяся практика. В этом направлении работал, например, А.Л. Бем, который в своей книге «Достоевский: Психоаналитические этюды» наметил некие параллели между Достоевским и Фрейдом, а в качестве материала использовал разные произведения писателя.

При этом важность психоаналитического подхода отрицать трудно. Даже поверхностный психоанализ личности и поведения героев поможет понять истинные причины их поступков, выявить затаенные

смыслы в произведениях и дополнить тот обширный литературоведческий багаж, который накопился в наших филологических архивах в ходе многолетнего изучения творчества писателя. «Для литературоведа метод психоанализа применим только постольку, поскольку он помогает понять произведение, как данность», – утверждает А.Л. Бем.

Сразу отметим, что существует разница между психологизмом и психоанализом – такая же, как между психологом, изучающим в рамках стандартной академической науки некие характеристики личности: темпераменты, акцентуации характера, мотивации и другие, – и психоаналитиком, стремящимся проникнуть в глубины бессознательного. Дифференциация этих двух понятий – проблема специфическая, научная, поэтому, не углубляясь в нее детально, заметим, что к рассуждениям, приводимым в данной работе, термин «психоанализ» гораздо ближе, так как мы часто будем обращаться к бессознательному, определяющему поведение героев.

Итак, как мы уже отметили, психоаналитический подход к романам Достоевского – явление для литературоведения нестандартное. Литературоведы больше оперируют термином «психологизм» и исследуют произведения писателя именно с психологической точки зрения, при этом порой вплотную соприкасаясь с психоанализом.

Яркий тому пример – явление двойничества в романе «Преступление и наказание». Филологи, изучая психологизм в романе, сразу скажут, что Лужин и Свидригайлов считаются «двойниками» Раскольникова, потому что воплощают собой самые негативные стороны изначально ошибочной теории главного героя. Раскольников разрешает «кровь по совести», считая, что можно убить одну «вошь» ради всеобщего счастья – ведь именно так поступал Наполеон и другие великие люди. Лужин живет ради собственного материального удовольствия и заявляет: «...возлюби, прежде всех, одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано». На что Раскольников ему отвечает: «А доведите до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать...» Свидригайлов же, знакомый с теорией Раскольникова, сам заявляет: «...своего рода теория, то же самое дело, по которому я нахожу, например, что единичное злодейство позволительно, если главная цель хороша. Единственное зло и сто добрых дел!».

Казалось бы: все предельно ясно, однако у проблемы двойничества имеется еще один, психоаналитический подтекст, который интересно рассмотреть сквозь призму фрейдовской теории личности, разделяющей «Я», «Сверх-Я» и «Оно». При этом «Я» относится к сознательному началу, «Оно» – к бессознательному, «Сверх-Я» – преимущественно к «бессознательному» (но споры о природе «Сверх-Я» еще не утихают). Фрейд выделяет также и «предсознательное», то есть ту часть психики, которая может стать при определенных условиях «сознательной». При психоанализе литературных героев, однако обычно идет речь о противопоставлении только сознательного и бессознательного – возможно, потому, что, во-первых, дифференцировать бессознательное и предсознательное в данном случае не всегда легко (персонажи вымышленные, а художественный материал ограничен), во-вторых – предсознательное первоначально все же связано с бессознательным, и дихотомии сознательного и бессознательного оказывается достаточно.

Возвратимся к двойничеству: «...двойник, как показывает Достоевский, соответствует воплощению в галлюцинаторном образе всего того, что по тем или иным моральным основаниям (высшая инстанция “я”) было вытеснено из сознания и что, вернувшись в сознание другими путями, признается чуждым ему и получает значение двойника, то есть постороннего субъекту лица, зачастую неприятного, даже нестерпимого, поскольку теперь уже чужды, неприятны, нестерпимы и не признаются своими те стремления, которые в нем воплощены», — пишет известный психоаналитик И.Д. Ермаков в статье «Психоанализ у Достоевского».

Раскольников подменяет своей теорией правовые и моральные установки, из-за чего у него формируется неправильное, искаженное «Сверх-Я», опираясь на которое, он оправдывает свое преступление. Само преступление, как и многие другие действия, герой совершает как бы в бреду, во многом под воздействием бессознательного. Сознательное же («Я») его вступает в конфликт с бессознательным, из-за чего герой постоянно рефлексировал, страдает. У Лужина и Свидригайлова этого конфликта сознательного и бессознательного не наблюдается (при этом Лужин руководствуется в своих поведеньях преимущественно рациональным, сознательным началом («Я»), а Свидригайлов — страстями («Оно»)). Раскольников, наблюдая за этими персонажами, начинает «бессознательно» понимать несовершенство своей теории (эти люди ему глубоко отвратительны, а между тем они прекрасно вписываются в выстроенную им теорию), и конфликт сознательного и бессознательного только усиливается. При этом заметим, что конфликт продолжается до самого конца романа: даже будучи на каторге, Родион раскаивается только в своей слабости — признании в преступлении, а не в самом преступлении, продолжая верить своей теории и считая себя в рамках теории «вошью». Разрешается этот конфликт только в финале, когда заходит речь о нравственном возрождении героя, но проследить это детально не представляется возможным, потому что, как замечает автор, «тут уж начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительностью. Это могло бы составить тему нового рассказа, — но теперешний рассказ наш окончен».

Страдания, сомнения Раскольникова, в том числе — все те, которые связаны с его теорией, — это еще один пример соприкосновения литературоведческого психологизма и классического психоанализа. Теория Раскольникова, а также его нравственные терзания как пример психологизма в творчестве Достоевского — все эти вопросы давно входят в школьную программу по литературе, а в то же время мы упоминали, что героя мучает типично психоаналитический конфликт сознательного и бессознательного. Однако причины преступления героя не исчерпываются исключительно этим конфликтом и неправильно истолкованной теорией — они гораздо шире. И услышанная беседа солдата и офицера, обсуждающих Алену Ивановну, и знакомство с Мармеладовым, и полученное от сестры Дуни письмо, где она признается, что хочет выйти замуж за Лужина, и пьяная девочка на улице, и страшный сон, в котором забивают лошадь, и случайно полученная Раскольниковым информация, что Лизаветы, сестры старухи, не будет дома — все это становится своего рода катализатором преступления. В то же время

отношения Раскольникова с семьей, с окружением – это еще один психоаналитический, глубокий вопрос.

Отмечая разницу между психоанализом и психологизмом, мы, однако, уточним, что в данной работе эти понятия не являются антонимами, а в определенной мере дополняют друг друга. Во-первых, как мы уже продемонстрировали, при исследовании психологизма ученые нередко поднимают психоаналитические вопросы. Добавим, что подобные вопросы могут возникать и при характеристике героев Достоевского: они постоянно страдают, рефлексируют, их души переполняют диаметрально противоположные эмоции, мысли, чувства – в обзорных чертах это уже показано нами выше на примере образа Раскольникова. «Он строит свои произведения и разворачивает в них переживания и, главным образом, конфликты своей сложной личности, которая во внутренней борьбе расщепляется на два или более динамических центра, участвующих в произведении как организованные образования», – говорит о писателе И.Д. Ермаков. Во-вторых, литературоведческая характеристика метода Достоевского как метода психологического подчеркивает интерес писателя к проблемам «души человеческой» – а это проблемы как психологические, так и психоаналитические.

2. Достоевский как мастер психоанализа

О том, что именно творчество Достоевского является наиболее подходящим материалом для исследования психоаналитических проблем, уже отмечалось в литературе. И.Д. Ермаков утверждает: «Среди писателей, которые настойчиво изучали и исследовали глубины человеческой души, среди тех, кто бесстрашно обнажал такие стороны, в которых конфликты достигают наибольшей остроты и мучительности и ведут к полному расщеплению, раздвоению личности, Достоевскому принадлежит особое место. О многих писателях уже было сказано, что они являются предтечами психоаналитических открытий, однако к Достоевскому это относится в особой степени. <...> Конечно, не один Достоевский является предшественником психоанализа, хотя в мировой литературе не у многих писателей мы встретим такой беспощадный неумолимый анализ, такую твердую волю исследователя, не останавливающегося ни перед чем, и все глубже и глубже разрабатывающего исключительно трудные и интимные темы. Сам писатель нередко оценивает свое творчество как своеобразную исповедь, где он делится не только своими знаниями (это его не так уже радует), но главным образом чувствами, переживаниями, внутренним раздвоением и сомнениями, приводящими его к предельным состояниям, из которых он ищет выхода; он овладевает ими, рационализирует их, облекая в адекватные формы и выражения».

Во времена написания Достоевским романов психоанализ еще не был столь развит, как в XX веке. Основателем психоанализа является Фрейд – а он создавал свои труды немного позже. Об отношении самого Фрейда к Достоевскому исследователи продолжают размышлять до сих пор, но показателен тот факт, что 1928 году выходит статья Фрейда под названием «Достоевский и отцеубийство», которая является предисловием к немецкому изданию «Братьев Карамазовых». Очевиден интерес Фрейда к Достоевскому, очевидно и то, что в твор-

честве Федора Михайловича психоаналитик находил глубинные смыслы. С учетом этого психоаналитические проблемы в творчестве Достоевского интересно рассмотреть именно в контексте фрейдовского учения.

О структуре личности по Фрейду и о соотношении сознательного и бессознательного мы уже упоминали – как окажется далее, понимание психоаналитических проблем Достоевским и Фрейдом имеет гораздо больше общего: это и сны (например, сны Раскольникова), и отдельные оговорки, в которых выражает себя бессознательное. Также бессознательное проявляется неких пограничных состояниях души: галлюцинациях, видениях (Иван Карамазов), двойничестве (Голядкин). Своеобразным «носителем» и вербализатором «бессознательной» правды становится князь Мышкин, страдающий эпилепсией, который замечает в людях то, что составляет часть их бессознательного, и сразу сообщает им об этом, вызывая доверие. Так, например, он говорит генералу Епанчину: «Давеча ваш слуга, когда я у вас там дожидался, подозревал, что я на бедность пришел к вам просить; я это заметил, а у вас, должно быть, на этот счет строгие инструкции; но я, право, не за этим, а, право, для того только, чтобы с людьми сойтись. Вот только думаю немного, что я вам помешал, и это меня беспокоит».

В целом роман «Идиот» практически насквозь пронизан этой игрой с бессознательным, которое то искусственно сдерживается рамками приличия, то вихрем вырывается наружу в диалогах, оговорках, снах, навязчивых мыслях, особенно в периоды, когда Мышкин близок к эпилептическим припадкам. Выбор данного романа в качестве материала исследования обусловлен отчасти и тем, что главный герой, с одной стороны – больной человек, эпилептик, и перед эпилептическими припадками бессознательное его затуманенного мозга берет верх, с другой – наделен положительными качествами, бесконечно добр к окружающим, несколько по-детски чисто смотрит на мир и наивно, искренне говорит правду, порой горькую для других, извлекая ее из глубин чужого бессознательного.

3. Развертывание сюжета через сознательное и бессознательное героев

Чтобы показать, какую роль играет бессознательное в поведении героев романа «Идиот» и как это бессознательное оказывается главной нитью, связующей все произведение, обратимся к сюжету, одним из основных узлов которого является убийство ножом. С ножом Рогожин бросается на Мышкина, ножом зарезает Настасью Филипповну. В то же время само упоминание ножа и возможных грядущих убийств встречается в романе гораздо раньше – в качестве оговорок и прямых упоминаний в диалогах, а также в мыслях, которые мучают князя Мышкина перед эпилептическим припадком.

О ноже и убийстве говорят и Мышкин, и Рогожин, и Настасья – то есть именно те герои, которых это впоследствии коснется. Наиболее показателен в этом отношении диалог во второй части романа, когда Рогожин и Мышкин упоминают Настасью Филипповну.

«Точно сумасшедшая она была весь тот день, то плакала, то **убивать**¹ меня собиралась **ножом**, то ругалась надо мной», – рассказывает

¹ Выделение полужирным – наше. – А. В.

Парфен о поведении героини в Москве». Далее Рогожин, цитируя свой разговор с Настасьей Филипповной, говорит, что утопится, если та его не простит и не выйдет за него замуж. «Пожалуй, еще **убьешь** перед этим...» – добавляет в ответ Настасья.

Беседа продолжается.

«– Что же, твою любовь от злости не отличишь, – улыбнулся князь, – а пройдет она, так, может, еще пуще беда будет. Я, брат Парфен, уж это тебе говорю...

– Что **зарезу**-то?

Князь вздрогнул».

Вскоре Мышкин сам прямо говорит Рогожину: «...ты и впрямь, пожалуй, **зарезешь**, и она уж это слишком, может быть, теперь понимает». И вопрошает, характеризуя возможный брак Рогожина с Настасьей: «Кто сознательно в воду или под **нож** идет?» Рогожин отвечает: «– В воду или под **нож**! <...> Хе! Да потому-то и идет за меня, что наверно за мной **нож** ожидает!»

Как видно, о ноже говорят открыто. Еще нет предпосылок к трагедии, еще не развернулись многие главные события – а упоминание ножа уже возникает, причем, как бы герои ни отдалялись от этой детали в своих рассуждениях, она неизбежно появляется снова, как некая навязчивая мысль. Эта мысль руководит фактически действиями князя, который машинально трогает нож, и приводит в раздражение Рогожина – именно потому, что выпячивает его бессознательное».

«Говоря, князь в рассеянности опять было захватил в руки со стола тот же **ножик**, и опять Рогожин его вынул у него из рук и бросил на стол. Это был довольно простой формы **ножик**, с оленьим черенком, нескладной, с лезвием вершка в три с половиной, соответственной ширины.

Видя, что князь обращает особенное внимание на то, что у него два раза вырывают из рук этот **нож**, Рогожин с злобною досадой схватил его, заложил в книгу и швырнул книгу на другой стол,

– Ты листы, что ли, им **разрезаешь**? – спросил князь, но как-то рассеянно, всё еще как бы под давлением сильной задумчивости.

– Да, листы.

– Это ведь садовый **нож**?

– Да, садовый. Разве садовым нельзя **разрезать** листы?

– Да он... совсем новый.

– Ну что ж, что новый? Разве я не могу сейчас купить новый **нож**? – в каком-то иступлении вскричал наконец Рогожин, раздражавшийся с каждым словом».

Действие развивается. Мышкин рассказывает о крестьянине, который зарезал другого человека из-за часов. Князь и Рогожин меняются крестами. «Я хоть и взял твой крест, а за часы не **зарезу**», – утверждает Парфен.

Диалог заканчивается, Мышкин выходит от Рогожина, гуляет по городу, проходит мимо лавки ножовщика, в каком-то полубреду направляется к дому Настасьи Филипповны, хотя обещал там не появляться. То ли сказывается предвестие эпилептического припадка, то ли диалог оказал на героя сильное воздействие – но к мысли о трагедии он возвращается снова и снова. Эти рассуждения – яркий пример того, как в бреду, болезни бессознательное берет верх: «Впрочем, если Рогожин убьет, то по крайней мере не так беспорядочно **убьет**. Хаоса этого не будет. По рисунку заказанный инструмент и шесть человек, положен-

ных совершенно в бреду! Разве у Рогожина по рисунку заказанный инструмент... у него... но... разве решено, что Рогожин убьет?! вздрогнул вдруг князь. “Не преступление ли, не низость ли с моей стороны так цинически-откровенно сделать такое предположение!” – вскричал он, и краска стыда залила разом лицо его». Вскоре после таких мыслей князь направляется домой, и по дороге встречается Рогожина, который бросается на него с ножом – в итоге у Мышкина начинается эпилептический припадок, но Рогожин останавливается, и князь остается жив. Все то бессознательное, что так долго мучило героев, воплощается в реальность. Позже Мышкин признается Парфену Семеновичу в том, что подозревал его в преступных помыслах: «Предчувствие тогда я с утра еще имел, на тебя глядя».

В следующих частях романа лейтмотив убийства ножом получает новый виток развития. Так, в третьей части Аглая говорит князю о Настасье Филипповне, имея в виду свой возможный брак с ним: «Она **убьет** себя на другой день, только что мы обвенчаемся!» Сама Настасья Филипповна в письме к Аглае признается, что боится Рогожина: «У него дом мрачный, скучный, и в нем тайна. Я уверена, что у него в ящике спрятана **бритва**, обмотанная шелком, как и у того московского **убийцы**; тот тоже жил с матерью в одном доме и тоже перевязал **бритву** шелком, чтобы **перерезать** одно горло». И заключает: «Я бы его **убила** со страху... Но он меня **убьет** прежде...»

В четвертой части все чаще заходит речь об убийстве, о смерти Настасьи Филипповны. Так, князь разрывает с Аглаей. «Вы должны были бежать за Аглаей, хотя бы другая и в обмороке лежала!» – укоряет его Евгений Павлович. Мышкин отвечает, что не мог оставить Настасью Филипповну, потому что «она ведь **умерла бы!** Она бы **убила** себя». И далее продолжает: «Только она непременно **умерла бы**. Я вижу теперь, что этот брак с Рогожиным был сумасшествие!» Ипполит предупреждает князя насчет Рогожина: «Я ведь боюсь лишь за Аглаю Ивановну: Рогожин знает, как вы ее любите; любовь за любовь; вы у него отняли Настасью Филипповну, он **убьет** Аглаю Ивановну; хоть она теперь и не ваша, а все-таки ведь вам тяжело будет, не правда ли?»

В финале романа Рогожин убивает Настасью садовым ножом, который Мышкин разглядывал во второй части романа – пазл складывается, бессознательное берет верх. Сам Рогожин не отрицает того, что, возможно, хотел и раньше убить. Происходит следующая беседа

«– Слушай... – спросил князь, точно запутываясь, точно отыскивая, что именно надо спросить, и как бы тотчас же забывая, – слушай, скажи мне: чем ты ее? **Ножом?** Тем самым?

– Тем самым.

– Стой еще! Я, Парфен, еще хочу тебя спросить... я много буду тебя спрашивать, обо всем... но ты лучше мне сначала скажи, с первого начала, чтоб я знал: хотел ты убить ее перед моей свадьбой, перед венцом, на паперти, **ножом?** Хотел или нет?

– Не знаю, хотел или нет... – сухо ответил Рогожин, как бы даже несколько подивившись на вопрос и не уразумевая его».

Итак, герои романа подозревают, что Рогожин может зарезать, что Настасья Филипповна суждена гибель. Они говорят об этом открыто, при этом до конца не веря в такую возможность развития события. «Сознательно» отрицая трагедию, «бессознательно» они ее допускают. Многочисленные диалоги сводятся к обсуждению убийства ножом или будущего Настасьи; сам нож как предмет пугает и терзает Мышкина.

Эта тема убийства проходит через весь роман – и в итоге находит свое воплощение в финале. Ключевой момент сюжета, показанный сначала через бессознательное, постепенно набирает обороты и реализуется в конце. Весь роман автор как бы намекает читателю о возможной грядущей трагедии, и в финале она случается.

4. Сошедшиеся, внезапные, навязчивые мысли как индикатор «бессознательного»

В прошлой главе показано, как «бессознательное» ощущение грядущей трагедии реализуется в речах и размышлениях героев. Но не только главная сюжетная линия находит свое воплощение в бессознательном – диалог сознательного и бессознательного начал встречается постоянно, и особенно ярко это заметно на примере совпадающих (или, как говорят сами герои, «сошедшихся») мыслей, а также мыслей внезапных и навязчивых.

В третьей части романа Мышкин, беседовавший с Келлером, вдруг спрашивает, не хочет ли тот занять денег, Келлер вздрагивает и негодует от такого предложения. Князь в ответ замечает: «Да ведь это ж, наверно, не правда, а просто одно с другим сошлось. Две мысли вместе сошлись, это очень часто случается. Со мной беспрерывно». И продолжает: «с этими *двойными*¹ мыслями ужасно трудно бороться; я испытал. Бог знает, как они приходят и зарождаются». Очевидно, что в данном случае сошедшиеся мысли – это часть бессознательного: Келлер хотел бы попросить денег, но скрывает это желание, а князь вдруг предлагает деньги.

Часто в романе упоминаются мысли, которые внезапно приходят в голову (обычно одновременно нескольким людям). В третьей части смертельно больной Ипполит Терентьев собирается прочитать «Мое необходимое объяснение», и Рогожин вдруг ему заявляет: «Не так этот предмет надо обделывать, парень, не так...» Далее продолжается следующее: «Что хотел сказать Рогожин, конечно, никто не понял, но слова его произвели довольно странное впечатление на всех: всякого тронула краешком какая-то одна общая мысль. На Ипполита же слова эти произвели впечатление ужасное: он так задрожал, что князь протянул было руку, чтобы поддержать его, и он наверно бы вскрикнул, если бы видимо не оборвался вдруг его голос». О чем же идет речь? Ипполит болен и обречен, окружающие это знают – и, видимо, «бессознательно», или, выражаясь словами автора, «краешком», подозревают, что тот может покончить с собой. И, действительно, далее в своем «Объяснении» Ипполит рассуждает об этом. Еще один пример – в четвертой части, когда заходит речь о свадьбе Аглаи и князя, вдруг оказывается, что об этой свадьбе многие подозревали и раньше: «Как вышло, однако же, что у Епанчиных все вдруг разом задались одною и согласною мыслию о том, что с Аглаей произошло нечто капитальное и что решается судьба ее, – это очень трудно изложить в порядке. Но только что блеснула эта мысль, разом у всех, как тотчас же все разом и стали на том, что давно уже всё разглядели и всё это ясно предвидели; что всё ясно было еще с “бедного рыцаря”, даже и раньше, только тогда еще не хотели верить в такую нелепость».

¹ Курсив авторский.

Героев романа часто беспокоят навязчивые мысли, которые, являясь для них неким предчувствием, предвестником бессознательного. В прошлой главе мы уже говорили, что герои постоянно рассуждали о ноже, убийстве – но это далеко не все. Мышкин, например, предчувствует то, что он, возможно, разобьет вазу в доме у Епанчиных: «Можно ли поверить, что после вчерашних слов Аглаи в него вселилось какое-то неизгладимое убеждение, какое-то удивительное и невозможное предчувствие, что он непременно и завтра же разобьет эту вазу, как бы ни сторонился от нее, как бы ни избегал беды? Но это было так». В конце романа, разыскивая Настасью Филипповну, князь снова понимает, что существует какая-то мысль, которую он не в силах понять окончательно: «Странное ощущение овладело им в этом тусклом и душном коридоре, ощущение, мучительно стремившееся осуществиться в какую-то мысль; но он всё не мог догадаться, в чем состояла эта новая напрашивающаяся мысль». В итоге Мышкин понимает, что это за мысль, но не сразу – а для осознания, для перехода этой мысли из бессознательного в сознательное потребовалось время: «Потом вспомнился сам Рогожин: недавно на отпевании, потом в парке, потом – вдруг здесь в коридоре, когда он спрятался тогда в углу и ждал его с ножом. Глаза его теперь ему вспоминались, глаза, смотревшие тогда в темноте. Он вздрогнул: давешняя напрашивавшаяся мысль вдруг вошла ему теперь в голову. Она состояла отчасти в том, что если Рогожин в Петербурге, то хотя бы он и скрывался на время, а все-таки непременно кончит тем, что придет к нему, к князю, с добрым или с дурным намерением, пожалуй, хоть как тогда».

Отдельно отметим интересную ситуацию с генералом Иволгиным, который постоянно лгал окружающим, сочинял небылицы. Придумывая очередную историю, он вдруг рассказывает правду, которую «сознательно» уже забыл: «Генерал, объявивший Аглае, что он ее на руках носил, сказал это *так*, чтобы только начать разговор, и единственно потому, что он почти всегда так начинал разговор со всеми молодыми людьми, если находил нужным с ними познакомиться. Но на этот раз случилось, как нарочно, что он сказал правду и, как нарочно, правду эту он и сам забыл. Так что, когда Аглая вдруг подтвердила теперь, что она с ним вдвоем застрелила голубя, память его разом осветилась, и он вспомнил обо всем об этом сам до последней подробности, как нередко вспоминается в летах преклонных что-нибудь из далекого прошлого».

Таким образом, сошедшиеся, внезапные, навязчивые мысли, невзначай сказанная правда являются в романе индикатором бессознательного. Они могут касаться как второстепенных моментов, так и основных сюжетных линий – и уже поэтому заслуживают внимания.

5. Сны

Сны в романах Достоевского играют огромную роль. Так Раскольникову, когда он задумывает убийство старухи-процентщицы, снятся, как лошадь забивают насмерть. А перед нравственным возрождением на каторге, когда герой еще не отрешился от своей теории о разделении людей на «тварей дрожащих» и «право имеющих», ему видится сон об идеях, овладевших умами людей и заставивших их воевать друг с другом – явная демонстрация того, к чему может привести такая теория.

Об этих снах Раскольникова много говорится в литературоведении – а при этом сны, по мнению того же Фрейда, показывают то бессознательное, что есть в людях.

В романе «Идиот» сны тоже важны для понимания романа. Так, князь перед его представлением у Епанчиных как жениха видит тяжелые сны.

Дурные сны мучают и Ипполита: он признается князю, что тот разгадал эти сны. Особенно характерен следующий сон: Ипполиту вдруг привиделось, что Рогожин душит его мокрой тряпкой. «Не знаю, мне ночью снилось сегодня, что меня задушил мокрой тряпкой... один человек... ну, я вам скажу кто: представьте себе – Рогожин! Как вы думаете, можно задушить мокрой тряпкой человека?». Почему именно такой сон? Все просто: чуть позже Ипполит признается, что наемкнул Аглае, будто «она “объедкам” Настасьи Филипповны обрадовалась», имея в виду бывшие отношения князя с Настасьей Филипповной. Аглая изъясляет желание встретиться с соперницей, насмехается над ней – в итоге князь остается с Настасьей Филипповной, и та бросает Рогожина, снова собираясь замуж за князя. Фактически своим намеком Ипполит устраивает свадьбу Рогожина и Настасьи Филипповны.

Интересно авторское восприятие снов, которое дается во время чтения Мышкиным писем Настасьи Филипповны к Аглае. «Эти письма походили на сон. Иногда снятся странные сны, невозможные и неестественные...»: «Вы усмехаетесь нелепости вашего сна и чувствуете в то же время, что в сплетении этих нелепостей заключается какая-то мысль, но мысль уже действительная, нечто принадлежащее к вашей настоящей жизни, нечто существующее и всегда существовавшее в вашем сердце; вам как будто было сказано вашим сном что-то новое, пророческое, ожидаемое вами; впечатление ваше сильно, оно радостное или мучительное, но в чем оно заключается и что было сказано вам – всего этого вы не можете ни понять, ни припомнить. Почти то же было и после этих писем». Фактически в этих строках выражено то, о чем говорят в психоаналитике: о том, что сны – это наше бессознательное.

6. О противоречивости характеров

Как мы уже отмечали, герои романов Достоевского – сложные, противоречивые. И. Д. Ермаков отмечает, что их личность «...во внутренней борьбе расщепляется на два или более динамических центра». С одной стороны, проблема характеров героев типично литературоведческая, с другой – «два и более динамических центра» вполне могут принадлежать к разным полюсам личности, представлять собой «сознательное» и «бессознательное».

Главный герой, князь Мышкин, постоянно терзается из-за того, что подозревает в окружающих плохое. В тексте романа сказано, что «князь с недавнего времени винил себя в двух крайностях: в необычной «бессмысленной и назойливой» своей доверчивости и в то же время в «мрачной, низкой» мнительности». Что из этого следует? Князь, как мы уже говорили, человек добрый, открытый, которые по-детски искренне и немного наивно смотрит на мир. В то же время сам он понимает, что ему свойственна мнительность, причем свойственна явно где-то в глубине души, потому что ярких проявлений мни-

тельности и вообще отрицательного поведения князя мы в романе не наблюдаем.

Неоднозначным оказывается и образ Рогожина: он общается с Мышкиным, меняется с ним крестами – и вскоре после этого бросается на князя с ножом. Герои сами понимают эту двойственность. «Говорю тебе, что помню одного того Парфена Рогожина, с которым я крестами в тот день побратался; писал я это тебе во вчерашнем письме, чтобы ты и думать обо всем этом бреде забыл и говорить об этом не начинал со мной», – заявляет князь во время беседы в Павловске. Рогожин акцентирует внимание на эти слова: «Ты вот пишешь, что ты всё забыл и что одного только крестового брата Рогожина помнишь, а не того Рогожина, который на тебя тогда нож подымал. Да почему ты-то мои чувства знаешь?» Князь, несмотря ни на что, искренне надеется на то, что лучшая ипостась Рогожина возьмет верх, и во время сцены с ножом, когда уже блеснит лезвие, вскрикивает: «Парфен, не верю!..»

Постоянным душевным терзаниям, связанным с двойственными и противоречивыми мыслями, одолевающими ее, подвержена Лизавета Прокофьева. После того как князь разбил вазу в доме Епанчиных, «Лизавета Прокофьевна решила про себя окончательно, что жених “невозможен”, и за ночь дала себе слово, что, “покамест она жива, не быть князю мужем ее Аглаи”. С этим и встала поутру. Но поутру же, в первом часу, за завтраком, она впала в удивительное противоречие самой себе».

Характерен в этом отношении и образ Ипполита Терентьева. Герой сам заявляет, что не любит князя из-за его смирения, доброты – и в то же время «бессознательно» понимает, что это смирение разрушает его собственную теорию, построенную на негативном отношении к обществу, окружающим. «Сейчас, сейчас, молчите; ничего не говорите; стойте... я хочу посмотреть в ваши глаза... Стойте так, я буду смотреть. Я с Человеком прощусь», – говорит Ипполит князю.

Анализ внутренней борьбы становится особенно важным, когда речь заходит о Настасье Филипповне и Аглае Епанчиной. Выше мы приводили примеры того, какими сложными и многогранными могут быть персонажи – теперь этот анализ позволит объяснить поведение героев, порой совершенно непонятное при поверхностном чтении, и их внезапные, неожиданные поступки.

В основе сюжета романа – отношения Настасьи Филипповны с князем Мышкиным. Сюжетная линия развивается волнообразно: они то собираются пожениться, то расстаются, и Настасья уходит к Рогожину. С чем это связано? Все дело, очевидно, в двойственности характера героини. Она испытывает чувства к князю, но считает себя падшей женщиной, недостойной Мышкина. «Эта несчастная женщина глубоко убеждена, что она самое павшее, самое порочное существо из всех на свете. О, не позорьте ее, не бросайте камня. Она слишком замучила себя самым сознанием своего незаслуженного позора!» – говорит князь. И продолжает: «Она бежала от меня, знаете для чего? Именно чтобы доказать только мне, что она – низкая. Но всего тут ужаснее то, что она и сама, может быть, не знала того, что только мне хочет доказать это, а бежала потому, что ей непременно, внутренне хотелось сделать позорное дело, чтобы самой себе сказать тут же: “Вот ты сделала новый позор, стало быть, ты низкая тварь!”». Героиня не может справиться со своим чувством, однако и на свадьбу не решается, будучи уверенной, что погубит князя. «Что я делаю! Что я делаю!

Что я с тобой-то делаю!» – говорит она князю, «судорожно обнимая ноги».

С Рогожиным Настасья Филипповна другая: демонстративно показывает, что она падшая женщина. Сам Рогожин, рассказывая князю, как героиня срамила его, Рогожина, в Москве, и признается: «С тобой она будет не такая, и сама, пожалуй, такому делу ужаснется, а со мной вот именно такая. Ведь уж так». Героиня понимает, что брак с Рогожиным – это путь к трагедии: «“Я, говорит, пойду за тебя, Парфен Семенович, и не потому, что боюсь тебя, а всё равно погибать-то”». «Кто сознательно в воду или под нож идет?» – вопрошает в ответ Мышкин, пытаясь убедить Рогожина, что Настасья того все-таки уважает.

Отдельного внимания заслуживает отношение Настасьи Филипповны к Аглае. Порвав с Мышкиным, она пытается свести князя с Аглаей, пишет ей письма с комплиментами – то ли потому, что Аглая, по мнению Настасьи, куда больше достойна князя, чем сама она, то ли пытаясь забыть князя (то ли и то и другое вместе). Происходит личная встреча всех троих, Аглая насмехается над Настасьей – и все рушится: Настасья Филипповна в порыве мщения оставляет Мышкина с собой. Над Настасьей Филипповной – «падшей женщиной» – берет верх Настасья Филипповна, влюбленная в князя и к тому же разочарованная в Аглае.

Скажем немного и о любви Аглаи к Мышкину. Девушка не забывает о том, что ее избранник ранее был влюблен в другую. «Бессознательно» она продолжает ревновать. На встречу с соперницей ее во многом толкает Ипполит, который раздражает ее бессознательное и заявляет, «что она “объедкам” Настасьи Филипповны обрадовалась?»

Кого же из них и почему любил князь? В этом отношении показателен следующий диалог, в котором Евгений Павлович и Мышкин обсуждают свадьбу последнего с Настасьей Филипповной.

«– Что же вы над собой делаете? – в испуге вскричал Евгений Павлович. – Стало быть, вы женитесь с какого-то страху? Тут понять ничего нельзя... Даже и не любя, может быть?»

– О, нет, я люблю ее всей душой! Ведь это... дитя; теперь она дитя, совсем дитя! О, вы ничего не знаете!

– И в то же время уверяли в своей любви Аглаю Ивановну?

– О, да, да!

– Как же? Стало быть, обеих хотите любить?

– О, да, да!

– Помилуйте князь, что вы говорите, опомнитесь!»

Мы не беремся делать однозначных выводов из этой беседы. Ясно только, что Мышкин признается: он любит обеих девушек, он страдает Настасье Филипповне. Любит ли он обеих на самом деле? Может быть, это не любовь, а сострадание? Какова природа чувств князя? Наверно, ответы на эти вопросы – тема отдельного исследования. Нам же стоит заметить только, что эта любовь Мышкина к Аглае, к Настасье Филипповне явно свидетельствует о двойственности его натуры.

Отдельно укажем на то, что противоречивость характеров героев по-разному проявляется в соотношениях сознательного и бессознательного. У одних отчетливо выделено это противопоставление: так, мнительный Мышкин, ревнующая Аглая – все-таки скорее части «бессознательной» ипостаси. Преступник Рогожин с ножом – это явная эволюция бессознательного в сознательное, развивающаяся на протяжении всего романа. Наконец, в Настасье Филипповне борются

два динамических центра, здесь уже борьба на уровне сознательно-го, хотя разные стороны поочередно берут верх. По сути, об этой же противоречивости героев говорит нам и литературоведение, однако поиск бессознательного и сознательного начал – поиск скорее психоаналитический, и он помогает лучше понять характеры, поступки, сюжет.

7. Выводы

Творчество Ф.М. Достоевского – это богатый материал для психоаналитических исследований, проводимых как самостоятельно, так и в рамках литературоведческой парадигмы. На примере романа «Идиот» видно, что оговорки, связанные с вниманием к одной детали (ножу); сошедшиеся, навязчивые и внезапные мысли; сны; противоречивые характеры героев – все это область психоаналитики. При этом те же сны, характеры изучаются и в контексте литературоведения. Думается, что комплексный анализ, учитывающий и литературоведческий, и психоаналитический аспекты, поможет лучше понять поступки героев, сюжет романа, а также авторские смыслы.

Александр БАЛТИН

Родился в Москве в 1967 году. Систематического образования не получил. Впервые опубликовался в журнале «Литературное обозрение» в 1996 году.

Поэт, прозаик, публицист. Автор книг и публикаций более чем в ста изданиях России и зарубежья, в том числе в журналах «Юность», «Вестник Европы», «Литературная учёба», «Литературное обозрение», «День и ночь», «Florida» (США), «Il Convivio» (Италия), «Время и место» (США), «Il Richiamo» (Италия), в «Литературной газете».

Член Союза писателей Москвы. Живёт в Москве.

РУССКИЙ ХРИСТОС ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА

Глобальность задачи, поставленной Кузнецовым, вероятно, не может иметь однозначного решения: ибо поэт взялся стихом, организованным в поэмы, осмыслить путь Христа, истолковать самое значимое события в истории человечества.

Само пребывания сознания в этом силовом поле есть область риска: можно уйти так далеко, что возвращение станет условным.

Тем не менее толкование Юрием Кузнецовым величия огненных столпов событийной силы изначально окрашено собственным участием в грандиозной мистрии: в чём нет ничего предосудительного: каждый задумывающийся в определённой степени становится частью вселенского явления и вселенской катастрофы распятия.

Памятью детства навеяна эта поэма.

Встань и сияй надо мною, звезда Вифлеема!

Знаменем крестным окстил я бумагу. Пора!

Бездна прозрачна. Нечистые, прочь от пера!

Нечистых, разумеется, много: о! в нашей жизни они повсюду: хоть в бизнесе, жадно готовом прибрать к рукам всё, не должное ему принадлежать, хоть в поэзии, где количество пустых экспериментаторов и шутов гороховых, объявленных маяками, чрезмерно.

Прозрачная словесная ткань поэмы словно наброшена на события двухтысячелетней давности, восстанавливаемые кропотливо, и с тою любовью, что не удаётся усомниться: для поэта путь Христа: тема тем.

Мы словно вступаем с поэтом в недра Вифлеемские, чтобы кожей сердца – или сердцевинной души – почувствовать огонь и весть времён:

Час Назарета склонился в почтенной печали.
Помер старейшина – плотнику гроб заказали.
Только Иосиф лесину во двор заволок,
Ангел явился и молвил: – Исход недалёк! –
Плотник с бревном, дева с милостью – так и бежали.
Грудь Марии, как в мареве горы, дрожали.
И наконец под звезду Вифлеема вошли,
Но в Вифлееме приюта нигде не нашли.

Кузнецов сознательно, вероятно, избегает сложной метафоричности, следуя за течением прозрачности повествовательного стиха; он уходит от ярких эпитетов, чтобы не застили сути, и пользуется только простыми, как работа плотника, рифмами.

Он концентрируется на главном: духовной силе Христа.

Он точно провидит: для нас, сегодняшних, важно то, что мы можем применить к себе: из арсенала Христовых речений и притч, из образов, данных его жизнью.

...вместе с тем – это, что и понятно, очень русский Христос, словно путь его совершался в пределах родной нам, мучительно живший все века земли, и колыбельная, какую напевает мать, именно от русских колыбельных: над зыбкой младенца:

Солнце село за горою,
Мгла объяла всё кругом.
Спи спокойно. Бог с тобою.
Не тревожься ни о ком.
Я о вере, о надежде,
О любви тебе спою.
Солнце встанет, как и прежде.
Баю-баюшки-баю.

И чудеса, происходящие внутри стиха, тоже слишком русские, будь то Египет, или странный странник:

Ратные люди играют огнём и мечом.
Мирное детство играет весёлым мячом.
Дети мячом запустили в Христово оконце,
Он поглядел и увидел, что мяч – это солнце.

Тайну Христа не разгадать стихом, не просветить лучами иной мудрости; евангельские тексты темны сквозь простоту и подлежат многим толкованиям – часто запутывающим суть корнями ложных посылов; сердцевинный для человечества образ Христа сконцентрирован в сердце каждого поэта, и едва ли можно утверждать, что в русских сердцах он особенно горяч; но дерзновение Юрий Кузнецов – давшего мощный свод, идущий и от древнего, не ветшающего «Слова...», и от былин-старин, и от старообрядческой традиции – завораживает, как поражает многое в отдельных частях поэмы; как удивляет повествовательная её стройность – без провисаний, лакун, словесных срывов и осколков; и, думается, справедливая оценка поэм – дело далёкого будущего, которое должно отличаться от сегодняшнего мелкого, искустившегося времени, где Христос и деньги-комфорт-карьера давно: искусно и искусственно – подвергнуты дьявольской рокировке...

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ И ПОБЕДА

Юрий Кузнецов рассматривал реальность через две призмы: лирического взрыва и метафизического осмысления; и надрывные, криком рвущие пространство стихи об отце не исключают момента постижения всеобщей тайны: зачем всё так устроено?

Что на могиле мне твоей сказать?
Что не имел ты права умирать?
Оставил нас одних на целом свете,
Взгляни на мать – она сплошной рубец.
Такую рану видит даже ветер,
На эту боль нет старости, отец!

И мать, обращённая в рубец боли, и боль, не имеющая возможности постареть, – реалии, учитывая их мощь, чуть ли не от ветхозаветного словаря – как знать, может быть, и давшего возможность существовать мировой поэзии...

И ярый крик, завершающий стихотворение, обрывается холодной пустотой... За какой вдруг мерцает метафизически: неправда! Именно отец принёс счастье: жить.

Поскольку жизнь есть столь щедрый дар, что оправдывает все лихолетья, муки, горести, и существование стихов, совершенно исполненных и вибрирующих многими смыслами, подтверждает это.

А вот отец – идущий через минное поле солдат; идущий, живой, целостный, неведимый, превращающийся в следующий миг в дым...

Шёл отец, шёл отец неведим
Через минное поле.
Превратился в клубящийся дым –
Ни могилы, ни боли.

Вероятно, тема отцовства основополагающая в мире; без неё и мир бы не состоялся, но многие завихрения боли и мысли, связанные с этой темой, делают её не столь простой и ясной, как хотелось бы...

Желание расшифровать свои корни равносильно попытке понять загадку отца.

Большие исторические катаклизмы превращают людей в заурядную плазму, оптом лишая их жизней; стихи Юрия Кузнецова о войне даны под острым углом осознание общей трагедии через частную боль.

А не было бы боли – не было бы и победы.

ТРАВЫ И КОСМОДРОМЫ НИКОЛАЯ ТРЯПКИНА

Космос трав не менее интересен, чем глобальный космос, куда врываются ракеты – с отстроенных, мощных космодромов.

Николай Тряпки слышал много различных гулов пространства, умея, обработав их сигналы точным и тонким стихом, свести в единства, давая панорамы выпуклые и объёмные, играющие красками и насыщенные смыслами.

Где-то есть космодромы,
Где-то есть космодромы.
И над миром проходят всесветные громы.
И, внезапно издав ураганные гаммы,
Улетают с земли эти странные храмы,
Эти грозные стрелы из дыма и звука,
Что спускаются кем-то с какого-то лука...

Тут разные цивилизационные линии точно соединяются, обозначаясь и ветхой, но не дряхлеющей древностью храмов, и ураганами гамм, и ракетами, что под пером поэта превращаются в стрелы из дыма и звука...

Не колоссальный ли, безвестный лук некогда запустил всё цивилизационное движение?

Громы поэзии мирные, разумеется, и стихи Тряпкина, связанные с камельком, с деревней, с народными поверьями и преданиями, – отдают теплотой только что испечённого хлеба и питательностью только что надоенного молока – при том что деревня, уже в годы жизни Тряпкина, была изрядно подъедаема городской смертью.

Он – изощлён из деревни: Николай Тряпкин, связи его: звуковые, цветочные, тонко-смысловые с Н. Клюевым очевидны, но палитра Тряпкина совершенно иная: она уже соединена со вселенскостью мировосприятия, с прорывами в космические бездны, с жадой прикоснуться к бесконечному сознанию вечности.

И даже через элегическое посещение кладбища прорастает совершенно неожиданная трава мысли:

И только слышишь – скрипнул коростель.
Да чуешь гул со сводов мироздания...
И вот – стучит бессменная капель:
Ни имени, ни отчества. Ни званья.

Тут и осознание условности всякой известности: и действительно – стихи Тряпкина уходили в народ, делались народными.

Слова круглы и сильны, ибо и хранитель языка вырастает у него до вселенских размеров:

Где-то там, в полуночном свеченье,
Над землёй, промерцавшей на миг,
Поднимается древним виденьем
Необъятный, как небо, старик.

И над грохотом рек многоводных
Исполинская держит рука
Хатулище понятий народных
И державный кошель языка.

И хотя стихотворение посвящено Далю, касается оно тайных бездн, из которых исходит сам язык, одушевляя людей не менее, чем сложнейшая, не поддающаяся изучению субстанция под названием «душа».

И язык Н. Тряпкина становился космическим, вбирая современность, крепчая вечным, одолевая тленное, хотя и касаясь его; язык его разрастался до вселенских размеров, беря исток и связанный до конца с необычайностью и величием русской стихии.

АЛЬФА АНАТОЛИЯ ПЕРЕДРЕЕВА

Нечто древнее мерцает в фамилии: Передреев – древнее, по-хорошему дремучее, из недр леса, его гущи, таинственной жизни.

И – простое, без изломов, с внутренней целостностью, крепкое, как хорошие сметанные дороги замечательного зимнего пейзажа:

Перебираю детство, как наследство,
Припоминаю тысячу вещей...
Я, как слепой,
Ищу на ощупь детство
И падаю –
Проваливаюсь в щель.

Трагично, или грустно?

Скорее – смесь того и другого, ибо погружение пальцев памяти в штольни детских вещей сулит столь многое, что стихи должны быть краткими.

Стихи А. Передреева лапидарны, точно любой излишек страшен кошмаром: может убить смыслы, мерцающие за глубинной простотой.

...всем быть братом, ибо:

Я не прячу в кармане кастета,
Не держу воровского ножа.

Есть страх, разлитый в мире...

Есть радость, наполняющая его.

Баланс, точно исполняет партию поэта: кажется, порою стихи пишутся за него: силой, синевато мерцающей, стоящей за его спиной, не позволяющей жить долго...

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

О. А. Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Павел Басинский (Москва)

Владимир Безденежных

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Диана Кан (Новокуйбышевск)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Андрей Рудалёв (Северодвинск)

Роман Сенчин (Екатеринбург)

Евгений Эрастов

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Олег Беркович

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Александр Котюсов

Ольга Лисятникова

Владимир Седов

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ

ООО «КНИГИ»

Адрес редакции и адрес издателя:
603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 24/2, ООО «Книги»
Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции
или по электронной почте:
jurnalnn@yandex.ru

Сайт журнала: www.jurnalnn.ru

Тексты для публикации присылаются отдельным файлом Word с указанием авторства, наименования произведения и библиографической справкой.

Неоткорректированные рукописи с большим количеством ошибок не рассматриваются. Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Выпуск издания осуществлен
по заказу
правительства
Нижегородской области

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий
и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-60285
от 19 декабря 2014 г.

Подписано к печати 07.02.2022.
Выпущено в свет 25.02.2022.
Формат 70×108 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 21.
Тираж 800 экз. Заказ
Свободная цена.

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»,
428019, Чувашская Республика,
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13